

ЮНОСТЬ

Литературно-художественный и общественно-политический журнал. Выходит с июня 1955 г.



12+

№6 (749) 2018



9 770132 203600

20-я комната



Мария СЕЛЬКИНА
Читайте на стр. 10

ЮНОСТЬ

Литературно-художественный и общественно-политический журнал
Выходит с июня 1955 г.

№ 6 (749) 2018

«ЮНОСТЬ» © С. Краускус. 1962 г.



Учредитель — трудовой коллектив редакции журнала «Юность».

«ЮНОСТЬ» — зарегистрированный товарный знак, являющийся собственностью трудового коллектива редакции журнала «Юность».

Выпуск издания осуществляется при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

подписной индекс **71120**

ISSN **0132-2036**

Наша почта: **unost-contact@mail.ru**

Наш сайт: **<http://unost.org>**

Страница на «Фейсбуке»:

<https://www.facebook.com/unost>

На первой странице обложки работа
Никаса САФРОНОВА «Унесенные
ветром»

Главный редактор
Валерий ДУДАРЕВ

Редакционный совет:

Ильдар АБУЗЯРОВ
Лев АННИНСКИЙ
Зоя БОГУСЛАВСКАЯ
Анна ГЕДЫМИН
Сергей ГЛОВЮК
Борис ЕВСЕЕВ
Тамара ЖИРМУНСКАЯ
Елена ИСАЕВА
Валерий КОЗЛОВ
Владимир КОСТРОВ
Нина КРАСНОВА
Татьяна КУЗОВЛЕВА
Евгений ЛЕСИН
Георгий ПРЯХИН
Владимир РАДЧЕНКО
Ольга РЫЧКОВА
Елена САЗАНОВИЧ
Александр СОКОЛОВ
Борис ТАРАСОВ
Елена ТАХО-ГОДИ
Олег ТОЛКАЧЕВ
Игорь ШАЙТАНОВ
Андрей ШАЦКОВ

Редакционная коллегия:

заведующая отделом литератур
народов России и СНГ
Марианна ДУДАРЕВА
заведующая отделом критики
Елена МАКСИМОВА
главный художник
Ольга МАЛЬЦЕВА
заведующая отделом культуры
Татьяна МАХОВА
заместитель главного редактора,
заведующий отделами
прозы и поэзии
Игорь МИХАЙЛОВ
заведующий отделом
зарубежной литературы
Евгений НИКИТИН
заведующая отделом молодежи
Анастасия ПОПОВА
заместитель главного редактора,
заведующий отделом публицистики
Евгений САФРОНОВ
заместитель главного редактора,
ответственный секретарь
Светлана ШИПИЦИНА

В НОМЕРЕ:

Поэзия

Алексей ШМЕЛЁВ 4

Борис ЛУКИН 85

Проза

Владимир КРУПИН

РАССКАЗЫ Продолжение 20

Альберт ЛИХАНОВ

**ОГЛЯНИСЬ НА ПОВОРОТЕ, ИЛИ ХРОНИКА ЗАБЫТОГО
ВРЕМЕНИ** Роман в повестях. Продолжение 72

Макс СЫСОЕВ

РЕЗЕРВНАЯ КОПИЯ ВОСПОМИНАНИЙ
Повесть. Продолжение 92

Страницы Льва Аннинского

ЗАМЕТКИ НЕМУЗЫКАНТА

МУЗЫКА ВЕТРОВ 12

Наследие

БОРИС ЧИЧИБАБИН Аркадий Филатов о поэте 50

Лицом к лицу

**СВЕТЛАНА ШЕТРАКОВА: «Я ПОИСТИНЕ ФАНАТ
ЕСЕНИНСКОЙ ПОЭЗИИ...»** Беседу вел Валерий Дударев 15

Национальные образы мира

ЧЕКАН ДУШИ

Флюр ГАЛИМОВ

ПОКАЯНИЕ НАД ПРОПАСТЬЮ Трилогия 113

Заведующий редакцией

Игорь РУТКОВСКИЙ

Отдел юмора

Генрих ПАЛОЯН

Редактор-корректор

Юлия СЫСОЕВА

Верстка и оформление

Ольга МАЛЬЦЕВА

Фотокорреспондент

Антон ШИПИЦИН

Главный бухгалтер

Алла МАТЮХИНА

Финансовая группа

Лариса МЕЛЬНИКОВА

Заведующая отделом рукописей

Ирина УШАКОВА

Интернет-версия

Борис ДАНИЛОВ

Дежурные по редакции

Людмила ЛОГАЧЕВА

Татьяна СЕМЕНОВА

Татьяна ЧЕРЫГОВА

Администратор

Зинаида ПОТАПОВА

Уноземный сюжет

РУБРИКУ ВЕДЕТ ЕВГЕНИЙ НИКИТИН

Мик Стернер СЕНТ-ПОЛ

УЖАС МОРЕЙ Продолжение **102**

НЕИЗВЕСТНЫЙ КОНАН ДОЙЛ

Артур КОНАН ДОЙЛ

ДВА РАССКАЗА О КАПИТАНЕ ШАРКЕ Окончание.

Составитель и переводчик текста с английского Юрий Сенчуков **105**

20-я комната (от пятнадцати и старше)

Мария СЕЛЬКИНА

БЛИЗКИЕ НЕЗНАКОМЦЫ **10**

Одним словом

Татьяна МЕДИЕВСКАЯ

РЕКОНТРА **125**

Творческий конкурс

Яна АМИС Канада **127**

София АГАЧЕР США **134**

Вита ЛИХТ Петропавловск-Камчатский — Франкфурт-на-Майне **139**

В конце концов

ДЕТЕКТИВ НА НОЧЬ

Владимир КЛЮЧНИКОВ

ПРЕСТУПЛЕНИЕ С ТОГО СВЕТА Повесть. Продолжение **144**

ЗЕЛЕНЫЙ ПОРТФЕЛЬ

Василий БАБУШКИН-СИБИРЯК

ТРИ ЗЕМЛЕКОПА **155**

ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ

Галка ГАЛКИНА

ОГОНЬ, МЕРЦАЮЩИЙ В СОСУДЕ **158**

ОКОЛОЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

Проказник ГЕО

«ДОЖДЬ В ПАРИЖЕ» **159**

Лиц. Минпечати № 112.

Адрес редакции:

Москва, ул. 1-я Тверская-Ямская,
д. 8.

Для почтовых отправок:

125047, Москва, а/я 182, «Юность».

Тел.: +7 (499) 251-31-22,

+7 (499) 250-83-98,

+7 (499) 250-40-72,

тел./факс: +7 (499) 250-40-60

Рукописи не рецензируются
и не возвращаются.

Авторы несут ответственность
за достоверность представленных
материалов. Мнения автора
и редакции могут не совпадать.

При перепечатке материалов ссылка
на журнал «Юность» обязательна.

Отпечатано в ООО «Типография
«Миттель пресс»

Москва, ул. Руставели, д. 14, стр. 6.

Тел./факс: +7(495) 619-08-30,

+7(495) 647-01-89

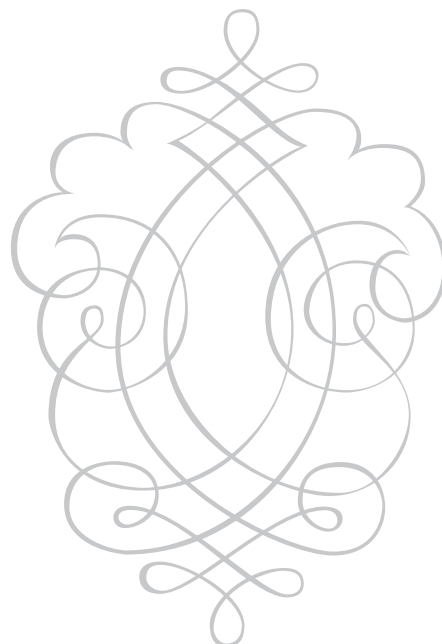
E-mail: mittelpress@mail.ru

Тираж 3 500 экз. Формат: 60x84/8

Заказ №



Алексей ШМЕЛЁВ



Алексей Шмелёв родился в 1987 году в Москве. Один из основателей культурного арт-проекта «Мужской голос». Автор трех сборников стихотворений: «Апельсиновые рощи», «Пыль», «Периферийное зрение». Стихи печатались в литературных журналах «Юность», «Нева», «Дружба народов» и др. Женат, есть сын. В настоящее время работает над четвертой книгой стихов.

* * *

Мне подарили мой портрет,
и я, его обрящий,
подумал: все же я — поэт.
Плохой,
но настоящий.

В квартире творческий бардак —
и мухи, и котлеты...
Нет: все же выглядят не так
фальшивые поэты.

А если быть еще точнее —
они когда напьются,
у них и взгляд посволочней,
и кудри так не вьются.

А если быть еще точнее,
то я говно, по сути...
Я и мрачней, и сволочней
всей этой сытой мути.

И потому душа болит,
что учтены все риски.
Звезда с звездой говорит,
но словно по-английски.

* * *

Прощай, панельная высотка
на юго-западе Москвы,
и ты, ванильная красotka
со стойким привкусом халвы.

Прощайте, сплетни и интриги,
и закулисная возня,
и вы, таганские барыги,
очаровавшие меня...

Дай Бог имеющему уши
услышать музыку глуши,
в Москве настолько стало душно —
хоть эпитафию пиши.

За МКАДом снег и невесомость,
зимою здесь белым-бело...
Дай Бог имеющему совесть
не повестись на госбабло.

Здесь вечность входит внутривенно,
и я не знаю, как с ней быть...
Грядут такие перемены,
в которых нечего ловить.

* * *

«Не надо говорить про душу,
ее на самом деле нет...»
Сказал, дожевывая суши
мой друг художник и поэт.
Ну нет так нет. Скользит беспечно
мой взгляд по плоскости стола.
Нам не к лицу бодяжить с вечным
свои насущные дела.
Нам не к лицу бодяжить с делом
свое желанье закурить.
Официант взывает к телу,
и тело просит — повторить.
Мы побредем, шатаясь, к двери
делить по-братски барыши;
Что мне с того, что он не верит
в существование души?

* * *

Еще ничего не случилось,
когда безразличной толпе,

халывный поставили «Чивас»
и целый поднос канapé.

И все можно было исправить
одним только словом Твоим.
И небо в багровой оправе
смотрело на Ершалаим.

— Какие сюжетики, ишь ты! —
Каифа втирал пацанам. —
Глядишь, и отрекшийся трижды
придет проповедовать нам!

И воздух, как сладкая вата,
цеплялся за скулы жреца,
и путались мысли Пилата
в ритмичных низах ун-ца-ца.

И горько проямлил апостол
поллитру прикончив к утру:
— Гореть на ветру — это просто,
попробуй-ка тлеть на ветру...

И кто-то подумал: умри я
вчера от меча и огня —
одна б только Дева Мария
сегодня любила меня.

* * *

Позавидовала женщина женщине —
стала злой.
Постарела, а после и вовсе —
стала золой.

Ветер золу развеял,
с пылью смешал —
долго кружилась над пыльной золой
душа.

Что та душа искала —
поди теперь разбери...
Было ль чего драгоценного
в той пыли...

Бог опрокинул небо —
прибил к земле
пыль и золу
и жизнь подарил золе.

* * *

В сосновом лесу так ольха нова,
как в духовом оркестре кларнет.
Я слушаю песни Сергея Труханова,
Сергея Труханова больше нет.

Разводы и пятна на голой посуде —
всего лишь следы недосказанных слов...
Любовь уходит, как близкие люди, —
как вера в бессмертье уходит любовь.

Я вышел курить в равнодушную бездну,
в голодную бездну пустого двора.
Она не заметит, когда я исчезну,
как я ее мрак не замечу с утра.

* * *

Сестра ушла. И в горле комом хлеба
застрял вдруг то ли выдох, то ли вдох...
Сестра ушла — наверное, на небо —
она ведь верила, что где-то в небе Бог...

И где-то там — в сияющей сорочке —
гуляет с Ним меж огненных светил...
И ангелы ей посвящают строчки,
а я — и слова ей не посвятил...

Закат, распятый на оконной раме,
воскреснет — только рама прогниет.
Я видел смерть — она стояла в храме,
и я ничем не зашвырнул в нее.

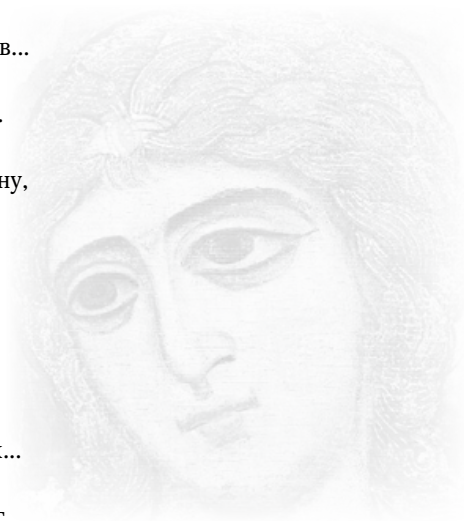
Мне от вины своей укрыться нечем —
мне мальчик задает вопрос из тьмы:
«Как мне в глаза сестре смотреть при встрече?
Что ей сказать?
И встретимся ли мы...»

* * *

Александру Литвинову

Светит что-то дальнее из детства
и всю ночь покоя не дает —
как ты там, в цветочном королевстве,
в пароход влюбленный самолет?

Ах, какое огненное лето —
жар июлем льется через край...



Девочка с серебряною флейтой,
милая, прошу тебя, — играй.

Этот мир для тех, что поплечистей,
тех, что ловят пули налету.
Ангел в небо лестницу начистил —
жаль мараить такую красоту.

* * *

Из России опять эмигрируют тыщами —
кто в Париже, кто в Штатах находит приют...
Но я видел — в Европе такие же нищие,
и богатые точно такие же тут.

Здесь свобода во всем, но, увы, номинальная —
человеческий жребий жесток и нелеп —
говорят, человек — существо социальное —
это значит работай, чтоб кушать свой хлеб.

И спешит человек на работу рабочую,
чтоб купить своим детям уют и покой.
И чего-то куда-то весь день он ворочает
и целует жену, возвращаясь домой.

Я целую жену. Я люблю свою Родину.
Это пафос и муть, но я правда не вру.
А в Европе — здесь в целом спокойнее вроде, ну
в теплом плеле ночами бухать на ветру...

* * *

Попытка выйти за границы
не увенчается добром —
купи коктейль на пляже Ниццы,
а лучше чистый темный ром.

И опрокинь его на пару с
той, что с тобою делит быт.
И пусть вдали белеет парус,
и мачта гнется и скрипит.

И пусть в закатном мягком свете,
чеканя на песке следы,
смеясь, твои играют дети,
не зная горя и нужды.

Пусть будет осень или лето,
не важно, век и год какой...

Тому, кто не достоин света
порой даруется покой.

* * *

По бульвару, по бульвару
ходит месяц молодой!
Пушкин в майке с Че Геварой
едет в бричке за бедой...
Задувает в бричку ветер
и на понт берет его:
— У тебя — жена и дети,
а тому терять чего?
— Ты меня разводишь, шулер! —
говорит ему поэт. —
Будет день и будет пуля,
и иных раскладов нет.
Будет сразу за Парнасом
аварийный поворот,
а за ним беды с запасом,
и никак наоборот.
Наркоманы и хипушки
смотрят, пораскрывши рты,
как на небо едет Пушкин...
А куда приедешь ты?

* * *

После расстрела Гумилева
они пошли гонять чаек.
И что в начале было Слово,
им было как-то невдомек.
Галдели, спорили до хруста
о трудной доле мужика.
Поэты без шестого чувства,
приспособленцы от штыка.

20-я комната (от пятнадцати и старше)



Мария СЕЛЬКИНА

О себе

Мне тринадцать лет. Учусь в седьмом классе. Люблю литературу, обществознание и, как ни странно, физику. Родилась и выросла в красивом, зеленом городе Балашихе.

С детства увлекаюсь танцами и со своим коллективом объехала почти всю Россию. Сейчас занимаюсь современной хореографией — удивительным направлением танца, позволяющим выразить свои эмоции в пластике тела. Так же стараюсь выразить свои чувства в слове. Этим меня и привлекает писательское искусство.

В будущем хочу стать журналистом. Эта профессия привлекает меня перспективой заниматься любимым делом и быть в центре всех событий, так же я могу показать читателю мир таким, какой он есть в моих глазах. Людям, не умеющим писать, порой это сделать очень трудно. Пишу относительно недавно, но уже есть публикации в журнале «Наша молодежь», газете «Пионерская правда» и других изданиях. Останавливаться на достигнутом не собираюсь.

ОТ РЕДАКЦИИ

Наш журнал читают и любят совсем юные. Они присылают в редакцию и свои работы. Хотя это рубрика для пишущих, которым «от пятнадцати лет», но мы охотно делаем исключение.



Тринадцатилетняя Маруся (так в письме) Селькина уже публикуется и имеет биографию.

О том, как стать близкими кому-нибудь людьми, задумывается новое поколение.

БЛИЗКИЕ НЕЗНАКОМЦЫ

Как много людей окружают нас ежедневно? Сотни? Тысячи? А сколько из них нам знакомы? Я не говорю о друзьях или родственниках. Каждый день мы встречаем знакомых, но в то же время чужих людей. Садовник, убирающийся на твоём участке по вторникам, библиотекарь, который знает всю личную информацию о тебе.

Или тот самый нелюдимый сосед, что, проходя мимо, опускает глаза вниз, бросает угрюмое «здравствуйте» и, ускорив шаг, скрывается за углом дома. Ведь у каждого есть такой, порой мы даже не знаем, как его зовут, встречая почти каждый день. Для нас он просто «парень, живущий в доме с красной крышей».

На мой взгляд, было бы интересно узнать хоть немного информации о таких людях. Может, мы пугаем их чем-то или, наоборот, привлекаем, но они слишком скромны и застенчивы. А может быть и такое, что тем «странным соседом» для кого-то являешься ты и даже не догадываешься об этом. Может быть сейчас во дворе сидит девушка с великолепными кудряшками. Она приходит часто, всегда садится на одну и ту же лавочку. Может, у вас много общего?

Представь, как вы знакомитесь. Начиная разговор, робко, боясь спугнуть ее, ты замечаешь добрые карие глаза, причудливый смех или забавные веснушки, от которых так тепло и уютно. Она не изменилась, это все та же девушка, сидевшая тут вчера и позавчера. В голове всплывает вопрос: «Почему я не замечал ее прелестную улыбку раньше?» Вам нравится одна и та же

музыкальная группа, ваши родители были знакомы в детстве. У нее в руках твоя любимая книга... Ты полюбишь ее ямочки на щеках и эти странноватые кудряшки, которые она постоянно поправляет рукой.

Или ты снова пройдешь мимо лавочки, на которой сидит твой самый близкий человек. Она улыбнется тебе, а ты смущенно отведешь взгляд, постепенно ускоряя шаг. И она больше не придет, никогда не придет. Тебе же лучше, правда? Ты больше не увидишь ее ярко-красную юбку, она больше не будет мозолить тебе глаза и вскакивать каждый раз, чтоб улыбнуться тебе и помахать рукой. Она просто сдастся. Ты изменишь ее и изменишься сам.

Я написала историю с двумя концами. Какой тебе нравится больше, реши сам. Твоя история будет отличаться от моей, если ты вообще осмелишься начать ее...



Страницы Льва Аннинского





МУЗЫКА ВЕТРОВ

Повесть «Зона ветров» приходит к читателю вслед за обширным трехтомником прозы и публицистики Веры Галактионовой, посвященным, как сразу оценили критики, такой глубинной нашей теме, как выживание русского народа, русского характера и русского государства под гнетущими пластами меняющейся власти: древней, потом новой — феодальной, потом коммунистической, а ныне перестроенной. Как сохранялся исконный русский образ бытия под этими бесконечным, извне налетающими покрывалами и покрывками?

Что можно добавить к этому трехтомнику? Биографы все свяжут вместе. А я сосредоточусь на том, что (для меня) несет в себе новая повесть.

Музыку!

Музыка определяет звучание и смысл повествования; читатель, обладающий нормальным слухом, эту музыку уловит с первых же слов повести.

«На перекрестье двух воздушных потоков — свирепых сибирских и пыльных азиатских, — под столкновеньями высоких дымящихся вихрей, — студеной и горячих, — посредине кулундинской степи жил незнакомый поселок. Лишь на исходе лета ветры тут опадали ненадолго — прижимались к земле, словно устав от буйства, напоминало о котором только слабое дуновение, пробежавшее изредка по траве. И поселок млел теперь, он блаженствовал под сентябрьским слабым солнцем в редком для этих краев затишье. И холодная небесная синева казалась безмятежной, безбрежной и такой невозмутимой, будто краткое верховое безветрие было вечным. А желтые крупные дыни, разлегшиеся по огородам, сияли вокруг кирпичных домов неистово и нежно...»

Два ключевых слова определяют мелодию: «свирепое» и «пыльное». Одно отрицает другое, но одно без другого не живет: «пыль» покрывает реальность без уборки (и при уборке тоже), «свирепый» холод леденит (фатально неизбежен в Сибири). Меж этими полюсами натягиваются струны мелодии, и действующие герои реализуются скорее как ноты, чем как паспортные индивиды.

Корректор типографии — Цицера, проникнувшийся чтением своих профессиональных предтеч. Про Блудницу подробностей не привожу: и так понятно, почему такое имечко.

Как взаимодействуют эти люди, вступая в общение?

«— Я ее убью! — твердо сказал Цицера про Блудницу. — Вот и весь грех перечеркнут. И всем спасенье.

— Убьешь эту — другая для греха явится. Испытывать семьи ваши. Грех свой убей! А не человека.

— Как его убить? Грех? — возмущился Цицера. — Если природа нам дана — дурная?

— Возненавидь его! — прокричал так же, как Цицера, странный Монах. — Грех — возненавидь. Не возненавидишь — не победишь.

— ...А зачем нам сообщали, что мир спасет любовь? — совсем растерялся широкоплечий корректор. — Если она больше не целительна, а целительна — ненависть...

— Что тебе до мира, бестолковый ты, плотский, несурьезный человек? — проговорил Монах напоследок. — Спасай себя. Выплывай, пока не погиб ты в мирских нечистотах!..

Тогда, может, спасется кто-то рядом».

Спасется ли?

«В этом странном мире людей, где самую великую музыку сочинял глухой? Где самые красочные путешествия были описаны слепцом? И где зарыв человека в землю, говорят, что он теперь на небе... Как жить нам в это мире перевернутых смыслов?»

И как решить, где мир перевернут, а где изначален?

Темные листья о чем-то шуршат, о чем-то важном, чего люди о себе не знают.

А если узнают — смогут ли выдержать?

Музыка переворачивающихся смыслов... брезжит в ситуациях, когда рядом оказываются смыслы, которые похожи или соседствуют, осознавая контрастность.

Русским людям очевиднее смысл русскости, когда рядом оказывается кто-то нерусский, ну, скажем, немец. Обнаруживается же таковой среди механизаторов совхоза «Луч!». И получает слово:

«— Следует выпить за полное наше дальнейшее самообеспечение. И за то, что мы с Эльзой не уехали в Германию, как глупый, бедный брат мой Эрих.

— А что ваш Эрих? — спросила пожилая газетная верстальщица, выбирая себе подходящий ломтик сыра.

Плотный, как пятипудовый мешок с овсом, краснощекий и крепкий, Отто отвечал, закусывая неторопливо:

— Он теперь там поедает всякую подозрительную пищу из ярких упаковок, а его десятилетний сын жует жвачку, словно животное, и смотрит порнографию. От этого лицо его сына покрылось преждевременными угрями и нервы пришили в негодность. Ох, до чего они докатились... А все оттого, что здесь наш Эрих плохо учился, плохо вел себя в школе, озорывал и совсем не слушал нашу gross-мutter, которая пыталась научить его немецкому языку. Да, он один из всей нашей семьи не знал немецкого языка! И вот именно Эрих — в Германии. Он там живет, как в плену. Да... Нетерпеливый наш Эрих не захотел дожидаться здесь правильного социализма и не верил, что он скоро наступит, как только кончится этот затянувшийся кризис! Устремился туда, где можно красиво жить! Не зря когда-то комсомол выгнал его из своих рядов...»

Тут объявляется дядька Курт:

«— Эльза! Зачем я в эту Германию приехал! Здесь настоящего — нет!

Оказывается, жизнь в Европе налажена только для стойлового содержания людей, хотя их стойла большие и очень благоустроенные. Да, все там одинаково сыты, ухожены и обеспечены жильем. Но мало осталось таких мест на земле, где судьбу свою можно строить разумно... По-своему жить сейчас можно только в России, в глуши! Здесь, в кулундинских степях, мировая зараза нас не достигнет никогда.

Подумав, редактор сказал:

— Но молодежи, наверно, там лучше.

Блудница быстро обернулась к нему, быстро кивнула и быстро увела узкий взгляд свой к узкому вырезу на собственном платье.

— Им доступны блага цивилизации, — негромко подтвердила она.

— Так лучше молодежи, так лучше, что... — еще больше закручинился Отто. — Обе наши племянницы, дочки Эриха, считай, пропали. Они торгуют сотовыми телефонами и сделали шлюхами. И даже он, бывший хулиган, известный шалопай Эрих, сказал про своих девочек по телефону: «Я их ненавижу!» Такие они сделали распущенные. Даже для самого плохого замужества теперь не годятся. Семья им стала не нужна... Нет, нет: достойно жить — там уже нельзя.

— Какая это жизнь?! — дружно посочувствовали с тумбочки два корреспондента сельхозотдела Отто Келлеру. — Какая же это жизнь, когда одни немцы кругом?.. Иностранные немцы.

— Да, безнациональные немцы! — заволновался Отто. — Бездушные совсем... Они стали там просто немецкоговорящие европейцы! И на синтетической пище это уже не люди сделали, а... уроды. Общемировые уроды».

Замечательная симфония! Смысл ее? Чтобы оценить русскую жизнь, надо глянуть на нее иссуша. Не затем, чтобы решить, какая лучше: русская или германская. Такой вопрос изначально и загодя лишен смысла. Нет лучших и худших национальных миров. Но соприкасаясь, национальные миры лучше выявляют свое. Так русские осознавали себя, встык с французами, британцами, итальянцами, а в новое время — с испанцами, американцами... А уж немцы — наши вечные спутники.

То есть: немец живет на Руси, упоенно погружаясь в русскую непредсказуемость, которая прикрывает и хранит нашу невиданную всеотзывчивость.

И наоборот: русский человек, тоскующий по законопослушью, скорее всего, почувствует его, командирясь в Германию. Или поставив немца во главе нашей Академии наук... Одни национальные характеры не бывают лучше или хуже других, они все равнодостоинны! И это особенно хорошо видно в близких соседствах.

Но главное, что должно храниться в национальных характерах, — это память и достоинство. Память, пронешенная и сохраненная веками, как музыка... среди грохота свирепой или пыльной реальности, среди ее ветров.

Отыскать хотя бы могилку предтеч, предков...

«— Отыскал?

— Не отыскал... — ответил Монах».

Монах — хранитель финального мотива. Все гаснет, звучит только прощальная мелодия и из зоны ветров выводит музыку к немоте.

И завершает:

«Одна старая работница Сельсовета покаялась. В последнюю ночь, при аресте, батюшка на храм свой перекрестился. И сказал: «Всем дары даются. Дом — дар. И дорога — дар. Молитесь обо мне!» Это он — конвоирам и ей, комсомолке. С тем его в сани и затолкали...»

Все, финал! Неотменимо трагичный.

Трагична наша История.

Другой нет.



Светлана ШЕТРАКОВА



Nota bene

Светлана Шетракова работает в отрасли музейного дела более 45 лет. Музейная деятельность С. Н. Шетраковой началась с 1971 году в Государственном музее-заповеднике С. А. Есенина (с. Константиново Рязанской области), продолжилась в Государственном литературном музее (Москва), где Светлана Николаевна занималась изучением теории современной литературы, творческого наследия С. А. Есенина и его окружения.

В 1987 году в МГУ защитила диссертацию на тему «С. А. Есенин. Художественный образ и действительность».

При непосредственном участии и организации Светланы Николаевны и благодаря ее профессионализму и энтузиазму в 1995 году в мемориальном доме по Б. Строченовскому переулку на общественных началах была сделана первая музейная экспозиция в Москве. В канун 100-летия со дня рождения Есенина экспозиция была подарена городу (постановление Правительства Москвы № 339 от 16.04.1996).

Несмотря на минимальную площадь, данный мемориальный музей и сегодня является одним из самых любимых и посещаемых в столице. Под руководством С. Н. Шетраковой в музее организуются мероприятия в духе нового времени с использованием традиционных и современных форм музейной деятельности. Постоянно проводится разнообразная творческая работа по комплектованию уникальных фондов музея, созданию нестандартных тематических экскурсионных программ и стационарных и передвижных выставок и экспозиций, организации встреч с виднейшими деятелями литературы и искусства, а главное — внедрению новых инновационных проектов по всем видам деятельности учреждения культуры.

Вследствие небольшой экспозиционной площади в Москве долгие годы работа музея во многом была ориентирована на реализацию немuseumных проектов. Активная деятельность Шетраковой в области мероприятий по экспонированию нестандартных передвижных выставок и экспозиций получила большой отклик не только во многих регионах России, но и в ближнем и дальнем зарубежье. Благодаря активной работе Шетраковой музей Есенина в Москве широко зарекомендовал себя и на международном уровне. Инновационные с точки зрения научного и художественного решения выставки музея находят большой интерес у поклонников творчества Сергея Есенина и русской культуры в целом на всех континентах мира. За последние годы музей реализовал в России и за рубежом многочисленные проекты, в частности, с такими организациями, как Россотрудничество, фонд «Русский мир» и др. По инициативе Светланы Николаевны совместно с Консульством РФ в Индии с 2008 года была учреждена ежегодная Премия имени Есенина, которая вручается индийским гражданам за вклад в популяризацию русской литературы.

С. Н. Шетракова вела многолетнюю большую и серьезную работу по расширению фондовых и экспозиционных площадей, в результате которой в настоящее время в оперативном управлении музей имеет

несколько отделов в четырех зданиях разных районов Москвы, что в большей степени позволяет достойно выполнять государственные задания, реализовывать многочисленные планы и проекты. Согласно концепции развития музея и образования Есенин-центра в настоящее время создается новый научно-просветительский, экспозиционный и культурно-досуговый есенинский комплекс в Москве.

С 1997 года С. Н. Шетракова является членом ИКОМ.

За многолетнее служение культуре Шетракова награждена правительственными и ведомственными наградами: медалью «В память 850-летия Москвы», нагрудным знаком Министерства культуры РФ «За достижения в культуре», медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Шетраковой присвоено почетное звание «Заслуженный работник культуры Российской Федерации», объявлена благодарность министра культуры РФ А. С. Соколова.

В 2007 году С. Н. Шетракова награждена золотой Есенинской медалью, в 2010 году стала победительницей XII Московского конкурса «Женщина — директор года». В 2011 году была награждена дипломом фонда «Русский мир» за участие в международной акции «Первый в космосе» и почетной грамотой мэра Москвы, в 2015 году — благодарностями и почетной грамотой Департамента культуры города Москвы.

ОТ РЕДАКЦИИ

Надо ли давать врез к интервью заслуженного человека и профессионала? Именно такой врез! Но тут мне позвонил Максим Скорыходов (беседу с ним читайте в пятом номере «Юности» за этот год) — один из лучших специалистов по есенинскому наследию у нас в стране, ведущий специалист ИМЛИ РАН, ученик Юрия Львовича Прокушева. Максим Скорыходов с грустью заметил, что низ памятника Сергею Александровичу на Ваганьковском кладбище только что кто-то вымазал белой краской. Такой вот вандализм! Поэтому разговор о том, что же происходит с памятью о великом поэте в нашем обществе, назрел.

На могиле Есенина ваш покорный слуга был совсем недавно — на Пасху. Пришли мы маленькой, но дружной группой. От могилы Высоцкого — к храму Воскресения Словоущего — налево на Есенинскую аллею... Но нет нынче никакой аллеи — раньше табличка гласила: «Есенинская аллея». Нет таблички... Куда делась?

А началось все в далеком 1995-м, когда Союз писателей Москвы отказался возлагать венок на есенинскую усыпальницу в юбилейный для великого поэта год.

«Все это мелочи», — заметит дотошный читатель. И будет прав!

Несколько лет назад вся Москва была увешана плакатами социальной рекламы, на которых значилось: «А ведь Есенин мог бы стать мясником». И Сергей Александрович — в фартуке.

Не так уж и давно на волнах государственной радиостанции «Вести ФМ» театральный критик, крупный театральный чиновник Заславский предложил убрать памятник Есенину с Тверского бульвара: портит вид!

«И это мелочи», — заметит тот же читатель. И вновь будет прав.

Кстати, вокруг есенинского памятника несколько лет подряд творились чудеса. То шашлыки жарили прямо у ног поэта, то организовали склад бытовых приборов на постоянной основе. Даже цветка нельзя было положить на постамент. «Комсомольская правда» и «Литературная газета» забили тревогу. Кое-что изменилось, но композиция памятника нарушена до сих пор.

Завершу тему следующим пассажем. Побывали мы редакторской группой «Юности» в библиотеке имени Сергея Есенина, что неподалеку от метро «Профсоюзная». А таблички с названием библиотеки нет как нет (ох уж эти таблички!). Оказывается, здание давно купила какая-то тетя из далекой провинции и выживает есенинскую библиотеку много лет, а табличку не дает вешать. Библиотека государственная. Но где же государство?!

«Надоели мне ваши мелочи!» — возопит здравствующий телом читатель. И прав (в который уже раз) будет.

Мелочи схлынут, и создающие их — мелочные — тоже уйдут в небытие! А есенинский гений — навсегда, потому что невозможно представить без лирики Сергея Александровича душу русского человека.

И это же прекрасно, когда о Бабановой нам рассказывает Виталий Вульф, о Лермонтове — Ираклий Андроников, о Есенине — Алла Марченко, о Лескове — Лев Аннинский, о Тютчеве — Вадим

Кожин, о Мандельштаме — Михаил Гаспаров... Это и есть служение русской словесности. Создание музеев — такое же служение! Поэтому сегодня у нас в гостях Светлана Николаевна Шетракова.

Валерий Дударев

СВЕТЛАНА ШЕТРАКОВА: «Я ПОИСТИНЕ ФАНАТ ЕСЕНИНСКОЙ ПОЭЗИИ...»

— Как есенинская поэзия вошла в Вашу жизнь?

— Любое дело начинается с мотивации, которая формулирует цель, а если это цель жизни, то сила мотивации не имеет границ, как, впрочем, и искусство в широком значении этого слова. В моем случае — это искусство слова — поэзия Сергея Есенина, которая взбудоражила мое сознание еще в период учебы в школе и не перестает стимулировать жизненную мотивацию и сегодня.

Я жила пониманием силы воздействия искусства на человека вообще. Любила разных поэтов, читала и знала наизусть, но когда впервые я услышала от учительницы в школе есенинские стихи, сразу почувствовала необъяснимость их особенного воздействия не только на меня, но и на совершенно разных людей. Загадка и тайна поэзии Есенина не давали мне покоя, и я решила попытаться ее разгадать. Я стала сначала экскурсоводом на малой родине поэта, затем научным сотрудником в Гослитмузее, лектором и литературоведом, если хотите, ученым, защитив диссертацию по Есенину в МГУ, впоследствии — создателем музея поэта в Москве, который возглавляю до сих пор.

— Кто Вы для Есенина: литературовед, просто читатель, дотошная поклонница или...

— Я поистине фанат есенинской поэзии, совмещающий это отношение к Есенину с должностью современного чиновника. Каждодневные вопросы не прекращаются ни в будни, ни в выходные, ни в отпуска, которых практически нет. Придают силы есенинское творчество и мечта, что в Москве в скором времени будет создан современный многофункциональный комплекс музея С. А. Есенина, расположенный на нескольких площадках. Несмотря на сложности и преграды, мы неминуемо приближаемся к реализации этой цели.

— Не так давно Вы утверждали, что пришли к пониманию есенинского наследия лишь несколько лет

назад. А можно ли вообще постичь Русь есенинскую сегодня? Ведь ее давно нет... и будет ли?

— Не помню, чтобы я говорила, что пришла к пониманию есенинского наследия. Это слишком голословное утверждение. Гениальные строчки Есенина по-своему будут понимать и воспринимать каждое последующее поколение. Время идет, мир меняется с каждым днем быстрее и быстрее, мы, безусловно, никогда не вернемся к Руси есенинской, но пока люди читают стихи Сергея Александровича, она никуда не пропадет, если она живет в памяти, то она есть. Более того, поэт затронул такие грани самобытности нашей исторической родины, что еще не одно поколение будет разгадывать философскую слагаемую, заложенную в его гениальной поэзии.

— Валентин Распутин как-то обмолвился, что вся нынешняя деревенская проза вышла из короткого есенинского «У белой воды». Так ли это? Может быть, Есенин-прозаик еще не познан?

— Я много раз встречалась с Валентином Григорьевичем, в прекрасном общении писатель рассказывал, в частности, об отношении к творчеству Есенина и влиянии на него, что было так искренне, что в эти слова легко поверить. В интервью Распутин любил прибегать к гротеску, что, как мне кажется, относится и к данному утверждению, что деревенщики вышли из короткого есенинского «У белой воды». Безусловно, они вышли из всего поэтического наследия Сергея Есенина, а также из творчества Николая Клюева и Сергея Клычкова. Темы трагической крестьянской судьбы, деревенского мира, вышедшие из «новокрестьянской» литературы, в той или иной мере повторились в творчестве прозаиков и поэтов, которых критика относил к так называемым деревенщикам. Что касается Валентина Григорьевича, то его творчество я бы больше всего сравнила с прозой Сергея Клычкова: одни и те же образы, характеры и трагическое предвидение гибели Руси, без надежды на спасение.

Но вопрос в другом: считаю ли я Есенина-прозаика недооцененным? Да, считаю, что его прозаические про-

изведения и теоретические работы, такие как «Ключи Марии», представляют большой интерес, и очень жаль, что они не так известны, как поэтическое наследие Есенина. Хотя, как мне кажется, до сих пор по-настоящему «не прочитаны» и многие поэмы переходного так называемого революционного периода. В юбилейном 2015 году совместно с Домом русского зарубежья мы издали сборник поэта под пророческим есенинским названием «Я знаю будущее...», который, помимо всем известных и не очень известных стихов, включает прозаические работы и статьи.

— Сегодня на удивление много негативной, даже очерняющей литературы о поэте. Что со всем этим делать?

— Литературоведение переживает сейчас не лучшие времена, и критика о С. А. Есенине только подтверждает этот факт. Зачастую критиков больше интересует не творчество поэта, а факты его биографии, включая уход из жизни. Книжки, фильмы, статьи о Есенине — часто не попытка проанализировать и попытаться понять творчество поэта, а детективы с непредсказуемым концом: убийцы великого поэта всегда разные.

Более обидным для меня кажется отношение к творчеству Есенина плеяды некоторых деятелей и драматургов (будем считать их безымянными), которые при открытии Года литературы в России на фоне бегущих строк имен гениальных поэтов и писателей России вначале вообще забыли о Есенине? Значит, этот феномен поэта-человека до сих пор не оставляет равнодушных к его творчеству, а порой нарочито, к сожалению, выражается со знаком минус. Но это никак не мешает тому, что поэзия Есенина живет и всегда будет, как бы ее ни трактовали и как бы к ней ни относились.

— Сергей Есенин во все времена был неудобен для власти. А нынешним московским градоначальникам не мешает ли Ваш есенинский музей?

— Однозначно могу сказать, что времена, когда Сергей Есенин был неудобен для власти, давно прошли. Руководители нашей страны, Москвы и других городов знают и любят стихи Сергея Есенина. Мне приходилось читать стихи Есенина Борису Ельцину, Юрию Лужкову, Сергею Собянину, Дмитрию Медведеву и многим другим не менее известным деятелям и чиновникам. Подтверждаю, что практически все знали его стихи наизусть и вторили каждой прочитанной строчке. Всем известно, что Владимир Путин в данном случае не исключение. В решении многих непреодолимых задач имя поэта бывает порой как лакмусовая бумажка, но надо сказать, что сам Есенин «выборочно относится» к тем, кто его читает... Могу сказать точно, что для многих молодых людей, мечтающих стать президентами и мэрами, знание стихов Сергея Есенина не помешает, а

каким-то образом может стать неотъемлемой частью для достижения успеха.

— У Сергея Александровича всегда складывались сложные отношения с отцом, который видел в нем не поэта, а представителя мясной лавки. Как Вы оправдываете местонахождение музея именно по этому адресу? Да и «суриковцы», мягко говоря, не увидели есенинского гения — и вдруг им такая честь: филиал музея?

— Во-первых, как правило, мы не делим экспозиционного Есенина по адресам музея, которые называются у нас отделами, где мы делаем акценты на значимости определенных периодов в жизни и творчестве поэта. И я бы не сказала, что с отцом у Сергея Есенина складывались сложные отношения. Если говорить о таковых, то они были, скорее всего, с матерью, но это отдельная история. Отец был, конечно, разочарован, что сын не пошел по его стопам, но он всегда безумно гордился успехам сына в учебе и на литературном поприще. Да, и не только «суриковцы», но и практически все из раннего московского окружения Есенина не увидели в нем гения, а гений и пророк в это время уже ходил по московским улицам...

— Только честно: где Вам легче дышалось — в музее константиновском или в музее московском?

— Несмотря на выхлопные газы, в Москве я себя чувствую, конечно, комфортнее. Это мой родной город, и, изъездив почти весь мир, могу повторить за Есениным, что это действительно «лучшее, что я видела в этом мире». Сравнить именно музеи — это уже должны посетители, а не я.

— Как современному «гаджетному» молодому человеку открыть для себя Есенина? Есть ли секреты постижения именно есенинского поэтического слова? Поделитесь, пожалуйста!

— Во-первых, его надо услышать и вслушаться. Во-вторых, обладать даром любви. При стечении данных слагаемых можно будет ощутить необъяснимое чувство. Ответ на этот вопрос прост: приходите во все отделы Московского музея С. А. Есенина с добрым и открытым сердцем, а если вы молоды и амбициозны — в Есенин-центр по адресу: пер. Чернышевского, д. 4, стр. 2. Эта площадка, поэтическая лаборатория под руководством Влада Маленко, специально и создана для постижения есенинского поэтического слова современным молодым поколением.

— Вопрос, заставляющий быстрее дышать обывателя, но на самом деле вопрос очень важный для сохранения светлой памяти о поэте, да и просто для выяснения истины. Трагедия есенинского ухода из жизни. Ваша точка зрения.

— Да, как я уже сказала, что многие книги, фильмы, статьи и практически каждая экскурсия в музей заканчив-

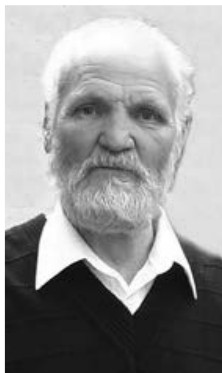
ваются рассуждением на эту тему. Можно на этот раз я оставлю этот вопрос без ответа, поскольку не считаю, что Сергей Есенин нуждается в помощи сохранения светлой памяти о нем. Мы говорим не о сыне, брате, дяде, соседе, любимом человеке, которые загадочным образом ушли из жизни, а о Сергее Александровиче Есенине — поэте, написавшем в начале XX века сти-

хи, которые продолжают читать, изучать, переводить, а главное — его творчество искренне любят и знают наизусть огромное количество людей разного возраста и поколений. Что же еще нужно для сохранения светлой памяти о человеке, который некогда сказал: «Предназначенное расставанье обещает встречу впереди...»

Беседу вел Валерий Дударев



*Большое внимание
музей Есенина уде-
ляет мероприятиям
семейного и детского
характера.*



Владимир КРУПИН

Продолжение. Начало в № 4, 5 за 2018 год

РАССКАЗЫ

Рисунок Марины Медведевой

ПОЭЗИЯ И ПРОЗА В ВОДЕ

Не все же быть серьезным, думал я, сочиняя приветствие к юбилею поэта Станислава Куняева. Мы с ним много ездили и всегда были единомышленны в том, что если встречали где воду (река, море, пруд, озеро, источник), то в эту воду непременно влезали. Ему-то, Станиславу Юрьевичу, хорошо, он в юности чемпионом Калуги по плаванию был, но и мне, при моей вятской натуре, уступать не хотелось.

На Дону

Поэт пресекает течение Дона,
За ним поспешает казацкая дона.
Прозаика плешь и в бинокль не видна,
У Дона не может нащупать он дна.

На Алтае

Прозаик:
Прозаик наш, седой, как лунь,
Пошел купаться на Катунь.
Вернулся, лег, лежит и стонет:
Узнал: в воде о н о не тонет.

Поэт:

— Алтай прошел от А до Я,
Плескался в озере АЯ.
— Да не аЯ, а Ая.
— Да, там, где двери рая,
И там, где нет прозая.

А вот из Египта такая картина:

Поэт, оседлав, понуждает дельфина.
Прозаик и тут для поэта обуза —
К нему сзади пуза прилипла медуза.

Вот плещутся оба в пространстве Байкала,
Как кубики льда между стенок бокала.
Поэт пышет жаром, прозаик бледен,
И с кем соревнуюсь, печалится он.

Друзья, перед нами река в Заполярке:
В нее, разболóкшись, рванулись в запарке.
Какие ж итоги купанья в тундрах:
Поэт ловит рыбу, прозаик в соплях.

Какая ж во всем этом мудрости доза?
Не вздумай тягаться с поэзией, проза.

К ВОПРОСУ О КГБ

Служба за интеллигентами в годы СССР была делом обыкновенным. Если есть государство, если оно собирается жить долго, оно должно иметь службу

своей безопасности. Это совершенно нормально. Да, следили. Ну и что? И правильно делали. А уж как сейчас-то следят!

О слежке за собой я узнал первый раз в институте на втором курсе, когда наши студенты поехали в Чехословакию, и я должен был ехать, а меня не пропустили при оформлении паспортов. Не поехать, это ладно, но почему не пустили? Обидно же! Тем более в программе стоял мой доклад о военной прозе. Я в ректорат — объясните. Ничего не объяснили, но вскоре вызвали в районное Управление КГБ, и очень вежливый человек разъяснил, что я имел дело с секретной военной техникой и от этого на пять лет после службы стал невыездным. Он даже пошутил, что после пяти лет мои сведения будут никому неинтересны. Техника уйдет далеко вперед.

Конечно, меня оскорбило недоверие государства ко мне, преданному гражданину, но что ж, порядок есть порядок. Узнал причину и успокоился, а потом и перед друзьями даже выхвалился: вы в Праге были, а я засекреченный.

Вот. А второе знакомство с органами было гораздо позже и гораздо длительнее. Уже и за границей побывал, уже и книги выходили, тогда и привелось познакомиться с человеком с Лубянки. Он был Николай Николаевич. Это, конечно, для меня, а как по паспорту, не знаю. Какая разница, был бы человек хороший. А он как раз таким и оказался.

Как-то так получилось, что меня привлекали диссиденты. Думаю, от того я был им интересен, что писал работы, которые не печатались, резались и редакторами, и цензурой. Смешно сейчас: повесть «Живая вода» не мог напечатать семь лет, да и то вышла вся отеребленная. Так же и другие. Вроде ничего особенного, я не обижался, борца за правое дело из себя не корчил. Но писал, что видел, что чувствовал, иначе не мог, вот и вся заслуга. Кстати, не такой уж я был страстный патриот, чтобы отказаться от публикации на Западе ненапечатанного здесь. И охотно отдавал для прочтения свои рукописи тем, кто имел отношение к издателям тамиздата. А для них, опять, был не до конца антисоветчиком.

Для Лубянки я стал интересен прежде всего знакомством с писателями Львом Копелевым и Георгием Владимовым. Были и другие, но эти, особенно последний, выделялся даже среди инакомыслящих. Он тогда, год примерно 1974-й, возглавил Комитет помощи политзаключенным. Об этом он со мной и не говорил. Об этом говорили вражеские голоса. Правда, жена Георгия Николаевича, Наталья, бывшая жена клоуна Леонида Енгибарова, говорила о всяких эмиграциях, отъездах, посадках куда охотнее. Ее можно было понять: она — дочь репрессированного директора Госцирка. Мне же Георгий Николаевич нравился как писатель. Именно его повесть «Большая руда» и роман «Три минуты молчания» я, что называется, пробивал в издательстве «Современник», где был старшим редактором и секретарем

парторганизации. То, что был секретарем, помогало и совсем не смущало ни Владимирова, ни Копелева. Даже любопытно: как так — вроде свой для партии, а и его режут. То есть не меня, а мои повести и рассказы.

Николай Николаевич, вернемся к нему, назначил встречу в отдельном номере гостиницы, теперь уже за-был, или «Москвы», или «России». Скорее, «России». Да, этаж третий (поднимались пешком, но для данного рассказа такие детали неважны). Деликатно расспрашивал о моих знакомых, которые имели знакомых за рубежом. Я был начеку. «Что я могу сказать? Хорошие писатели. Копелев даже и не писатель, исследователь творчества Гете и других немцев. А где издаются, это же их дело».

Одной встречи чекисту оказалось мало. Через неделю вновь беседовали. Он взывал к моей партийной совести. «При чем партийная совесть? — отвечал я довольно смело. — У меня и обычная есть. Я стараюсь помочь писателю Владимову издать роман. Он о северных рыбаках, о рабочем классе. Это же как раз то, что ждет партия от писателей».

— А вы можете написать свои соображения?

— О романе? Я писал редзакключение, оно в деле, можете запросить.

— А все-таки?

— Я же нового ничего не напишу.

Внутренне я уловил его желание получить от меня подписанную мной бумагу для его всемогущего Комитета. Надо ли говорить, что тема доносов, разоблачений, трусости была для пишущих интеллигентов одной из основных. Он давил и давил. Я уже, было, стал думать: а что такого, если я напишу, что Владимов — хороший писатель, автор книг о рабочем классе. Да ему премию надо дать, а не следить за ним. И в самом деле, дадут премию, это признание з д е с ь избавит от признания т а м. Но Бог спас: время встречи с чекистом истекло. Уже было далеко за конец рабочего дня, а может, номер этот был нужен для следующей встречи, Николай Николаевич засобирался. Но все-таки очень просил написать о Владимове.

— Вы говорите: он хороший писатель, так? Вот и отобразите. И мне будет легче его защищать.

— А ему что-то угрожает?

— Не то что бы, но подстраховаться не мешает.

— Но, Николай Николаевич, если его здесь не издать, там издадут.

— За него не переживайте, издадут. И гонорары переправляют.

Чекист подарил мне книгу на русском языке о Солженицыне. Написанная женщиной, она убедительно рассказывала, какой Солженицын эгоист, как он всех использует, как думает только о своей известности, как

он был на блатной шарашке, даже вроде того, что сотрудничал с органами.

И по дороге домой и дома я все прокручивал слова чекиста. Неужели готовится посадка Владимирова или высылка, так, что ли? Надо как-то Владимирова предупредить. Но как? Поневоле я попал в ситуацию, в которой надо было быть настороже. Может, уже и за мной наблюдение? За Владимовыми-то уже точно следили. Напротив их пятиэтажки на Филевской улице возводилась девятиэтажка, и Наталья уверяла, что там установлена направленная на их квартиру следящая аппаратура.

А надо сказать, что Владимов писал очень толковые внутренние рецензии. Мы подбирали ему рукописи потолще, чтобы выписать гонорар побольше. Так же, помню, мы подкармливали и Владимира Дудинцева, и Олега Волкова. Да многих. Вскоре, когда я ушел из издательства и со мною расторгли все договоры и нигде не печатали, я года три-четыре жил именно на гонорары за рецензии. Так я к чему. На работе спросил секретаря редакции, пришла ли с внутренней рецензии рукопись, закрепленная за мною. Не спросил, принесли ли Владимов рецензию, а пришла ли рецензия. Нет?

— Так позвоните рецензенту, поторопите.

Секретарь позвонил, поторопил.

— Обещал к понедельнику.

А понедельник был обязательный присутственный день. Так что я не специально вроде бы пришел, а исполняя служебные обязанности.

Владимов обычно появлялся на очень короткое время. Отдавал работу, брал следующую и уходил. Многие редактора хотели иметь такого рецензента, но я, как его редактор, имел на Владимирова монополию, то есть именно я и приготовил ему очередную работу. Открыв ее при нем, положил в нее бланки квитанций, которые заполняли рецензенты для оплаты. Протянул папку Владимову и поглядел в глаза. Как раз вместе с квитанциями я положил записку, что надо поговорить. Конспиратор он был гениальный. Через десять минут в редакции зазвонил телефон.

— Вам девушка звонит! — весело сказал секретарь редакции.

— Лишь бы не пишущая, — ответил я, взял трубку и услышал голос Владимирова.

— Стою у входа в метро, — сказал он и повесил трубку.

— Что-то разорвалось, — пожал я плечами.

— Испугалась.

Я подождал для виду, потом сказал, что пойду в магазин. У метро мы встретились, я рассказал о чекисте.

Владимов молча курил. Потом еще закурил, но быстро выбросил сигарету в урну.

— Да ерунда, не переживайте.

— За вас переживаю.

— А про Солженицына правда? То, что сотрудничал?

— За него тем более не переживайте.

На работе сказали, что меня вызывают в райком партии. Думал, из-за Владимирова, торопливо, в дополнение к редзаклчению, написал аннотацию, где опять нажимал на скудость рабочей тематики в современной литературе и необходимости издания романа «Три минуты молчания». Взял и верстку.

Но в райкоме был обычный семинар секретарей первичных организаций, один из тех, на которых можно было или спать, или заниматься своим делом, лишь бы присутствовать. Хотя я не провел время даром, подошел к зав. отделом пропаганды, женщине толковой, жаль, не помню имени-отчества, и, специально опережая события, ничего не говоря о встрече с чекистом, попросил ее прочесть роман.

Она, представьте себе, прочла. Прочла быстро, и, опять же представьте, роман ей понравился. То есть стала моим союзником. Другого союзника я обрел в лице главного редактора Андрея Дмитриевича Блинова. Он, бывший фронтовик, до «Современника» работал в издательстве «Московский рабочий», и, как сам говорил, не было у него уже сил читать халтуру, прикрытую «болтами-гайками». «Производственный конфликт, — насмешливо говорил он: совершил прогул, переживает, ночь не спал, изменил угол заточки резца, подежурил в народной дружине, вернулся к жене, забыл пивную. Письменики хреновы!»

Он взял на себя смелость подписать роман в печать. Правда, убежденный трезвенник, просил поубавить, особенно на первых страницах, эпизодов пьянки, когда Сеня Шалай, главный герой, пропивает в Мурманске получку перед тем, как уйти в море за новой. Я боялся, что Владимов заупрямится, когда приехал к нему и показал места, отмеченные карандашом и предлагаемые к сокращению. Нет, он пожал плечами и согласился.

— Если бы это пьянку в жизни сократило.

Мне же эти сокращения позволили нагло написать в докладной директору, Юрию Львовичу Прокушеву, что «в ходе подготовки романа к изданию автор коренным образом переработал его текст».

И ничего не случилось — вышел роман, выписали автору повышенный гонорар. Георгий Николаевич пришел за ним к концу рабочего дня, просил сотрудников немного подождать, ненадолго вышел и вскоре вернулся и с шампанским, и с коньяком, и с тортом. Мы славно отметили выход книги, закусывая питье тортом, словом, все по-человечески.

Точно во время застолья позвонил телефон. Меня. Николай Николаевич.

- Поздравляю с книгой. Держу в руках.
- А вы далеко?
- А что?
- По случаю выхода книги маленькое торжество.
- А-а, нет, в другой раз.

Потом, что потом? Потом Владимов уехал с женой в Германию, выпускал там журнал, ему помогал Солже-

ницын, потом они разошлись. Какие были причины, я не вникал, уже было неинтересно. Потом умерла жена Наталья. Владимов с дочерью приезжал в Москву, виделся с критиком Анатолием Ланщиковым, потом и совсем вернулся. Ему дали дачу в Переделкино, где он вскоре умер.

Николай Николаевич вышел на пенсию.

АКАДЕМИЯ ПОП-АРТ

А вот интересно, почему сельский батюшка, никогда не бывавший в опере и слушающий ее впервые, может судить о ней более здраво, чем изысканный музыковед? Потому что у батюшки неиспорченный вкус и он, слава богу, знать не знает про всякие авангардизмы всяких творческих изысканий. Потому что «Херувимская», «Святый Боже», «Ныне отпускаеши», любые православные церковные распевы настолько чисты, возвышенны, молитвенны, что, привыкнув к ним, ощущая их частью души, уже легко отличаешь подлинное искусство от искусственного.

Далее. Специалисты по фальшивомонетчикам скажут, что совершенно бесполезно изучать все новые и новые средства и методы изготовления фальшивок. За мошенниками не угнаться. Надо досконально знать подлинные ассигнации, ценные бумаги, и тогда опять же легко видеть разницу меж подделкой и подлинностью.

Все сказанное имеет отношение к новости — в Московской духовной академии открылся арт-клуб. Благая вроде бы цель — священники должны знать интересы молодежи, идти к ней, уже зная, о чем говорить. И что это якобы повысит авторитет батюшек. Это мнение или наивное, или преднамеренно вредное. На мотоциклах батюшки уже ездили, на эстрадные концерты ходили. Это нравилось молодежи: священники с ними! Молодежь еще сильнее начинала кричать, энергичнее жевать и размахивать пламенем зажигалок. И что — молодежь хлынула в церковь?

Зачем познавать нравы мира, когда мы и так знаем, что «мир во зле лежит». Наши студенты Академии — будущие пастыри, воины Христовы. Кто побеждает мир? «...Рожденный от Бога... и сия есть победа победившая мир, вера наша» (1 Ин. 5:4). Вот этому и учить. А приглашать не скоропреходящих знаменитостей, а тех, на ком Россия держится, например, учителей Шестой роты псковских десантников.

Очень досадно, что организаторы этого «арта» до обидного походят на протестантов, которые думали втащить молодежь в храмы, делая там представления, и что? Не увеличилось, а уменьшилось число прихожан. А уважение к священникам упало.

И правильно — зачем приседать перед пороком? И таковым является порок рок-музыки. Да и какая это музыка, музыка — это мелодия, мелос, а тут только децибелы и приказной командный ритм, от которого балдеют. Причем балдеют без кавычек. Сбыт наркоты на рок-концертах увеличивается. Спросите у полицейских.

Скажут, ну а как же БГ? Борис Гребенщиков? Его и зовут «БоГ», вот как фанаты его возносят. Он-то разве не исключение? Нет, не исключение. Спасибо, матом не кроет со сцены, но и Богу не служит. А не служит Богу, кому тогда служит? Да и тексты-то простенькие: «Прекрасна ты, достаточен я, сейчас мы будем пить чай». Есть и псевдозначительное: «Серебро господа моего выше слов, выше звезд, вровень с нашей тоской». В таком тексте имя Господа с большой буквы не напишешь. Но может, певец не знает, о чем петь? Он же сам заявляет: «Мы все поем о себе, о чем же еще нам петь?»

Вполне могут быть обижены поклонники БГ. Надеюсь, это ищущие, но невоцерковленные люди. Они заполняют интеллектом тоску души по духовности. Ведь и философией начинают заниматься от того же. Но душе мало просто песен и просто знаний.

Идущий в храм не свернет на рок-концерт. В Первом послании ап. Иоанна сказано студентам: «Дети, храните себя от идолов!» А сколько их было, и все они внедрялись в умы молодежи специально. Вспомним «татушек», славящих лесбиянство. Они за границей где-то на каком-то концерте получили первое место. Как же кудахтало наше телевидение — Россию славят! А они ее развращали. Украинский президент Ющенко пошел еще дальше, пригласил певца Элтона Джона в Киев с «женой», мужчиной, вывел их к толпе на Крещатик. Крещатик! И над ним «семья» — два гомосексуалиста, и гордый президент — осчастливил мать городов.

Но любого кумира смоем временем. Сегодня БГ, завтра ГБ, молодежь на месте не топчется. А кумиры состарятся вместе с поклонниками. Уж если такие вчерашние кумиры, как Вертинский, Лещенко (не нынешний), Шульженко, Утесов, другие, забыты, что говорить о сегодняшних. У тех слава была на десять порядков выше, чем у любого нынешнего.

Кто спорит, кому-то и Виктор Цой был и остается иконой, и Игорь Тальков. Но и они вожди только эстрадные, но не духовные. «Когда-нибудь через тысячу веков я обязательно вернусь в страну не дураков, а гениев», это как понимать? Темы песен все те же: «Перемен, мы ждем перемен», «Легко ли быть молодым»... Враг спасения очень сильно использует склонность молодежи к недовольству жизнью, на этом чувстве построены все заигрывания с молодой аудиторией. У нее нет настоящего дела, она не уверена в будущем, и это не ее вина, вина демократии, которая, по словам святого праведного Иоанна Кронштадтского, может быть только в аду. Как жить, когда все святое оплевывается, кругом воровство, история оболгана? Трудно, конечно. Но есть же, не выдумана же Святая Русь, есть малое стадо Христово, плывет по волнам житейского моря Корабль спасения, чего еще надо для радости? У Бога нет смерти. Говорит эстрада об этом? Да нет, на эстраде все никак не завянет «миллион алых роз», да пошляки «Аншлага» кривляются под слова: «Разве я наставлю пушку на свою жену-хохлушку»?

Следуя логике организаторов арт-клуба, надо раздвигать познавательные горизонты батюшек и в других областях. Например, спросим: у нас есть такое явление,

как проституция? Не просто есть, оно растет. Тогда надо пригласить в Академию Ксюшу Собчак, она будет знакомить студентов с нравами обычных проституток, а Жириновский расскажет о политических. Далее: надо и воров в законе не забыть, надо и наперсточников позвать, чтобы в будущем поведать прихожанам о тех, кто может их обидеть и обмануть. И не забыть уважить умников Гельманда, Швондеровича и Свинидзе, у них тоже богатый опыт издевательства над Россией, тоже надо знать.

Конечно, благое дело — знакомить студентов с современностью, но зачем для этого создавать общество с такой собачьей кличкой — арт-клуб? Ведь и само слово «клуб» опять же завезенное, да и происходит от английского «клуббер» (дубинка). При нашем богатстве бежать за опытом к тем, у кого вместо соборности саммиты да симпозиумы? Чему они могут научить? Как венчать гомосексуалистов? Как бомбить мирное население, да еще и одобрять это?

Что-то тревожное в самом факте создания этого арта. Святые врата Академии распахиваются для чего, для кого? И главное, зачем? А это уже вопрос не к студентам, а к пастырям.

ОСКВЕРНИТЕЛИ

О «концерте» в храме Христа Спасителя

Вообще, я предлагаю этих сексуально озабоченных кощунниц просто выпустить, но с одним условием: чтобы они показали свой «номер» в синагоге и в мечети. И пусть либеральные подписанты — защитники развратниц — идут с ними и на них любят. Думаю, что пожизненное заключение было бы милосерднее выполнения этого условия, ибо уже после первого концерта эти Иродиадины ученицы были бы разорваны на куски.

И нас еще смеют упрекать в жестокости! Да мы хотим, чтобы эти куклы в руках сатаны, эти его шестерки, эти дочери Иродиадины образумились, ужаснулись и спаслись. Какая жестокость? В красный угол моего дома ворвались хулиганы и кощунственно пляшут, задирая ноги, перед иконами и лампадой. А когда меня это возмущает, мне говорят: «Ах, как вы смее нарушать свободу личностей».

Вспомним к случаю Фридриха Энгельса. Ярый враг христианства и России. Очень не дурак, во многом умнее Маркса. Так вот, Энгельс писал, что половой вопрос всегда неизменно в центре всякого революционного движения. Всякая революция имеет целью ниспровер-

жение порядка бытия человечества. Эта цель недостижима без уничтожения роли семьи в обществе и роли женщины в семье.

В мой дом без спроса, по-наглому, ввалились хамы и стали плясать перед иконами в красном углу. Я возмущаюсь, а мне говорят: ну что вы, есть же права личности. Я их выставляю, а меня волокут в Европейский суд по правам человека.

Подумайте, где появились эти бесовки? В самой целомудренной стране мира, в России. Где они пляшут? В главном храме Православной церкви. Это и есть призыв к революции, которая страшнее Февральской и Октябрьской, к сексуальной. Неслучайно все революции, в том числе Французская, Итальянская, дали свободу гомосексуалистам и лесбиянкам. И только в марте 1934 года был подписан закон, по которому гомосексуализм и лесбиянство были вновь включены в состав социальных преступлений.

Вновь закончу предложением: выпустить этих кощунниц с тем, чтобы они пошли концертировать к мусульманам и иудеям.

МОЛОДЦЫ ЕВРЕИ!

И как мы могли сомневаться, что министр просвещения, убивающий школу в России, не заставит ее школьников изучать холокост? Вот и дождались, и «Комсомольская правда» нам любезно сообщает, что на изучение его отведено 72 часа. Больше, чем на изучение русского языка. И как ты тут будешь возражать? Ведь был же еврейский холокост? Конечно, был, кто сомневается. Значит, и узнать о нем небесполезно.

Но тогда надо изучать и белорусский холокост, ведь в Белоруссии не осталось района, в котором бы не сжигали по три, по четыре деревни. И сжигали однотипно — загоняли в с е х жителей в один сарай и поджигали.

И обязательно изучать и страшную армянскую трагедию — турецкую резню начала двадцатого века.

А середина двадцатого — холокост в Кампучии.

И что тогда устроенный французами алжирский холокост?

А непреходящая боль за сербский холокост, напоминая ли о Талергофе?

Испанская инквизиция? Столетняя война? Варфоломеевские ночи?

Везде счет на миллионы. Или там погибали не люди, а манекены, и лилась не кровь, а клюквенный сок? Или в мире учитываются только еврейские страдания?

И, наконец, самый страшный холокост всех времен и народов — холокост Русский. Вот что надо изучать в российских школах. Изучать так: если бы не русские жертвы — не жить бы и не быть на планете и евреям.

А теперешний холокост — аборт?

Паки и паки испытывается на излом великовечная русская терпимость, и опять враги России уверены, что мы и это переварим. Куда денешься, переварим, запасной родины у нас нет. Да, братия и сестры, дожили мы до того, что внутри России живет шерстяная порода полудюдей, ненавидящих Россию.

Ладно, Бог всем судья. Будем жить дальше.

ЭТО ВЫ, РЕБЯТА, ТОЛСТОГО ПЕРЕЧИТАЛИ

Современные интеллигенты, вслед за предшественниками, хнычут: не умеем мы объединяться. Ах, всхлипывают они, как мудр был Толстой, как красиво талмудычил: если дурные люди умеют объединяться, то и хорошим надо также объединиться. И как бы это было славненько и решило бы все русские проблемы.

Нет, милые, не умеем мы, русские, объединяться. И не умеем и никогда не научимся, и не надо. И не надо нам у евреев учиться спланиваться. Мы — русские — не стадо. Мы умираем в одиночку, но не за себя, за Россию. А она Христова. Значит, за Христа.

За полвека сознательной жизни я видел-перевидал столько попыток объединений: партий, фондов, ассоциаций, движений, советов, сборов-соборов, и что? И сдвинулось русское дело? Нет. И как оно могло сдвинуться, если любые движения были просвечены спецслужбами, были в них масоны, если за века отлаженное иезуитское умение нейтрализовать их врагов в наше время доведено до изощренности. Появляется

русская организация, в ней уже у телефона сидит красивая Ляля и звонит тете Хасе и докладывает, кто и когда пришел к Николаю Ивановичу и о чем говорили. Или появился умный, любящий Россию человек, люди готовы пойти за ним? А мы его орденами, да званиями, да бабенку подсуем, с женой разведем, да должностишку денежную предложим. Не устоит. Устоял? Есть на него и медицина, и травля, и черный пиар.

Неужели все так плохо? Нет, все антирусское, анти-российское дело разбивается, как о скалу, о наше воцерковление. Вот где враг нашего спасения бессилён.

Братья, идите в церковь. И не болтайте свои мнения о современном ее состоянии. Христос во все времена все Тот же, все та же литургия. Соединись со Христом — и спасешься, и спасешь.

А Толстой? Не к ночи будь помянут Толстой. Ну, объединились вокруг его идей, и что? И полилась кровь, и стала погибать Россия. Экое непротивление злу. Бог тебе судия, граф, но пора твои уроки забыть.

ГОСПОДЬ ПОСЕТИЛ

Много страшного я видел в жизни. В век не забуду развалины и пожара Приднестровья, Южной Осетии.

Несчастные люди, как тени, блуждали по остаткам жилищ и считали счастьем, когда находили обгорелую ско-

вородку, треснувшую кружку. Я глядел на них с огромным состраданием, но глядел-то все-таки со стороны.

И вот это вселенское горе — гибель родового гнезда — коснулось и меня — у меня сгорел родной дом. Дом детства, отрочества, юности, дом, из которого я ушел служить в Советскую армию, в большой мир. Дом, куда я всегда приезжал, а последние десять лет жил в нем, когда вырывался из каменных объятий столицы. Куда привозил любимые книги, иконы, картины, коллекцию пасхальных яиц, дымковскую игрушку... Обзаводился хозяйством. Готовил себе спокойную мемуарную старость. Все сгорело, все. Подробности пожара ужасны. Горело с вечера, и вроде все потушили, даже не стали вытаскивать вещи. И пожарные уехали. А к утру опять запылало. И горело, и дымилось еще десять дней.

И вот — чернота, остатки дыма, обугленные стены, и особенный запах горелого кирпича нашей русской печи. Первым мои сном после этого был сон, что я лезу по обгорелой лестнице на крышу, стараюсь ступить на края ступенек, лезу, лезу, а верхние перекладины еще горят.

Господь вразумил — ничего не надо собирать на старость, только богатство душевное. Я заставлял себя вспоминать Иова Многострадального, вспоминал и то, как Тютчев при свечке собирался в дорогу и сжигал в камине бумаги и по ошибке сжег много нужно. «Я очень расстроился, — пишет он, — но воспоминание о пожаре Александрийской библиотеки меня утешило».

Да и я переживу потерю вещей. Тем более что матушка и батюшка вынесли из красного угла наш родовой крест. Который при строительстве бани откопали в нашем дворе. И который долгое время был укреплен на большом выносном кресте храма. С ним мы обходили храм после вечерней молитвы, с ним шли в Крещение на Иордань.

Когда я узнал, что крест сохранился — возликовала душа. Остальное переживу. Только как, как, думаю я, жить на родине не в своем доме, а в гостинице или даже у очень хороших людей, как? Родные половицы, родовое гнездо. Живы они, и душа твоя спокойна. Тут земля, согретая твоими босыми ногами. Свой дом — это свой дом. Тут и речи не идет о частной собственности, тут родина, мой род, родные.

Стоим с братом среди черноты на остатках пола, под перекошенной матицей. Тянет сквозняком, горелой сыростью. Так сиротливо!

— Тут были полаты, помнишь?

— Да, спали на них. Просыпались не по будильнику, а от запаха лепешек, топленого масла. Печь топились, дрова трещали. По стенам блеск и блики от пламени. Отец входил с охапкой поленьев, сваливал у печи. Тут и сестры вставали. А старший брат, оказывается, уже пошел за водой. Возвращался, брал приготовленное мамой пойло для коровы, корм для кур, овец, поросенка. Шел их кормить. Часто и мы в хлев ходили.

— Да, представить. Такая была теснота, а как дружно жили, как радостно. Никто никому плохого слова не говорил.

— Вот тут, — показываю в пустое пространство открытого неба, — тут всегда была икона.

Ночью выхожу под звезды. Таких звезд, такой луны, как в вятской земле, больше нет нигде. Алмазы и бриллианты, все двенадцать драгоценных камней города будущего из Апокалипсиса сверкают над моим сгоревшим домом. При свете полной луны. И я ли первый, я ли последний погорелец на Святой Руси. Не ропщу, но как горько, Господи, стоять на кладбище детства и юности.

КСТАТИ О ТОЛПЕ

Читал хронику возвращения Наполеона из заключения. Вот, по порядку, заголовки газет.

«С Эльбы сбежало корсиканское чудовище».

«Самозванец высадился на берег».

«Бывший император идет на Лион».

«Наполеон Бонапарт в Лионе».

«Император идет на Париж».

«Париж приветствует Ваше Императорское Величество».

Тут продажность и журналистов, и ожидание толпы. Хотя именно толпе война принесла великие страдания. А по чьей вине война, убытки, смерти? Конечно, Наполеона. И толпа его опять ждет. Чего с них взять, французы.

ВЕЧЕР НА ДВОРЕ

Последние десятилетия меня постоянно не то чтобы уж очень мучают, но посещают мысли, что я, по слабости своей, как писатель сдался перед заботами дня. И не

то что б исписался, а весь как-то истратился, раздергался, раздробился на части, на сотни и сотни вроде бы необходимых мероприятий, собраний-съездов-заседа-

ний-пленумов-форумов, на совершенно немыслимое количество встреч, поездок, выступлений, на сотни предисловий, рекомендаций, тысячи писем, десятки тысяч звонков, на все то, что казалось борьбой за русскую литературу, за Россию. Разве такая жизнь помогает спокойствию души, главному условию сидения над бумагой?

Немного утешала мысль, что так, по сути, жили и сотоварищи по цеху. Слабое утешение слабой души. Все почти, что я нацарапал, — торопливо, поверхностно. Когда слышу добрые слова о каком-либо рассказе, написанном лет сорок назад, кажется, что говорят так, жалая меня, сегодняшнего. Похвала давно угнетает меня. Быть на людях, быть, как говорят, общественным человеком очень в тягость. Ощущение, что поверили не мне, а чему-то во мне, что могло им послужить. Вот, обманываю ожидания.

Ну, чего теперь, поздно. Во всех смыслах: вечер на дворе. Унывать — грех. Живу с Господом. Но мог бы жить с Ним и без литературы. Она что — миссия? Умение писать — средство передачи сведений. А посягнула на жизнь души. Еще и уверяю себя и читателей, что литература — способ приведения заблудших к Богу. А сам я не заблудший в этом выражении? Кого надо, Бог и без меня приведет.

В самом деле, зачем литература? Есть же Евангелие. Творчество — гордыня, даже богоборчество. Как и вся цивилизация. Один Творец — Господь.

Нечего сказать, веселые мысли. Это я использую данную мне свободу выбора. Но когда я был совсем крохотным и рассуждал по-детски, кто же мне внушил мысль о писательстве? Отец гордыни диавол. Скольких он погубил мечтами о славе, о деньгах. И разве я не мечтал о славе? Еще как. «Желаю славы я, чтоб именем моим...», и так далее, так что не один я такой. Но это отрочество, юность, потом пошло на поправку, ибо жизнь двигалась, и убеждала в бесполезности известности. И прошла. И нет же во мне ощущения, что прожил зря. Плохо, грешно, торопливо, да. А могла быть другая жизнь? Могла. Но что себя тиранить? Не ушел в монастырь — уже семья была, ее любил, не перестал писать — уже привык, и, значит, Бог так судил. Так что доживай и не мучайся. Выяснение отношений ухудшает их, а самокопание угнетает.

То, что пытаюсь выразить, поможет высказать утренняя молитва, в которой слова, прямо ко мне относящиеся: «Сподоби мя, Господи, ныне возлюбите Тя, якоже возлюбих иногда той самый грех; и паки поработати Тебе без лености тощно, якоже поработах прежде сатане лъстивому». А уж и поработал, аз грешный, этому лъстивому. Когда, в чем? Да во всем. Но книга моя — не церковь, читатель не священник, а я не на исповеди.

Грешил и цеплялся для оправдания за слова «все грешат».

Но то-то и оно, что не все, то-то и оно, что за других с нас не спросят, спросят отдельно с каждого. «И другие грешили? А что тебе до других. Их тоже спросят. Ты отвечай, почему именно ты грешил?».

Вот, вырвался в Никольское. Тридцать пять лет назад, когда впервые его увидел, было село, сейчас часть города, называется это — зона ближайшего Подмоскovie. Спасли мои полдомика соседняя церковь и кладбище при ней, спасибо могильным крестам.

И уже лет двадцать в округе режут бульдозеры, ухает ночами забивание свай, горят в ночи огни высоченных кранов, рвут тишину и портят воздух цементовозы. Но другого пристанища для убегания из нервной трясучки Москвы на день, на два уже не будет. Тут и скворчики мои, тут и цветы, тут и яблони, и кусты смородины, малина, крыжовник. Тут и баня.

А в доме диван, на котором лежу и протягиваю наугад руку к книжным полкам. Северянин. Никак не соберусь написать о нем, уже и не соберусь — по слабости своей наобещал статей и предисловий. «Когда мадеру дохересит... когда свой херес домадерит», умел Северянин заставлять существительные работать.

И вот в его стиле написалось и у меня такое на тему о своей жизни:

Как будто и не жил, натурил
И свое счастье упустил.
Сам виноват — литературил:
Рассказничал, миниатюрил,
Рецензичал и предисловил,
И постоянно празднословил,
Статейничал и повестил,
И ни семьи не осчастливил,
И состоянья не скопил.
Что ж, присно каюсь — сам виновен,
Что гибну под лавиной строк.
Но, может, путь мой был духовен,
И, даст Бог, оправдает Бог?

Вот только на это и надеюсь, на оправдание. Жизнь моя так крепко срослась с жизнью России, что я не могу уже ни о чем писать, кроме как о своем Отечестве. Но так может писать и историк, и философ, а я-то числюсь по разделу изящной словесности. Да, кажется, есть чем отчитаться перед Всевышним: боролись за чистоту российских вод, за спасение русского леса, за то, чтоб не было поворота русских рек на юг, за преподавание основ православной культуры... боролись же! Крохотны результаты, но уходило на борьбу и здоровье, и сама жизнь. Обозначено же в алтаре храма Христа Спасителя то, что и аз грешный начинал воз-

рождение его. Вот и награда Церкви — орден. И можно внукам показать.

Золотятся купола, издается Священное писание, и труды Отцов, и все доступно, а Россия гибнет, народ переселяется на кладбища. Нет, нет нам оправдания. За всех не могу говорить, но аз зело и вельми виновен.

МЕНТАЛИТЕТ НА КОРТОЧКАХ

Приехал в свое любимое Никольское еще затемно. Соседка разгребает дорогу от крыльца к улице. Поздоровались.

— Слышали? — говорит она. — Мы уже не Никольское, мы уже город Балашиха. — Я даже не знал, что отвечать. — Газ, свет сейчас будут дороже, — рассуждает соседка.

И вдруг я вижу, что у нее слезы появились.

— Успокойтесь, — говорю. — Не последнее это на нас нашествие. При капитализме живем, значит, грабеж будет нарастать.

— Я не об оплате, это мы переживем, — говорит она. — У меня уже старший работает. А младший! — И тут она прямо в голос заплакала.

— Что с вами?

— Извините, — сказала она. — Я объясню. Он пришел позавчера из школы, мы все пообедали. Он вылез из-за стола, отошел к порогу и... сел на корточки! Представляете? Сел на корточки. Вот как в Средней Азии сидят, на Кавказе. По телевизору показыва-

ют. Я говорю: «Ты что?» Он говорит: «У нас в школе все так сидят». Я вчера в школу. Перемена. И — точно. Кто бегают, а большинство сидят вдоль стен на корточках. У нас же, да это и везде так сейчас, много беженцев, а больше того — просто приехали, дома и квартиры купили. Уже есть азербайджанские классы. В нашем — из Чечни, армяне, узбеки. Русских мало. Учительница с ними бьется-бьется, они же плохо знают русский язык, а наши в это время сами собой, ничему не учатся. Я хотела в спецшколу младшего перевести, а там такие цены, что и на свет не останется. Я к директору: «У вас же на корточках сидят». Она: «Я тоже удивляюсь. Спрашиваю наших, говорят, что привыкли, что удобно». Тогда я говорю: «А вы что сами с ними так не сидите?»

Какой еще радости ждать, если дождался самой большой?

— А она что?

— А что она? Руками развела. Говорит: «Пишите министру».

— Министру? Да он счастлив, что просвещение русских гибнет.

ШЕСТИПИСАТНИКИ

Так обзову шестидесятников. Начал по памяти их перечислять, да бросил, память не та, кого не надо, упомяну, кого надо, забуду. Были же и Владимов, и Куранов, и Максимов. Было и явление Казакова. Белов, Лихоносов, Распутин, Потанин... Но не о них вещает пропаганда демократов, а о, например, Аксенове, Войновиче, Алешковском. Подтасовывают актеров, «Современник», «Таганку», художников... забыл этого, еще в сапогах ходил, хвалился, что пил с Высоцким, Петра Первого изуродовал, ну, неважно. На том же ополитизированном уродстве выехал и Эрнст Неизвестный. Как ими не восхититься: это надо уметь — заставить мир признать посредственность гениальностью, выдрочивание — искусством.

Когда о пьянках с Высоцким вспоминает Иван Бортник, так все-таки друг, имеет право, да пьянками и не хвалится. А Кабаков, шестидесятник, — это и писатель, видимо, или еще и художник такой выпендреж-

ник? Но я не намеренно, не для оскорбления т а к их вспоминаю, а в самом деле не помню. А за что их помнить? Того же, по сравнению с ними, юного, нынешнего, Ерофеева? Тот-то Ерофеев Вениамин, был почтнее многих, хоть и похабник, что и послужило его прославлению. Матерщинник Лимонов хоть писать умел, да и все-таки пострадал, посидел в тюрьме, давшей ему удобную камеру и время для творчества.

Битов тоже писатель, но нигде и никогда не славивший России. У него даже в «Уроках Армении» Сарьян говорит: «Я понимаю, откуда армяне, я понимаю, откуда евреи, а откуда русские?» Но тому Сарьяну не русские ли воздавали почести?

Разные они, но я не о ком-то в частности, я о тенденции.

Четверка наших солдат во главе с Зиганшиным, которые совершили в начале шестидесятых подвиг, поразивший весь мир (надо ли о нем рассказывать,

уж это-то должно быть известно), вызвала к жизни четверку ливерпульскую, битлов. Такой известности, такой гордыни мир не знал доселе. Сатана безошибочно поставил на этих бесенят. «Мы, — оралли они на пресс-конференциях, — более знамениты, чем Иисус Христос».

Думаю, многое сдвинулось в умах молодежи с их появлением. В худшую сторону.

А главное — из искусства был хирургически изъят, как лишний, основной образ двигателя мировой истории — труженика. И общество потребителей музыки обошлось без него. А от музыки всё — она задает ритмы эпохе. Если она не мелодия, не гармония, то есть не размягчает души и не делает их готовыми для молитвы, то начинает работать на разрушение души. Отсюда вся бесовщина эстрады, мелкотемье и хохмочки литературы, показ разврата в кино и на телевидении.

Шестидесятники не сопротивлялись вторжению дерготни в музыку и умы, они даже были рады. В этом шуме и бездумье и они чего-то стоили, да еще их подкачивали известностью и оплатой. Они и вспузырились от этой своей раздутости, а она оказалась пустой. Но дело было сделано — поколение за поколением стали считать и битлов певцами, и крики и кривляния искусством, и Аксенова с Войновичем писателями, и мазню

живописью. А так как выдрючиваться, особенно бессовестным, легко, то количество выдрючивания завалило то настоящее, которое все-таки было в стране.

Они изображали себя смелыми, но были лакеями при властях. Эти «уберите Ленина с денег», и «Братские ГЭС», и сколько-то шагов к мавзолею, разве не холуйство? Оно в том, что человек трется около денег и около начальства. Данный от Бога талант тратит на себя, а не возвращает его Богу.

О, как их всегда тешило приглашение к начальству, как любят теперь преподносить в воспоминаниях такие встречи и себя в них, как гордых и независимых. Они заметны, с ними считаются, их вынуждены пригласить, а то, что лично с ними большой начальник не поговорил, так это от того, что холуи еще большего размера и наглости не дали подойти. Но водочки хорошей тяпнули, хорошо закусили, чем не герои? (Аксенов).

Но время — тот самый Божий суд для наперсников разврата. Он приговорил шестидесятников к забвению.

Или не так? Очень даже так. Вроде бы и протиражированы, и прозкранены, и прохвалены, но уже только материалы для историков культуры. Но если исходное сырье суррогатно, какая ж будет пища? Несъедобная. Попробуешь, да и выплюнешь.

«Дети! Последнее время!»

Так воскликнул апостол Иоанн, ученик Христа, обращаясь к собратьям, начавшим проповедь христианской любви во всех концах Вселенной. Последними он назвал времена, наступившие после Вознесения Воскресшего Христа. Ко Кресту Его пригвоздили люди своими грехами. Не были они вразумлены ни водами Вселенского потопа, ни огнями Содомы и Гоморры. Приход Сына Божия на землю был последней милостью Бога — Отца к грешному человечеству. На Голгофе кончилось избранничество какой-либо нации, и наступило время деления людей на тех, кто идет за Христом, и на тех, кто служит сатане. Что общего у света с тьмой, у Христа с Велиаром? «Не можете пить чашу Господню и чашу бесовскую; не можете быть участниками в трапезе Господней и в трапезе бесовской» (Кор. 10:21). Третьего не дано. Ад или рай. И тут ни при чем лукавые католические сказки про какое-то чистилище.

Всем дана свобода воли, каждый может быть кем угодно: мусульманином, иудеем, буддистом, протестантом, кришнаитом, но должен знать главное — судить будет Христос, Сын Божий. А Суд неизбежен.

Понятия «русский народ» не было до Крещения Руси, была Русская земля, после Крещения стала Свя-

торусская земля. И это не пустые слова — Святая Русь сродни небесному Иерусалиму. От того мы непобедимы, что не дорожим земной жизнью, знаем: наше Отечество в небесных пределах, на земле мы в гостях. Но заработать место у Бога можно только на земле, борьбой за то Отечество, в котором было суждено появиться на свет, за свою душу. Она не наша, Божья. Мы ее получили чистой, чистой и сдать должны.

Самые счастливые люди на планете — славяне. Потому что душа у мира — православная, славянская. Душа славян живет не во времени, а в вечности. Какие бы политики, как черные вороны, ни накаркивали нам беду, как бы ни разделяли, мы тянемся друг ко другу. Чувство соборности в славянах заложено на генном уровне. Как и чувство братства. А соборности и братства не может быть без нравственного начала. Кстати, на западные языки соборность переводится как «симпозиум, саммит». Уже отсюда понятно, что им нас не понять, а значит, им хочется принизить нас до своего понимания, даже унижить. Считали славян унтерменшами и считают.

И мы слышим неумолчную трескотню политиков и писак о России — империи зла, тюрьме народов, стра-

не криминала. Но тратить время на их разубеждение — бесполезно. В это только ввяжись. Выдуманно, что Сталин, выпив в дни Победы рюмку за русских, любил их сильнее других, но кто же, как не он, вско- ре выступил против создания компартии России, хотя таковые были во всех республиках. Придуманно, что мы Иваны, не помнящие родства, но кто более славян дорожит памятью предков, а уж родовая память у нас вообще щепетильна, хотя не переходит в тщеславие, и на первом месте у нас не происхождение, а деловые качества. Придуманно, что мы — пьяницы еще с докренских времен, но как же мы ум-то свой за полторы тысячи лет все никак не пропьем, ведь все в мире: и наука, и искусство — держится русскими, славянскими талантами. Придуманно, что мы — лодыри, а кто же за нас облагородил шестую часть планеты. Мы все оборяемся, а надо наступать. Какая может быть политкорректность, когда обо мне говорят гадости, а мне и правду нельзя сказать. А толерантность означает при- выкание к заразе.

Я не говорю, что славяне лучше всех, но спраши- ваю: есть в мире вселенская иерархия? Есть. Без нее нельзя. Кто на ее вершине? Нет, это никакое не миро- вое правительство, это, конечно, Господь, создавший мир. А дальше? А дальше те, кто к нему ближе. И кто же ближе тех, кто хранит в чистоте евангельское уче- ние, апостольские предания? Конечно, славяне, конеч- но, православные.

Время летит к концу света, убыстряется. Стар- цы говорят: «Прошли времена, остались сроки». Время — главная ценность, от того так велики усилия сатанинских слуг, чтобы украсть его у нас. Заполнить его пространство чем угодно. И прежде всего заменить нравственные ценности ценностями материальными. Это главное бесовское ухищрение. Ведь кажется, жить можно — нет явных гонений на веру, на плаху за убежде- ния не тянут. Но это внешнее. Не преследуют люди, но обступают бесы. Что есть разгул пороков, хулиганства, проституции, омужичивание женщин, шествия педера- стов, наркомания, как не успешные усилия врага рода человеческого? Страшны огни адские, но огни похоти страшнее. Они постоянно, как фейерверк в ночном клу- бе, разжигаются усилиями слуг сатаны, особенно с по- мощью искусства. А что основа любого искусства? Слово. То есть то, чем был создан мир, превращается в орудие убийства мира. Либералы славят только то из написан- ного, что развращает, порочит все святое. И зовут в како- е-то якобы цивилизованное мировое сообщество. В ка- кое? В английское, где дядечек венчают? В американское, где считают, что деньги могут все?

Долго мусолили фразу: «Красота спасет мир», она уже над всеми сценами конкурсов красоты, там, где де-

вушек измеряют как породистых сук на собачьих вы- ставках. Нет, мир спасет святость — последнее, что не удастся сатане использовать в свою пользу.

Это опять-таки не объяснить тем, кто считает, что материальное состояние человека определяет его сущ- ность. Вот Янкель. Он же совершенно искренне не по- нимает, за что Тарас Бульба негодует на сына. За что? Сын полюбил полячку, а отец ее — воевода, да такой богатый, дочка у него такая красивая, повезло тебе, за- порожец. И знатное родство, и деньги. А слова о родине, вере православной, о чести и бесчестии для Янкеля про- сто непонятны. Он такой был, такой остался. Янкель сейчас в советниках у начальства, он уже и сам банкир, у него с ладони и депутаты, и журналисты клюют. Его не переделаешь. Вспоминаю маму, которая в таких слу- чаях о таких людях говорила: «С такими не связывайся. Плешь да отойди». Это народный перевод начала Псал- тыри: «Блажен муж, иже не иде на совет нечестивых и на пути грешных не ста и на седалище с губителями не седе».

Именно классика сохранила народное чувство се- мьи, родины, веру христианскую. Взорвали церкви, убили и заточили священников, сожгли священные книги, Хрущев, стуча ботинком по трибуне ООН, обе- щал показать с нее последнего попа. И что? Классика в основе своей была православна, она, как пушкинская царевна в лесном домике, вначале «затешила Богу свечку», а уж потом «затошила жарко печку». И не про- тест мифическому «темному царству» смерть Катерины из «Грозы», а не может она вынести всплеска совести, этого голоса Божия в человеке, ибо осквернила брач- ные узы. «Поздно, — говорит Дубровскому Маша Тро- екурова, — я обвенчана с князем Верейским». Русская литература не оправдывала нарушения нравственных законов. Более того, обвиняла в несчастьях человека его самого. Вот «Тихий Дон». Конечно, и Свердловы, Штокманы, и Чапаевы убивали казачество, ну а сам Григорий Мелехов? Он доводит Наталью до попытки самоубийства, и, как возмездие за грех, умирает его с Аксиньей дочка, рожденная в блуде.

За сто лет до «Слова о полку Игореве» было создано «Слово о Законе и Благодати» — учебник нашего отно- шения к жизни, указатель водораздела между отноше- нием ко Христу, противостояние иудаизма и христиан- ства. Это противостояние — главное в мировой истории, и вся история заключается в одном: мир или приближа- ется ко Христу, или удаляется от него. И теперь явно, что физическое уничтожение церквей и православных людей не смогло удалить от Престола Божия, а тепе- ршние гонения на душу удаляют.

Нам, славянским писателям, надо терпеливо про- должать делать свое дело, ведь наше дело правое, чи-

татели нам верят, пора и нашим руководителям понять, что православное славянство никогда не будет похожим ни на кого в мире. В Отечественную войну мы воевали не только с Германией, а вообще со всей обезбоженной Европой. Чехи делали для Гитлера танки, болгары кормили захватчиков, свободолюбивые французы залили оккупантов вином, завалили закуской, в союзе с фашистами воевали хорваты, румыны, итальянцы, финны, норвежцы... И это те, кто не был лишен ни храмов, ни религиозной литературы. А гонимые за веру русские люди встали на защиту того государства, которое их убивало. Они

защищали не систему, не идеологию, а Отечество, свои святыни.

Литература для славян никогда не была ни развлечением, ни наживой, она была борьбой за человека, его душу. Чистота и прозрачность славянской поэзии и прозы в лучших ее образцах была родниковой. Таковой и должна остаться. Вспомним евангельское, что не может чистая вода течь из замутненного источника. В применении к литературе источник — это сердце писателя.

И нечего нам стесняться: в духовном смысле мы — ведущие в мире.

БУМАЖНЫЕ ЦЕПИ

С годами все обостреннее вспоминается детство, особенно Новый год. Елочных игрушек у нас было мало — терялись куда-то. Вот была картонная курочка, бронзовая, с крохотным красным гребешком, а принесли из чулана коробку с игрушками, разбираем — нет курочки. Клоун тут, самолетик тут, домик тут, где курочка? Начиналось следствие. Старшая сестра вспоминала сама и заставляла всех вспоминать: кто в прошлом году разбирал елку, кто? Никто не помнил. И вообще никто не любил разбирать елку, всем хотелось, чтоб она подольше стояла. Значит, родители. Но чтобы родители могли сделать что-то небрежно, такого и подумать было невозможно. Потерянная курочка становилась еще дороже именно от того, что была потеряна.

— К соседям ушла, на соседский сарай, — говорила мама, — там несется. Ничего, к Пасхе вернется, без яиц не останемся, не переживайте.

В заботах о новой елке курочка забывалась. Да если бы она и не пропала, все равно надо делать новые игрушки. И фонарики, и цепи, и снег, и флажки. Оказывается, отец уже приготовил старые газеты, пузырек клея, кисточку, краски. Все хотели клеить кисточкой, ссорились. Но мало-помалу налаживалась работа дружной бригады. Мама стригла газеты на длинные узкие полоски, их с одной стороны покрывали разными красками или тушью, они быстро сохли, их резали на равные частички — это для цепей. На фонарики — тетрадную бумагу. Для «снега» жертвовали разноцветные промокашки. Первое кольцо для цепи склеивалось сразу, второе, в виде полоски, продевалось в первое, потом тоже склеивалось. И так далее. Подбирали цвет, чтоб не было подряд двух красных колечек или двух синих. Клея к этому времени не оставалось, и вместо него пользовались вареной картошкой. Хорошо бы, конечно, сделать клейстер из муки, но если можно картошкой, то зачем тратить муку.

Мама доставала со дна швейной машинки «Зингер» шпульку ниток. Шпульку раскручивали, сматывая с нее столько нитки, чтобы ее хватило на несколько раз от стены до стены. Это для гирлянд с фонариками и флажками. Гирлянды возносились на свои места самими первыми, еще до появления елки, чтоб потом ее не потревожить.

А цепи, копящиеся около стола шуршащей грудой, все удлинялись и удлинялись. И уже мне казалось, что хватит, нет, старшие продолжали трудиться, значит, и я с ними. Младшие засыпали прямо за столом. И на другой день, в последний день старого года, еще все делали цепи. Но уже без нас со старшим братом, мы шли на лыжах за елкой. Брат по-мужицки затыкал топор за ремень телогрейки, мне доверял только санки.

В лесу, в его тихом, белом сиянии, ожидающем восхождения солнца, елочек были целые заросли.

— Эту возьмем! — кричал я, хватая ту, которая ближе.

Снег осыпался с ветвей, елка радостно зеленела. Любая елка казалась мне красавицей, мало того, я любую жалел и желал всем елочкам счастливого Нового года.

— Маленькой елочке холодно зимой, — говорил я, — из лесу елочку надо взять домой. Давай побольше наберем, — предлагал я брату. — Все нарядим, им же обидно, вот одну возьмут, а они — так под снегом и жить?

Брат взглядывал на меня с непонятным мне интересом и все искал и искал единственную из десятков разных. Уже и солнце всходило, уже я замерзал и хныкал, а брат все продолжал поиски. Наконец решался. Но уж зато и елочка у нас была! Ровно под потолок, шатериком, веточка к веточке, а запах! Будто брат и запах выбирал — запах слышался уже в сенах. В чулане находили прошлогоднюю крестовину или делали новую, устанавливали елку и начинали наряжать. Младшие улепляли игрушками подол елочки, мне доставали

лись ветки повыше, маме еще повыше, брат залезал на табуретку и украшал самый верх. Сестра подавала ему игрушки и командовала. Отец осуществлял общее руководство.

Начинали окружать елку цепями. Осторожно, чтоб не порвать, подавали брату, он закреплял первое колечко на лапку у звезды, потом переставлял табуретку, принимал от нас волны бумажной цепи, которая серпантинной спиралью опоясывала разноцветное зеленое чудо.

Доблесть была в том, чтобы цепь нигде не разорвалась. Если кто попадал между елкой и цепью, работа останавливалась. Попавший вылезал на свободу.

— Ой, не хватит, — переживала сестра, — ой, давайте реже окружать.

Но реже не хотелось, потому что когда много таких цепей, то вся елка становилась кружевной. И всегда все сходилось в самый раз. Последнее колечко укрепляли на ветке у самого пола.

— Это как пельмени стряпашь-стряпашь, — говорила мама, — и боишься, вот теста или фарша мало будет, вот лишнее, а всегда выходит точно.

Мы любовались елкой. Отец начинал рассказывать, какие елки были в его детстве. Мы это, конечно, слышали. Еще бы ему не помнить — делали фактически для него одного, он был один сын, а кроме него, десять сестер, наши тетки.

— Один раз тятя поехал на Тихорецкую ярмарку, — начинал отец. Мы уже знали, о чем будет рассказ, — о французской булке, но с радостью слушали, таких булок мы не едали. — Поехал и привез всем калачей, сушек, а мне еще отдельно французскую булку. Бабушка говорит: «Съешь, Колюшка, половинку сейчас, а вторую половинку завтра». — И разрежала булку. А мне это так обидно показалось, говорю: «Зашивай, и все!» И она, что вы думаете, она...

— Зашила! — кричали мы.

— Баринот рос, — говорила мама, — нечего говорить, барином.

— Да, — довольно хмыкал отец, — мне ногами до пяти лет не давали ходить, все на руках таскали.

— Так уж до пяти? — сомневалась мама.

— Ну, до трех, — сбавлял отец и вспоминал дальше. — А у нас в деревне были микаденки, прозвали по отцу, у них отец пришел с японской войны и все время говорил: микадо, микадо, это японское слово.

— Это — император, — говорила сестра.

— Семья большая, звали детей микаденки. У них был японский фонарь, ох, они им хвалились. Их тоже выслали. Их раньше, успели собраться, может, фонарь сохранили, а нас выслали, ни минуты на сборы, все бросили. Игрушки пропали. А в Сибири игрушки делали из

шишек. Навешаем кедровых, потом орешки щелкаем.

— Ой, а корова, — вскрикивала мама. — Отец, пойло приготовил?

— Так точно! На моей фабрике ни одной забастовки. Вот как нас елка увлекла, даже про корову забыли. А у нее скоро будет теленок, к ней надо чаще ходить. Но как же не хотелось уходить от елки! Раньше мы наперебой, напередир, как выражалась мама, старались завоевать право нести фонарь, идти с мамой или с отцом давать корм корове, поросенку, курам, а сегодня маме пришлось назначать себе спутника.

— Нет добровольцев? — спросила она и поглядела на елочку. — Ну конечно, где ж корове против елки.

Да, но оставалось в деле украшения еще одно — «снег». И оставшуюся цветную бумагу, и промокашки резали мелко-премелко, потом в большом блюде этот «снег» — название «конфетти» мы узнали позже — этот «снег» перемешивался, брат опять залезал на табуретку, я на вытянутых над собой руках держал блюдо, брат пригоршнями черпал из него и обдавал нашу елочку как будто дождем. А последние заскребышки взлетали над нами и падали нам на головы, на плечи.

— Ой, — пищала младшая сестренка, — ой, на реснице сидит, ой, тихо! Ой, упала!

И она начинала реветь.

Младший брат пытался водворить «снежинку» на ресницы сестренки, но тут возвращалась мама. Мы ужинали и начинали ждать Новый год.

Не только «конфетти» — всё будет позже: будут папиным-маминым внукам, нашим детям, дорогие заграничные елочные украшения, мигающие электрические гирлянды, шагающий игрушечный дед-мороз, луноход на батарейках, трещащие, похожие на взаправдашние, автоматы и настоящий Дед Мороз, приносящий в оплаченное время оплаченный подарок, всё будет. И уж, конечно, съедобные подарки будут другими: фрукты, шоколад, конфеты всех мастей. «Нам бы в детство такие конфеты, — недавно сказала сестра, — мы бы из этой серебряной фольги резали «снег»». Да уж, вспомнили мы свои тогдашние подарки в пакетах из газет: печенишко, конфеты-подушечки, булочка. Пакеты вышли из моды, началась новогодняя упаковка из полихлорвинила, в виде матрешки, сундучка, царь-пушки, золотого ключика, а то и вовсе в виде башни...

Но все-то мне кажется, что у нас было больше радости от Нового года. Больше. Мы сами создавали его. Сидя у керосиновой лампы, тычась от усталости носом в стол и все равно ни за что не уходя, пока не будет полночь, пока не наступит этот щемящий, так томительно ожидаемый и тут же исчезающий миг, — разве можно уйти спать, провалиться в сон? Да ни за что! Мы сидели,

глядели на елку, кое-что еще подправляли на ней, каждый раз обсуждая, как будет смотреться перецепленная игрушка на новом месте.

— Ты от порога посмотри, ты близко смотришь, — говорила сестра.

Старший брат брал в руки лампу, и мы торжественно обходили елку вокруг.

— Хороводы завтра, — строго говорила сестра. — Сейчас в «морской бой» или в «города».

— В «пуговики», — хныкал младший брат.

Он уже совсем-совсем засыпал. Младшая давно спала.

Первое свое стихотворение я написал именно в новогоднем ожидании: «Растет история, и вот мы вместе с ней растем. И пусть войдем мы в Новый год, как в новый дом войдем».

А наутро так ликовало солнце, будто тоже понимало, что надо жить в новом году по-новому, оставив в старом все плохое. И хотя мы по-старому ломали лыжи, бросаясь на них с Красной или Малаховой горы, по-старому

обморачивались, но все равно, счастье продолжалось: дома нас ожидала елка, и ее запах соревновался с запахом свежей стряпни. О, эти мамины плюшки, ватрушки, это зимнее мороженое молоко, эти пестрые пузырчатые блины...

Самое загадочное, что на следующий год бронзовая картонная курочка находилась, и мы спорили, где ей лучше жить на елке. Ей на смену терялся домик, потом он тоже находился... И всегда-всегда деляли бесконечные бумажные цепи, оковывали ими елочку.

И вот я, понимающий, что в моей жизни все прошло, кроме заботы о жизни души, думаю теперь, что именно этими бумажными цепями я не елочку украшал — я себя приковывал к родине, к детству. И приковал. Приковал так крепко, что уже не откоюсь. Многие другие цепи рвал, эти не порвать. И не пытаюсь, и счастлив, что они крепче железных.

Правда, крепче. Детство сильнее всей остальной жизни.

ПРИВЕТ, КИКИМОРЫ!

Дорогие земляки, позвольте именно так к вам обратиться. А как иначе? Вы же сами, получается, согласились на такое прозвище вятских людей. Что называется, ради бренда.

Милые вятчи и вятчаночки, вы сбрендили. Единственное, что вас оправдывает, так это то, что вас не спросили. Какая кикимора? Вообще, подумайте: Киров — город кикиморы? И так-то жить, осознавая себя живущим в Кирове (а он же человек, то есть жить в какой его части? Ладно, в голове, а если гораздо ниже?), так еще и эта напасть. Нет уж, извини-подвинься. Годы и годы говорим мы о возвращении имени Вятка Вятке, о самой лучшей земле нашей любимой России. Никакой это не Хлынов, не селение ушкуйников, это Вятка — святая наша, единственная родина. И вот теперь ее вновь оскорбляют ради издевательского, якобы сказочного, проекта.

Скажут, ну это же шутка. Нет, товарищи, авторы таких проектов очень не дураки. Если они и смеются, то только над нами. Сделано тонко: разве кто-то будет против, если русская сказка придет в современную жизнь России? Тут и я, да и все мы не будем против, это очень хорошо. Но, спросим, почему же среди персонажей русских сказок выбраны именно представители нечистой силы? Тут, даже точно, детей наших и их неразумных родителей тянут к праздникам представителей ада? Уже и сейчас в школах бывают маскарады ряженных ведьм, вурдалаков, всяких

масок из преисподней. Это и есть тот самый праздник Хеллоуин, день бесовщины. Очень ценная, заметим, культура достается России от цивилизованного Запада.

Почему, спросим мы, не взяты из народного творчества величайшие, воспитывающие добро и любовь, образы Василисы Прекрасной, Марьюшки, Финиста — Ясного сокола, Иванушки, Крошечки-Хаврошечки? А былинные мотивы? Именно вятский человек воочию увидел на родных просторах богатырей Илью Муромца, Добрыню Никитича, Алешу Поповича, вот чем нам можно и нужно гордиться.

Что, эта кикимора будет воспитывать любовь к Отечеству, к родителям, к труду? Приучать к честности?

Скажут, а другие? А что другие? Вот и им от нас будет пример, чтоб с ума не сходили. Хочется известности? Она у вятских есть, и очень даже громкая. Вон наши соседи объявили, что Великий Устюг — родина Деда Мороза. Но это же глупость. Дед Мороз пришел к детям как святитель Николай. Родом, напомним, грек, из Малой Азии, какой тут Великий Устюг? Это город таких, потрясающих по своей силе и воле и полезности Отечеству землепроходцев, что грешно забывать их. А тут Дед Мороз. Хотя все-таки не Дед Кикимор.

Сказанного достаточно.



МАРУСИНЫ ПЛАТКИ

Эта старуха всегда ходила в наш храм, а как вышла на пенсию, то стала быть в храме с утра до вечера. «Чего ей тут не быть, — говорили про нее другие старухи, которые тоже помогали в службе и уборке, — живет одишенька; чем одной куковать, лучше на людях». Так говорили еще и оттого, что от старухи много терпели. Она до пенсии работала на заводе инструментальщицей. У нее в инструменталке была чистота, как в операционной. Слесари, токари, фрезеровщики хоть и ругали старуху за то, что требует сдавать инструмент, чтоб был лучше нового, но понимали, что им повезло, не как в

других цехах, где инструменты лежали в куче, тупились, быстро ломались.

Такие же образцовые порядки старуха завела в храме. Ее участок, правый придел, сверкал. Вот она бы им и ограничивалась. Но нет, она проникала и на другие участки. Она никого не корила за плохую работу. Она просто пережидала всех, потом, оставшись одна, перемывала и перетирала за своих товарок. Даже и староста не смела поторопить старуху. Только сторож имел на нее управу, он начинал греметь старинным кованым засовом и сообщал, что луна взошла. Другие старухи

утром приходили, конечно, расстраивались, что за них убирали, но объясниться со старухой не смели. Конечно, они в следующий раз старались сильнее, но все равно, как у старухи, у них не получалось: кто уже был слаб, кто домой торопился, кто просто не привык стараться, как она.

У старухи был свой специальный ящичек. Это ей по старой дружбе кто-то из слесарей сделал по ее заказу. Из легкой жести, но прочный, с отделениями для целых свечей, для их остатков, отделение для тряпочек, отделение для щеточек и скребков, отделение для порошков и соды.

Видимо, этого ящичка боялись пылинки, они не смели сесть на оклады икон, на деревянную позолоченную резьбу иконостаса, на подоконники: чего и садиться, все равно погибать. И хоть и прозвали старуху вредной, но то, что наша церковь блестела, лучилась отражением чистых стекол, сияла медовым теплым светом иконостаса, мерцала искорками солнца, отраженного от резьбы окладов, — в этом, конечно, была заслуга старухи.

Но вредной старуху считали не только соратницы, а и прихожане. К ним старуха относилась как к подчиненным, как старшина к новобранцам. Если в день службы было еще и отпевание, старуха выходила к тем, кто привез покойника, и по пунктам наставляла, как внести гроб, где развернуться, где стоять родственникам, когда зажигать свечи, когда выносить... То же и венчание. Крестили не в ее приделе, хотя и туда старуха бросала зоркие, пронзительные взгляды. Иногда, если какой младенец, сопротивляясь, по грехам родителей, орал особенно безутешно, старуха считала себя вправе вторгнуться на сопредельную территорию и утешить младенца. И в самом деле, то ли младенец пугался ее сурового вида, то ли она знала какое слово, но дитенок умолкал и успокаивался на неловких руках впервые зашедшего в церковь крестного отца.

Старуха знала наизусть все службы. «Ты, матушка, у меня не просто верующая, ты профессионально верующая», — говорил ей наш настоятель отец Михаил.

— А почему ты, — сурово вопрошала старуха, — почему на проскомидии не успеваешь читать поминания?

— Матушка, — вздыхал отец Михаил, — с благодарностью и смирением принимаю упрек, но посмотри, сколько записок.

— Раньше вставай, — сурово отвечала старуха. — А то чешешь, чешешь, людей же поминаешь. Чего это такое: такой-то и иже с ним. Чего это за имя — «иже с ним»? У тебя-то небось имя полное — отец Михаил, и они, грешные, не «иже с ним». Ничего себе имечко. Вот тебя бы так обозвали. Мученики не скопом за Христа мучились, каждый отдельно за Господа страдал. — Она крестилась.

— Прости, матушка, — терпеливо говорил отец Михаил.

— Бог простит, — сурово отвечала вредная старуха.

Во время службы, когда выносилось для чтения Святое Евангелие и раздавалось «Вонмем!», старуха окаменевала. Но могла и ткнуть в бок того, кто шевелился или тем более разговаривал. Стоящая за свечным ящиком Варвара Николаевна тоже опасалась старухи и не продавала свечи, не принимала записок во время пения «Херувимской», «Символа веры», «Отче наш», «Милость миру». Она бы и без старухи не работала в это время, но тут получалось, что она как бы под контролем.

Прихожан старуха муштровала, как унтер-офицер. Для нее не было разницы, давно или недавно ходит человек в церковь. Если видела, что свечи передают левой рукой, прямо в руку вцеплялась, на ходу свечу перехватывала и шипела: «Правой, правой рукой передавай, правой!» И хотя отец Михаил объяснял ей, что нигде в уставах Церкви не сказано о таком правиле, что и левую руку Господь сотворил, старуха была непреклонна. «Ах, матушка, матушка, — сетовал отец Михаил, — у тебя ревность не по разуму».

Когда старуха дежурила у праздничной иконы, или у мощей преподобномучеников, или у плащаницы, то очереди молящихся стояли чинно и благолепно. Когда, по мнению старухи, кто-то что-то делал не так, она всем своим видом показывала этому человеку все его недостойнство. Особенно нетерпима была старуха ко вновь приходящим в храм, к молодежи. Женщин с непокрытыми головами она просто вытесняла, выжимала на паперть, а уж тех, кто заскакивал в брюках или короткой юбке, она ненавидела и срамила. «Вы куда пришли? — неистово шептала она. — На какую дискотеку? Вы в какие это гости явились, что даже зачехлиться не можете, а?!»

А уж намазанных, наштукатуренных женщин старуха готова была просто убить. Она очень одобрила отца Михаила, когда он, преподавая крест по окончании службы, даже отдернул его от женщины с яркой толстой косметикой на лице и губах. «Этих актерок, — говорила старуха, — убить, а ко кресту не допускать».

А еще мы всегда вспоминаем, как старуха укротила и обратила в веру православную одного бизнесмена. Он подъехал на двух больших серых машинах (цвета мокрого асфальта, говорили знающие), вошел в храм в своем длинном кожаном пальто с белым шарфом, шляпу, правда, снял. Вошел таким начальником, так свысока посмотрел на всех нас. А служба уже кончилась, прихожане расходились.

— Где святой отец? — резко и громко сказал незнакомец. — Позовите.

— Какой святой отец? — первой нашлась старуха. — Ты нас с католиками не путай. У нас батюшка, отец Михаил.

Отец Михаил, снявши в алтаре облачение, шел оттуда в своей серой старенькой рясочке. Незнакомец картинным жестом извлек пачку заклеенных купюр и, как подачку, протянул ее отцу Михаилу.

— Держи, святой отец!

— Простите, не приму. — Отец Михаил поклонился и пошел к свечному ящику.

Оторопевший незнакомец так и стоял с пачкой посреди храма. Первой нашлась старуха.

— Дай сюда, — сказала она и взяла пачку денег себе.

— Тебе-то зачем? — опомнился незнакомец. — Тут много.

— Гробы нынче, милый, дорогие, гробы. На гроб себе беру. И тебя буду поминать, свечки за тебя ставить. Ты-то ведь небось немощный, недокормленный, до церкви не дойдешь, вот за тебя и поставлю. Тебя как поминать? Имя какое?

— Анвар, — проговорил незнакомец.

— Это некрещеное имя, — сурово сказала старуха. — Я тебя буду Андреем поминать. Андреем будешь, запомни. В Андрея крестись.

Крестился или нет, переименовал имя или нет этот бизнесмен, мы не знаем. Знаем только, что деньги эти старуха рассовала по кружкам для пожертвований. Потом отец Михаил, улыбаясь, вспоминал: «Отмыла старуха деньги демократа».

Непрерывно впадая в грехи осуждения, старуха сама по себе была на удивление самоукорительна, питалась хлебушком да картошкой, в праздники старалась сесть с краю, старалась угадать не за стол, а на кухню, чтоб стряпать и подавать. Когда к отцу Михаилу приходили нужные люди и их приходилось угощать, старуха это понимала, не осуждала, но терпела так выразительно, что у отца Михаила кусок в рот не лез, когда старуха приносила с кухни и брякала на стол очередное кушанье.

Был и еще грех у старухи, грех гордости своей внучкой. Внучка жила в другом городе, но к старухе приезжала и в церковь ходила. Она была студентка. Помогала старухе выбивать коврики, зимой отскребать паперть, а летом... а летом не выходила из огады: они обе очень любили цветы.

Церковный двор у нас всегда благоухал. Может, еще и от этого любили у нас крестить, что вокруг церкви стояли удобные широкие скамьи, на которых перепеленывали младенцев, а над скамейками цвели розовые и белые кусты неизвестных названий, летали крупные добрые шмели.

На Пасху к нам приезжал архиерей. Конечно, он знал нашу строгую старуху и после службы, когда на

прощание благословлял, то сказал старухе, улыбаясь: «Хочу тебя задобрить» — и одарил старуху нарядным платком, на котором золотой краской был изображен православный храм и надпись: «Бог нам прибежище и сила». Именно такими платками уже одаривал старух отец Михаил, но мы увидели, как обрадовалась старуха архиерейскому подарку, и поняли — свой платок она отдаст внучке.

И вот ведь что случилось. Случилось то, что приехала внучка, примерила платок перед зеркалом, поблагодарила, а потом сказала:

— А я, бабушка, в наш храм больше не пойду.

— Почему? — изумилась старуха.

Она поняла, что внучка говорит о том храме, в городе, где училась.

— А потому. Я так долго уговаривала подругу пойти в церковь, наконец уговорила. Не могла же я ее сразу снарядить. Пошла, и то спасибо: она из такой тяжелой семьи — отец и братья какие-то торгаши, она вся в золоте, смотреть противно. А я еще тем более была рада, что к нам в город американский десант высадился, пасторы всякие, протестанты, баптисты...

— Я бы их грязной шваброй!

— Слушай дальше. Они заманивали на свои встречи. Говорят: напишете по-английски сочинение и к нам поедете в гости. И не ввали. Подруга написала — она ж английский с репетиторами, — написала и съездила. Ей потом посылка за посылкой всякой литературы. Тут я говорю: «Людка, ты живи как хочешь, но в церковь ты можешь со мной пойти для сравнения?» Пошли. И вот, представляешь, там на нас такая змея выскочила, зашипела на Людку: «Ты куда прешься, ты почему не в чулках?» А Людка была в коротких гольфах. Ты подумай, баб, прямо вытолкала, и все. Людка потом ни в какую. Говорит, в Америке хоть в купальнике приди, и ничего. И как я ее ни уговаривала, больше не пошла.

— В купальнике... — пробормотала старуха.

И заходила по комнате, не зная, что сказать. Ведь она слушала внучку, и будто огнем ее обжигало, будто она про себя слушала, будто себя со стороны увидала. А она-то, она-то, скольких она-то отбила от Божьего храма! «Господи, Господи, — шептала старуха, — как же Ты, Господи, не вразумил меня, как терпел такую дуру проклятую?»

Внучка пошла по делам, а старуха бросилась на колени перед иконами и возопила:

— Прости меня, Господи, неразумную, прости многогрешную!

И вспомнилось старухе, как плакали от нее другие уборщицы, от ее немых, но явных упреков, ведь которые были ее и постарше, и слабее, а Богу старались, как могли, потрудиться, а она их вводила в страдания. Ста-

руха представила, как ее любимую внучку изгоняют из храма, и прямо-таки вся залилась слезами.

А она-то, она-то! Да ведь старуха как в какое зеркало на себя посмотрела! Были, были в ее жизни случаи, когда она так же шипела, как змея, — прости, Господи, — на молоденьких девчонок в коротких юбках или простоволосых. Где вот они теперь, миленькие, кто их захоронил?

И вспомнила старуха, как однажды, в престольный праздник, прибежала в храм и бросилась на колени перед распятием женщина и как старуха резко вцепилась ей в плечо: «Разве же встают в праздник на колени?» — и как женщина, обращая к ней залитое светлыми слезами лицо, торопливо говорила: «Матушка, ведь сын, сын из армии вернулся, сын!»

А как однажды она осудила женщину, другую уже, за то, что та уходила из храма после «Херувимской». И как эта женщина виновато говорила ей: «Свекор при смерти».

А как она осуждала товарок за то, что уносят домой принесенные в храм хлеб и печенье. Конечно, их всегда им раздавали, но старуха осуждала, что берут помногу. А может, они соседям бедным несли или нищим, сейчас же столько нищеты...

— Боже, Боже, прости меня, неразумную, — шептала старуха.

А больше всего ей вспоминалось одно событие из детства. Было ей лет десять, она позавидовала подругам,

что у них пальто с воротниками, а у нее просто матерчатое. И пристала к отцу. А отец возьми да и скажи: «Надо воротник, так возьми и отнеси скорняку кота». Был у них кот, большой, красивый, рыжий, в лису. И вот она взяла этого кота и понесла. И хоть бы что, понесла. Кот только мигал и шурился. Скорняк пощипал его за шерсть на лбу, на шее, на спинке, сказал: «Оставляй». И был у нее красивый воротник, лучше всех в классе.

— Ой, не отмолиться, ой, не отмолиться! — стонала старуха.

К вечеру внучка отваживалась с нею, давала сердечные капли, кутала ноги ее в старую шаль, читала по просьбе старухи Псалтырь.

И с той поры нашу старуху как перевернуло. Она упросила внучку привезти на следующие каникулы подругу, вместе с ними оставалась после службы на уборку, и уже не было такого, чтоб кто-то терпел от нее упреков или укоризны.

А еще вот что сделала старуха. У нее была хорошая белая ткань с пестренькими цветочками — ситец. Хранила его старуха на свою смерть. А тут она выкроила из ткани десяток головных платков разной величины, принесла в церковь, отдала Варваре Николаевне за свечной ящик. И когда какая женщина или девушка приходила в наш храм с непокрытой головой, та же старуха просила ее надеть платок.

А звали нашу старуху тетя Маруся. И платочки ее с тех пор так и зовут — тети-Марусины.

ПО МЕСТАМ СТОЯТЬ

Самой пронзительной мечтой моего детства было стать моряком. А военкомат послал меня в ракетную артиллерию. Тоже хорошо. Но стремление дышать воздухом морей и океанов было всегда. Помню учения «Океан» 1970 года на Северном флоте, я писал о них и жил на эсминце «Отрывистый». Тогда и познакомился с молодым выпускником морского училища, порывистым, вихрастым лейтенантом. Он не ходил, он летал по кораблю.

Тридцать лет прошло. Москва, патриаршая служба в память погибших моряков-подводников. Плачущий седой капитан первого ранга. Не чувствующий горячих капель воска, стекающих с горящей свечи, он отрешенно и горестно смотрел на алтарь. «Он! — толкнуло меня. — Он, тот лейтенант». У выхода я подождал его. Мы встретились глазами.

— Североморск, — сказал я, — эсmineц «Отрывистый». Учения «Океан».

— Писатель! — воскликнул он. — Есенина читал. Чего ж ты такой старый?

— А жизнь-то какая!

Мы крепко обнялись. Не слушая никаких возражений, капитан первого ранга, сокращенно, по-морски, каперанг, или каприз, повез меня к себе.

— Море — это навсегда, — говорил он, лавируя на мокром шоссе рулем «жигулей», как штурвалом ка-тера. — Навсегда. Это ж про нас, мореманов, шутка: «Плюнь на грудь, не могу уснуть без шторма». Я после Северного флота везде поселился — и на Тихом, и на Черном, заканчивал в Генштабе. Сейчас... сейчас, ну что сейчас, живу.

И вот мы сидим в его квартире. Она настолько похожа на корабль, что, кажется, пройдет секунда — и каперанг, прямо в шлепанцах, отдаст команду: «С якоря сниматься, по местам стоять!»

— Сегодня мне одна команда осталась, — невесело говорит он, — команда эта: «Отдать концы!» И отдам. И все мы, моего возраста мореманы, тоже. Зачем нам жить? Чтоб еще и еще видеть позор и поругание флота?

Я стараюсь успокоить моряка, но, конечно, это бесполезно. На стене карта «Мировой океан». На карте синими флажками места трагедий, кораблекрушений, катастроф. На южной части Баренцева моря нарисован черный крест, тут потопили атомную подлодку «Курск».

— Именно потопили, — говорит каперанг. — Сними с карты кортик, дай сюда. Нет, достань из ножен. Вот, кладу руку. Руби! Не бойся, руби. Я руку даю на отсечение, что «Курск» потопили американцы. Если у наших хватит смелости, это все узнают. У них, у натовцев, недавно был фильм «Охота за «Красным Октябрем»», это рассказ о потоплении подлодки типа «Курск». Они, вопреки всем конвенциям, вошли в район учений, что уже за всеми пределами допустимого. И шарахнули, как акулы кита на мели. Шарахнули и добивали, чтоб никого в живых не осталось, чтоб без свидетелей. Чего ж не рубишь? Прав я, прав, с рукой останусь.

Каперанг тяжело дышит, глядит на стол. На столе по ранжиру стоят: бутылка водки, фляжка коньяку и пузырьки с сердечными каплями. Подумав, каперанг берет за самую маленькую емкость.

— Первым стал задницу америкашкам лизать Никита-кукурузник. Вроде смелый, по трибуне ботинком стучит, а новейшие корабли резали на металлолом, лучших офицеров увольняли. Помню, в газетах, в той же «Правде», всякие статьи, вот, мол, как полковник счастлив, что пошел в ученики слесаря на завод. Все Хрущ лысый! А свою трусость и подлость списал на батьку усатого. Мне батька тоже не икона, но нас при нем боялись. Боялись дяди Сэмы, и слоны их, и ослы боялись. Другого языка эти животные не понимают. Америку же образовала европейская шпана, отбросы каторжные, уголовщина. На индейское золото купили европейские мозги, вот и весь секрет. Про индейцев создали фильмы, мозги придумали конституцию. У них национальные интересы Штатов во всем мире. Я был у них на базе в штате Аризона, там огромный плакат. Глобальная власть Америки — контроль за всем миром. И не меньше. Леня еще Брежнев, как бывший воjak, держался, а уж Горбач, а уж Боря-хряк, эти подмахивали НАТО как могли. Заметил, что они ничего не вякали, когда парней пытались вытащить? И этот, теперешний, с ними встречается... Нет, пока он себя мужиком не проявит, ничего у него не выйдет. Сlopають, или сам по-русски пошлет всех на три буквы и запьет. Вон Бакатин, мне говорили, пьет мертвую. То есть совесть еще есть. А! — Каперанг взялся за емкость побольше. — Давай, не чокаясь, за парней. — Он выпил, и видно было, еле справился со слезами. Встал, подошел к окну, поглядел на московскую осень. Подошел к карте. — Где еще придется крест рисовать? А я ведь, знаешь, и не думал, что еще слезы остались, а за

это время сколько раз прошибало. До какого сраму дожили: поехал наш пьяный боров в Берлин оркестром дирижировать, когда с позором нас из Европы гнали, э! Коньяк — это несерьезно, давай «кристалловской». — Каперанг успокоился, сел, смахнул на пол стопку газет. — Если б не эта зараза, да не этот вот, — он показал на телевизор, — мы бы выжили. Я когда энтэвэшников смотрю, я весь экран заплевываю. Думаешь, один я так? Все бы эти плевки на них, они бы в них захлебнулись. Вот телебашня горела не просто, как объясняют, мол, от перенагрузки. От жадности! Грузили провода по-черному, они и задымались. Но, главное, даже уже и башня не выдержала всего того срама, что ее заставляли передавать. Вещи и предметы не безгласны — это, кстати, моряки лучше всех знают. Да и вообще я к старости стал умные книги читать. Где я раньше был? Вот прочти у Иоанна Златоуста о зависимости погоды и урожая от нравственности общества. Это очень точно. Я, кстати, опять же с детства знал пословицу «Что в народе, то в погоде», так ведь во всем. Вот я полощу начальство, вся страна полощет, но давай задумаемся: мы же их заслужили.

— Да! — резко вдруг сказал он, я даже вздрогнул. — Знаешь, когда мы первый раз серьезно по морде схлопотали?

— В Сербии?

— Точно. Бандиты и хамы бомбили братьев, мы только вякали протесты. Потом послали Красноморди на замирать — еще бы, умеет, перед бандитами Басаева в Буденновске шестерил... А, чего-то я совсем разволновался.

Я стал было прощаться, но каперанг заявил:

— Нет, я тебя в таком настроении не отпущу, нет. Я близко знал нынешнего адмирала, для конспирации назову Черкашин, мы с ним на Черном болтались. А уже началась горбачевщина, он всем торопился доложить, что мы за мир, мы разоружаемся. Американцы трусы, поэтому слабину чувствуют. Стали к нам захаживать. Они и всегда-то в нейтральных водах паслись, тут стали нагнеть: зайдут в территориальные наши воды, подразнят, потом хвостом вильнут. Мы докладываем: что делать? Нам: не конфликтовать. Ладно. Те хамяют, ходят по палубе в трусах, кричат: «Рашен, делай собрание, голосуй». Ладно. А этот Черкашин был вторым на эсминце. Я тогда был начальником боевой части. Сидим в кают-компании, материмся. Черкашин командиру говорит: «Товарищ командир, вы же два года без отпуска, пора же вам отдохнуть. Оставьте на меня корабль». Командир, золотой был мужик, вечная ему память, смеется: «Нет, Коля, боюсь, больно ты горяч, как бы международного скандала не наделал».

Ладно. А главком флота был, это был главком, он тоже в Москве зубами скрипел, мы ему прямую картинку показывали, он же видел, как янки к нам голым задом стоят. И вот — слушай. Не знаю, как они договорились, но думаю, что Черкашин это все сам проделал. Он заступил на вахту и ночью палубникам приказал все шлюпки, все, что за бортом висит, прибрать. То есть остались с чистыми бортами. Утро. Те, на крейсере, кофе попили, прут в наши воды, внаглую прут. Гляжу, Черкашин сам у руля. Те прут, они же привыкли, что мы безгласны, у нас же гласность только тут. — Каперанг ткнул рукой в направлении телевизора. — Прут. Наш эсmineц спокойно пошел навстречу, сделал ювелирный маневр и навалился бортом на борт американца. Те охренели. Все их шлюпки захрустели, как орехи, бассейн на палубе к хренам расплескался. Мало того, Черкашин спокойно, но резко замедлил и еще протер их по борту. А дальше еще мощней. Отработал полный назад, потом полный вперед и навалился на другой борт и его прочистил.

— Боже ж ты мой, — воздел каперанг руки, — что началось! Через десять минут Горбач знал и разродился: разжаловать, наказать, посадить виновных, извиниться! Но главком, повторяю, мужик был от и до, тут же докладывает: накажем, уже наказали, виновного офицера представляем к суду чести, списываем на берег. Да, суд чести был честь по чести, так скажу, Черкашина качнули. А с эсминца, точно, списали... на другой эсmineц. Командиром. Ты знаешь, я уверен, америкашки это очень хорошо помнят. Тогда ж сразу уползли в Стамбул бока шпаклевать. С ними только так. Только

так. Во-первых, они не за деньги не рискуют, жадны, во-вторых, трусливы.

Но все время теперь будут кусать, как шакалы льва, который слабеет. Пока не дашь отпор, будут приставать.

Мы простились. Кортик со стуком вернулся в ножны и водрузился на место, в центр Мирового океана.

Он вышел меня проводить до лифта. Лифта не было почему-то.

— Чубайс электричество отключил, — невесело пошутил каперанг. — А знаешь, как он умирать будет? Он даже не помирать, он подыхать будет. На вонючем тюфяке и при свете огарка. Да. Остальные приватизаторы примерно так же. Я человек не злой, но знаю, что возмездие неотвратимо. Вот вы там пишете, что, мол, велика угроза Америки, это так, и мы об этом поговорили. Но главная угроза здесь. Не масоны окружили президента, а уголовники. За деньги накупили мест в Думе, депутаты у них — шестерки, уже им и цена известна. Криминал — вот угроза. Но, как всегда, наше дело правое, победа будет за нами. У уголовников и нравы уголовные. Знаешь, как говорится: «Жадность фраера сгубила», этих тоже сгубит. При условии, что они до тех пор нас не сгубят. Давай. Топай по трапам пешком. Да! — воскликнул он. — Самое главное, что ж вы не писали, что Сербию бомбили самолеты марки «Торнадо» и смерч «Торнадо» смел многие штаты тогда же. Возмездие же было. И еще будет. Держи пять, — сказал он, как говорят на флоте. — И крепко пожал руку и засмеялся: — Что же руку-то мне не отрубил, цела. А потому — прав я. Не бойсь, прорвемся! Главное — по местам стоять!

Янки, гоу хоум

Обычно фронтовики не любят смотреть военные фильмы. Даже не оттого, что в фильмах «киношная» война, оттого, что слишком тяжело вспоминать войну. Мне кто-то рассказал про одного ветерана, бойца пехоты, который пристрастился смотреть всякие «Хроники низколетящих самолетов», всякие сериалы, смотрел и плакал и говорил соседу, тоже фронтовику: «Вот ведь, Витя, как люди-то воевали, какая красота, а мы-то все на брюхе, да все в грязи, да все копали и копали...» Ветерану начинало казаться, что он был на какой-то другой войне, настоящей, а настоящая вот эта, с музыкой и плясками.

Мы, послевоенные мальчишки, прямо-таки бредили войной. Она была и в фильмах («Подвиг Матросова», «Голубые дороги», «Подвиг разведчика»), она была и в наших играх, и в каждом доме. Там отец не вернулся, там вернулся весь искалеченный, там все еще ждали. Мой отец, прошедший еще и со своим единственным глазом трудармию (а что это такое, лучше не рассказы-

вать), разговоры о войне не выносил, и я не приставал. Дяди мои, на мой взгляд, тоже не подходили для боевых рассказов. Уж больно как-то не так рассказывали.

— Дядь Федя, тебя же ранило, — приставал я. — Ну вот как это?

— Как? А вот становись, я тебе по груди с размаху колотушкой охреначу, вот так примерно.

Другой дядя, моряк, был даже офицер. После войны он вернулся к своему плотницкому ремеслу. Мы крутились около, помогая и ожидая перекура. Спрашивать опасались, мог нас послать не только в сельпо — подальше. Но дядька и сам любил вспомнить военные денечки.

— Ох, — говорил он, — у нас в буфете, в военторге, две бабы были, умрешь не встанешь. К одной старлей ходил, к другой вообще комдив. Однажды... — Тут нам приказывали отойти, ибо наши фронтовики, в отличие от сегодняшней демократической прессы, заботились о нравственности детей. Но то, что нам позволяли слу-

шать, было каким-то очень не героическим.

— Дядь, — в отчаянии говорил я, — ведь у тебя же орден, ведь ты же катерник, ты же торпедник, это же, это же!

— Ну и что орден? Дуракам везет, вот и орден, — хладнокровно отвечал дядя, плюя на лезвие топора и вода по нему брусом.

— Ну расскажи, ну расскажи!

— Не запряг, не нукай. Уж рассказывал. Подошел транспорт, надо потопить.

— Транспорт чей? — уточнял я. Это больше для друзей.

— Немецкий, чей еще? Послали нас. Как начальство рассуждало: пошлем катер, загнутся четверо — невелика потеря, и рассуждали правильно: война. Четыре торпеды. Торпеды нельзя возвращать, надо выпустить. Категорически. Мы поперли. Я говорю, дуракам везет, на наше счастье — резко туман. Везет-то везет, но и заблудились. Прем, прем да на транспорт и выперли. С перепугу выпустили две торпеды и бежать со всех ног...

— Почему с перепугу?

— А ну-ка сам вот так выпри на транспорт, это ж гора, а мы около как кто? То-то. Бежать! Утекли. Еле причал нашли. Ну, думаем, будет нам. Торпеды приперли. Я с горя спирту резанул. Вдруг из штаба — ищут, вызывают. А куда я пойду, уж расколотый, мутный. «Скажите, — говорю, — что башкой треснулся, к утру отойду». В общем-то, кто-то все равно настучал, что я взболтанный. А почему вызывали — транспорт-то мы потопили! Вот мать-кондрашка, сдуру потопили. Так еще как приказ-то звучал: «...используя метеорологические условия и несмотря на контузию, и экономя, слышь, боезапас...» — вот как!

— За это надо было Героя дать, — убежденно говорил я.

Спустя малое время, окончив десятилетку, я стал работать литсотрудником районной газеты. И получил задание написать о Героях Советского Союза. Их у нас в районе было четверо. Но один уже сидел в тюрьме за то, что надел свои ордена и медали на собаку, а сам стрелял из охотничьего ружья в портрет отца народов: второй, инвалид, ездивший на трехколесной трещащей инвалидной самоходке, был куда-то увезен, говорили, что в интернат для ветеранов. На самом же деле инвалидов просто убирали с глаз долой, была такая политика, чтоб поскорее забыть войну, чтоб ничего о ней не напоминало.

Уже и холодная война заканчивалась, уже Хрущев съездил в Америку, постучал ботинком по трибуне ООН, уже велел везде сеять кукурузу, уже подарил Крым своей бывшей вотчине, тут и фронтовиков решили вспомнить. И мне — не все же кукурузу воспевать — выпала

честь написать очерк для нашей четырехполоски «Социалистическая деревня». Редактор узнал, кто из двух оставшихся Героев передовик мирного труда, и выписал командировку. Мы не ездили в командировку, а ходили. Так и говорили: пошел в командировку. На юг района — сорок километров, на запад и восток — по тридцать, на север — шестьдесят; все эти километры я исшагал и по жаре, и по морозу, и в дождь, и в метель. И какое же это было счастье, это только сейчас доходит до сознания. Как мела через дорогу узорная поземка, как напряженно и все-таки успокаивающе гудели столбы, как далеко по опушке леса пролетало рыжее пламя лисы, как проносился, ломая наст, тяжелый лось, а весной далеко и просторно разливалась река и попадали в заречную часть только на катерах сплавконторы. А летние вечера, белые от черемухи улицы деревень, а девичий смех, от которого туманилась голова и ощутимо билось сердце, что говорить!

Герой будущего очерка был механизатором. В военкомате я выписал все данные на него и знал, что он получил Золотую Звезду за форсирование Днепра. Готовые блоки фраз уже были в фундаменте очерка: «В то раннее утро рядовой такой-то такого-то энского полка встал до соловьев (мне очень хотелось про соловьев). Он подошел к Днепру, умылся речной водой и вспомнил родную реку детства, свое село» (мне очень хотелось, чтобы на Днепре вспомнили Вятку и мое село)... Ну и далее по тексту.

— А вы вспоминали в то утро свою родину? — спросил я, когда, найдя Героя, стал его допрашивать.

— В какое утро?

— В утро форсирования Днепра.

— А, нет, мы ночью погребли.

— Но вспоминали? (Я мысленно переделал утро на тревожную ночь.)

— Может быть, — неохотно отвечал механизатор. — Тут баба с печки летит, сто дум передумает.

— Вы вызвались добровольцем?

— Да, вызвался.

— Почему именно?

— Дурак был. — Механизатор посмотрел на меня. — Вроде вас возрастом. Молодой был, вот и попер. Там как заинтересовывают — сто первых выйдут на плацдарм, зацепятся, день продержатся — Герой. Кто? Ну и пошел два шага вперед.

— Но вы же потом не жалели, когда получили награду?

— Чего жалеть, вот она. Сейчас, правда, льготы за ордена и проезд бесплатный сняли, а так чего ж... в школу приглашали.

— Да, правильно (надо в школе побывать), дети должны стать патриотами.

Сделаю отступление. Мы вырастали так, что умереть за Родину было нашей главной мечтой. О, сколько раз мы играли в Матросова, сколько же раз закрывали грудью амбразуру и умирали. Умереть за Родину было так же естественно, как дышать...

Я принес очерк редактору. Отдал и встал навытяжку. По лицу читающего очерк редактора я понял, что отличился. Только два места он похерил:

— Что это такое — вспомнил родину? А Днепр разве не наша родина? (Тогда не было позднее выдуманного термина «малая» родина.) И второе: «Прямо в песке закопали убитых товарищей». Напишем: «После боя отдали воинские почести павшим».

Я не возражал. Но за день до запуска очерка в печать редактор позвонил в колхоз, где работал механизатор, и узнал, что тот напился и наехал трактором на дерево. Редактор срочно послал меня на лесоучасток, где жил последний, четвертый, Герой.

Лесоучасток назывался красиво — Каменный Перибор, может, оттого, что стоял на берегу прозрачной каменистой реки Лобани. Этот Герой тоже был механизатором и тоже получил Звезду за форсирование реки. Но не Днепра, а Одера.

— Да и Вислу форсировали, — сказал он. Он все-таки был хоть чуть-чуть поразговорчивей, чем сельский. — Потом всяких французов, датчан выколупывали.

— Как? — спросил я потрясенно. — Французы же наши союзники.

— Да ладно, союзники, — отвечал он. — Какие там союзники, все они там повязаны. Европа вся сдалась немцам, они ее не тронули, потом они им и отработывали. Ну-ка сравни Минск и Париж, чего от них осталось?

— Но французское Сопротивление?

— Было. Но раздули, — хладнокровно отвечал он. — У них по лагерям лафа, артисты ездили, нашим — смерть. Это, братишка, была война великая, но помогать они стали, притворяться, когда мы переломили Гитлеру хребет. Еще те сволочи, — неизвестно о ком сказал он. — Да вот хоть и американцы. Встреча на Эльбе, встреча на Эльбе — кукарекают. А что встреча? Вот я тебе про встречу расскажу. Мы пошли мая десятого-одиннадцатого по Берлину — уже везде американские часовые торчат, патрули американские, они большие мастера победу изображать. Зашли, сели в ресторане. Второй этаж. Внизу лужайка. В углу американцы гуляют, ржут. И чего-то в нашу сторону дали косяка, чего-то такое пошутили. Ну мы и выкинули их в окно.

— Как? — спросил я потрясенно. — Выкинули в окно? Американцев?

— Ну. Да там же лужайка, не камни же. Потом туда им столы выкинули и стулья. И велели официанту отнести чего закусить и выпить.

— А... а дирекция ресторана?

— Эти-то? Еще быстрее забегали. Мы так хорошо посидели. Seriously посидели, — добавил он, — и пошли. И идем мимо американцев. Те вскакивают, честь отдают. Вот это встреча на Эльбе. С ними только так. А то сейчас развякались «инди-руси, бхай-бхай», это с американцами-то? Да эти бы Макаартуры и Эйзенхауэры первыми бы пошли давить нас, если бы Гитлер перевесил. Вот немцы могут быть друзьями, это да.

Я был так потрясен этой крамольной мыслью, что зауважал фронтовика окончательно.

Вот такие дела. И еще сорок лет прошло, протекло, как песок в песочных часах. Живы ли вы, мои милые герои? Я вспоминаю вас и низко кланяюсь всем вам, моим отцам, спасшим Россию.

И думаю: вы-то спасли, а мы продали. Продали, и нечего искать другого слова. Продали и предали. И вот я иду по оккупированной России, через витрины, заваленные западным химическим пойлом и куревом, отравленной пищей, лаковой порнографией, смотрю на лица, искаленные мыслью о наживе, смотрю, как ползают на брюхе перед американской помощью экономисты, как политики гордятся тем, что им пожал руку саксофонист, и думаю: «Россия ты, Россия, вспомни своих героев. Вспомни Александра, царя, который в ответ на какие-то претензии англичан к нам, высказанные послом Англии за обедом, молча скрутил в руках тяжелую серебряную вилку, отдал послу и сказал: «Передайте королю». Или, когда он ловил рыбу, ему прибежали сказать, что пришло какое-то важное донесение из Европы, а он ответил: «Европа подождет, пока русский царь ловит рыбу»». Но ведь и наш, нынешний, тоже ловит рыбу. А вот интересно: он ловит, а ему бы прибежали сказать охранники, что зовет Буш. Ведь бросил бы, чай, удочку.

Еще могу добавить, уже от себя, что не только те, при встрече на Эльбе, американцы трусливы, но и те перешние. У меня есть знакомый американец, русист. Он с ужасом сказал, что все эти сникерсы, всякие «Макдоналдсы», стиральные порошки, средства для кожи и волос — все это жуткая отравка и зараза.

— Тогда спаси моих сограждан, — попросил я, — выступи по телевизору. Тебе больше поверят, чем мне.

И что же? Испугался смертельно мой американец. Разве осмелится он хоть слово вякнуть против тех компаний, которые наживаются у нас? Не посмеет.

А еще почему трусливы американцы? Они жадны. А жадность обязательно обозначает трусость. Давайте проверим — вот придет в России к власти то правительство, которое любит Россию, не шестерит перед

разными валютными фондами, верит в народ, в Бога, знает, что нет запасной родины, и что? И все эти сникеры сами убегают.

В годы детства и отрочества, помню, часто печатались в газетах и журналах фотографии и рисунки из разных стран, на которых были написаны слова: «Янки,

гоу хоум», то есть — «янки, уходите от нас». Все беды мира связывались с американской военной или экономической оккупацией. И наши беды отсюда. Так что на вопрос «Что делать?» отвечаем: писать на заборах и в газетах: янки, гоу хоум. Не уйдете в дверь, выкинем в окно. На лужайку. Перед Белым домом.

РАДИ УЛЫБКИ

Служил я три года в нашей победоносной Советской армии и никакой дедовщины и видом не видывал. Ну да, были и старики, были и салаги, естественно. Но чтобы старослужащие издевались над новобранцами — никогда! Знаю, что говорю, я дослужился до старшины дивизиона. Вот составляю наряды, решаю, кого куда послать. И, конечно, не буду же своих одногодков на третьем году службы загонять в кочегарку или судомойку. На это салаги есть. И это, согласитесь, нормально и более чем естественно.

Но одну весьма милую армейскую шутку вспомнил, когда дети спросили: «А какие у вас были раньше первоапрельские шутки?» Тут я строго ответил, что первое апреля — это начало недели перед Благовещением, это время Великого поста, какие тут шутки? Но вспомнил розыгрыш из армейского времени, и с удовольствием рассказал. И коротко запишу.

В дивизион осенью пришло пополнение — хлопцы с Западной Украины. Ребята на службу рьяные, особой возни с ними у сержантов не было. Даже до сих пор некоторые фамилии помню: Доть, Аргута, Коротун. Титюра, Балюра, Мешок. Муха, Тарануха, Поцепуха. Так я их тройками и запоминал, так и в наряды наряжал. Нормальные хлопцы. Одним только от наших, вятских, отличались — сильно любили поощрения.

— Товарищ старшина, вы же ж сами дуже хвальны были за наряд по кухне.

— И шо ж с того? — спрашивал я.

— Тады же ж мабуць благодарность перед строем треба размовить.

— Мабуць иди, — сурово говорил я. — Награды в нашем славном ракетном дивизионе не выпрашивают, их, когда надо, дают. И, когда надо, вы их получите. Ясно? Или це дило тобі треба розжувати? На твоей ридной мове?

И вот мои сержанты-третьегодники (мы служили по три года) задумали на первое апреля нижеследующую шутку.

Они пошли, тайком от меня, в штаб к знакомой машинистке, встали на колени и умолили ее напечатать на чистой странице, даже не на служебном бланке, приказ о досрочном присвоении звания ефрейтора всем нашим

первогодкам. «В связи с тем, — значилось в приказе, — что нижепоименованные рядовые показали себя образцовыми в воинской и политической подготовке, в дисциплине, в несении нарядов по внутренней и караульной службе». Сержанты поклялись машинистке, что никто из офицеров этого листка не увидит, что его вернут ей и при ней уничтожат. Парни были огневые, красавцы: Толя Осадчий из Киева, Леха Кропотин и Рудик Фоминых из Вятки, Лева Стулов из Горького, уговорили. И листок, как обещали, потом вернули.

Звание ефрейтор — первичное, одна лычка на погонах. Дальше идут младший сержант — две лычки, просто сержант — три лычки, старший сержант — одна широкая и так далее. Прапорщиков при нас не было.

Обычно после ужина я убежал в библиотеку, оставляя дивизион на дежурного. Если что, меня всегда знали, где искать. Сержанты привели дивизион с ужина и, не распуская строя, объявили что поступил приказ об очередном присвоении воинских званий, что его торжественное оглашение будет завтра на общем построении, но надо к этому оглашению подготовиться, то есть пришить лычки. Тем, кому звания присвоены.

— С приказом можно ознакомиться в ленинской комнате на доске почета.

Почему на доске почета, а не у тумбочки дневально-го, это тоже было продумано: не хотели подставлять ни дежурного, ни дневального.

Строй распустили, все кинулись читать приказ. Радостные крики оглашали казарму. Парни мои объясняли, что это такая особая честь нашему дивизиону, а мы и правда только что хорошо провели учебные стрельбы, что, конечно, это редкость редчайшая, чтобы военнослужащие получали звание так быстро, но тут особый случай.

Словом, сели салаги за иголки и нитки. Лычки им отмерил каптенармус Пинчук. Погоны новые выдал он же. Он же и собрал вскоре эти погоны, но уже с пришитыми лычками. Сказал, что раздаст утром, на построение.

Никто не заметил, что к ночи приказ исчез с доски. И я, прибежавший проводить отбой и читать наряд на завтра, о нем и понятия не имел.

Вообще я потом даже сетовал парням, что меня не ввели в курс розыгрыша, но парни объяснили, что не хотели меня подводить. И не подвели. Утром, после завтрака, перед построением сержанты вызвали меня в ленкомнату и вязали во всегда непростое распределение нарядов на будущую неделю по батареям и взводам. И что-то сильнее обычного спорили, я даже изумлялся. Время летело. Я посмотрел на часы и оторвался от бумаг:

— Крикните дежурному: выходи строиться.

Вскоре дежурный заскочил в дверь:

— Старшина — комдив!

Выйдя на крыльцо, я привычно и мгновенно посмотрел на выровненные по белой линии носки начищенных сапог, скользнул взглядом по гимнастеркам, заправленным в ремни, по блестящим бляхам, по головным уборам и скомандовал:

— Див-зион, р-рясь!... Ир-но! Равнение напра-о!

И четко, по-строевому, пропечатал несколько шагов навстречу нашему подполковнику.

— Тарщ подполковник, вверенный вам дивизион на утренний осмотр и развод построен!

И увидел вдруг взгляд подполковника. Он смотрел с каким-то недоумением, но не на меня, на выстроившихся солдат. Я невольно тоже поглядел и... и чуть устоял — в строю стояли сплошь ефрейторы. Все в новехоньких погонах, все очень радостные. Они были готовы гаркнуть: «Служим Советскому Союзу!».

— Это кто у тебя тут выстроился? — ласково спросил комдив.

— Понятия не имею, — искренне ответил я.

— А сам ефрейтором быть не хочешь? — поинтересовался комдив.

А дальше? Дальше пошла разборка. Таскали к комдиву и сержантов, и «ефрейторов». Все честно говорили, что был приказ. Был. «Вот утуточки, урамочке». И все это подтверждали.

Но уже во всей части шел такой хохот, так всем понравился наш розыгрыш, что, конечно, было глупо истолковать его как преступление или тому подобное. Дежурному сержанту вклеили внеочередное дежурство, только и всего. Это ж в тепле, в казарме — это не караул, не круглосуточное бдение на позиции. Я сказал комдиву, что буду рад ефрейторскому званию и тому, если с меня снимут хомут старшины. Тем более у меня шел последний год службы, я начинал готовиться к приемным экзаменам в институте.

— Да ладно, — отмахнулся комдив, — иди, к экзаменам готовься.

Мы думали, что и «ефрейторы» не будут обижаться. Но вот как раз они-то и обиделись. И то сказать — только что приятно ощущали на погонах лычки — и нет их, сами же и спарывали. Даже сфотографироваться не успели.

— Кляты москали, — возмущались они.

Но мы не обижались. Я вообще искренне думал, что меня это прозвище возвышает. То все вятский был, а тут уже и москаль. Не так себе.

Вот такое было армейское первоапрельское происшествие.

ПОКА НЕ ДОГОРЯТ ВЫСОКИЕ СВЕЧИ

За столом летнего кафе компания молодежи. Лица красные, жесты энергичные. Говорят громко, кружки по столу двигают резко и, кажется, разбили одну: около стола уборщица с веником и совком.

— Вы не возражаете?

Я повернулся — кто это таким детским голосом, — увидел мальчика и хотел послать к папе-маме, но разглядел — карлик. Лет сорока.

— Да, конечно.

— Люблю, — сказал он, ловко влезая на стул и двигаясь на нем ближе, — люблю на открытом воздухе выпить свежего пивка. Вы позволите? — Он перехватил у меня пустую кружку и передал уборщице. — Вы кто по профессии? — спросил он, поворачиваясь обратно. — Можете не отвечать, главное, что интеллигентный человек. И мы пойдем друг друга. — И, хихикая, добавил: — Несмотря на явную разность величин.

Мимо нас к прилавку прошел мужчина, пошатнулся, задел кого-то из парней. Они все сразу вскочили и налетели драться. Каждый непременно старался ткнуть мужчине в лицо. Кепка слетела у него с головы. Уборщица успела быстрее всех. Оттащила мужчину, крикнула на молодежь. Тут мой карлик слез со стула, подбежал к упавшей кепке и стал ее подпирать и топтать. При этом восторженно вскрикивал. «Вы позволите?» — спросил он парней. И вскоре сидел за их столом и потешал их.

Я невольно вспомнил карлика, который в моем детстве пас гусей. Имени его мы не знали, звали лилипутом. Он жил на мельнице, ходил босиком. Помню пруд и плотину после дождя. На глине глубокие детские следы. Лилипут очень боялся гусей. Пока гнал одних, другие забегали сзади и щипали.

Еще вспомнился театр лилипутов и афиша:

«ТЕАТР! ЛИЛИПУТОВ!!!»

Уборщица подняла кепку мужчины, хлопнула ею по стулу, унесла. Карлик что-то рассказывал парням. Парни хохотали и плескали в его кружку из своих.

Казалось, что у лилипутов крошечные паспорта, крошечные в них фотографии и вообще все капельное, кукольная посуда, маленькие весы и гири. Буханки хлеба хватает на весь театр на неделю. Когда мы узнали, что театр приехал, то нас уже от клуба было не оттащить. И дождался — изнутри вышла женщина-лилипутка. Губы накрашены, в губах папироса. «Мальчики, — сказала она, хотя любому мальчику была по пояс. — Нужен уголь — подводить брови. Кто принесет, получит контрамарку. — Мы молчали. — Ну! Простой уголь! Из печки».

Ближе всех жил Руслан, сын продавщицы. И то, что он опередит, я с великой горечью понял, когда добежал до своего дома и нахватал полную пазуху самоварных углей.

Окна в клубе были плотно занавешены, мы ничего не увидели, а Руслан рассказать ничего не сумел, только все повторял шутку из концерта: «Он в столовой говорит: а где сахар? Она говорит: вы как мешали? Направо? А сахар ушел налево».

...Молодняк за соседним столиком вдруг встал и, гора нынешним языком, слинял.

— Вы позволите? — спросил карлик. — Интересует меня молодежь, — сказал он через минуту. Говорил он быстро, с удовольствием, хотя казалось, что говорить высоким голосом трудно. — Вы заметили, какова стадность? — спросил он. — Впятером за бутылкой. Будто нельзя одному. — Он почувствовал, что говорить мне с ним не хочется, но не отступился, наоборот, качнулся вперед, заговорил вполголоса: — Вы не думайте, у нас все так же, и свадьбы, и дорогие специальные кольца (он показал широкий желтый перстень), все как у вас, только по знакомству. Только у нас не рождаются дети. Нет детей! — трагически произнес он. Выждал паузу и закончил: — Мы рождаемся у нормальных людей. Н-но! Вопрос: кто нормальные?

Невольно я заметил, что ноги его в лаковых туфлях не достают до земли.

— Да, да, — сказал крошка, — это загадка природы: карликов рожают гиганты. Причем правильно говорить не лилипут, а карлик. Некоторые наши стеснялись этого слова, но возьмите Даля, у него нет слова лилипут. Даже в девятьсот третьем при переиздании словаря Даля Бодуэн де Куртенэ не включил слово «лилипут», проверьте. Видимо, Свифтов Гулливер еще не прошел по России. Это ведь оттуда страна Лилипутия. Забавно! — воскликнул карлик. — Свифт думал, что зло исчезнет, люди прочтут его книгу. Прошло три столетия — и что? Но это к слову. Когда не с чем бороться,

зачем жить? Так вот, кому-то кажется благозвучнее «лилипут», хотя правильнее «карлик». А-а, теперь карликом обзывают всякого горбуна. Нет чистоты породы! Вы пейте, пейте. Я, с вашего позволения, тоже.

— У вас есть теория? — спросил он вскоре, утираясь большим желтым платком. — Нет? Ну, это нестрашно, в основном живут без теорий. Вот эти, например. Но унять их подоплеку, изнанку...

— Это можно и без топтания кепки, без лизоблюдства. — Я все-таки не мог понять, чего ради он заискивал перед парнями.

— Если бы меня не перебивали, — сказал он, — но всегда думают, что в маленькой голове мало ума. Дело же не в килограммах мозга, а в извилинах. Грецкий орех или тыква? — спросил он. — Однако у нас пусты бокалы, я их наполню. Сейчас вы скажете, что страсть к услужливости у меня в крови, и ошибетесь. Просто я возьму без очереди, а вам не дадут.

И в самом деле очередь перед ним расступилась. От сдачи я отказался. Он спрятал ее, снова залез на стул.

— Благодарю. А ведь вы вряд ли богаче меня, у вас нет лаковых туфель и золотого кольца, и вовсе не модерновый костюм.

— И что же теория? — спросил я.

— Покончим сначала с этой, — ответил он, обхватывая кружку как маленький бочонок. И долго, по-комариному, пересасывал в себя жидкость. — Теория в том, — сказал он наконец, вновь утираясь желтым платком и слегка посмаркиваясь, — что все познается в сравнении. Не будь вас, мы — карлики — считали бы себя гигантами по отношению, например, к мухе. Не так ли? И кто возразит, что электроны-нейтроны бесконечны для познания? А ведь я побольше электрона, — посмеялся он. — Сколько душ на конце иглы? Или вы по-прежнему считаете это схоластикой? Но, — вновь вернулся он, — вы хозяева природы, а природа создала карликов, чтобы вы считали себя большими. В сравнении. Потому что появившись великан, и все вы перед ним лилипуты. Кстати, вся теория относительности в этом. Эйнштейну совершенно излишне аплодируют. Но почему карликам не дано функции размножения? Наше себялюбие помогло бы нам размножиться с большой скоростью. Кто знает, какое качество возникло бы из количества карликов. Вы не устали? Еще пива? Ведь вы столько выпьете, что мне не унести. Деньги есть, не волнуйтесь. Зарплата у нас подходящая. Знаете первую заповедь? Если ты должен предать свой народ, чтобы спасти его, предай. А вторая? — Карлик еще раз показал широкий перстень: — Копи золото и жди сигнал...

В кафе вернулся мужчина, которого хотели избить парни. Я махнул ему рукой, он увидел и сел к нам. Он где-то успел ополоснуть лицо, вытирался рукавом и глядел по сторонам трезвеющими красными глазами.

— Ты этих парней знал?

— Впервые вижу.

— Вот твоя теория, — сказал я карлику, — количество этих мальчиков сильнее мужика, так?

— Это совсем другая теория, — радостно сказал он, — это вопрос стадности, я же говорил...

— Кепку мою не видали? — спросил мужчина.

Карлик спрыгнул со стула, быстрыми шажками сходил за кепкой.

— Спасибо, — сказал мужчина. — И только за то хотели убить, что нечаянно задел. Это уж до чего дошло? Я пришел выпить пива. Имею право.

— Д-да! — вскрикнул карлик.

Мужчина, будто впервые увидев его, долго смотрел.

— Ты какой размер носишь?

— Ой, только не надо! — заотмахивался карлик. — Только не говорите, что нам дешево жить, наши женщины, представьте себе (он адресовался ко мне), нуждаются в мохере не меньше других и не носят детских колготок...

— Я своей покажу мохер, — сказал мужчина. — У них, конечно, одним пивом не обошлось, — сказал он о парнях.

— Все спецзаказ, все индпошив! — продолжал карлик. — Это дорого. Это безумно дорого. Никто не представляет себе, как дорого.

— Пенсию-то какую-то должны вам платить, — сказал мужчина. — Одежда дорого, зато на еду мало идет.

— Вы еще сначала заработайте эту пенсию.

— Тебя же не поставишь камни ворочать.

— Перестань, — сказал я мужчине. Пододвинул ему нетронутую кружку.

Своим высоким голосом карлик стал говорить:

— Один энный, скажем так, человек нанимал меня для шпионажа...

Мужчина поперхнулся и долго кашлял. Я постучал мужчину по спине.

— ...для шпионажа. Он был страшный картежник, ставки бешеные, вначале он хотел нанять вертолет. Они играли в парке. Вертолет зависает над ними, вертолетчик смотрит в двенадцатикратный бинокль и по рации сообщает данные. Но неудобно: вертолет шумит, партнер может пересесть, сядет спиной. Вот тогда

игрок решил использовать мой рост. Он взял большую спортивную сумку, посадил меня в нее, принес к месту игры. Но я все же не молекула, не атом. Вдобавок партнер сильно прижимал к себе карты. Так что мне даже ничего не заплатили.

— А знаешь, — воодушевляясь, сказал мужчина, — пойдем к тебе в гости. Пойдем к нему, — пригласил он меня. — Кровать, наверное, у тебя с этот столик. Или детская коляска? В ней и похоронят.

— Ничего интересного, — грустно ответил карлик. — Может быть, только перевернутая подозрная труба. Я смотрю через нее на улицы, и все вы кажетесь муравьями. Еще, может быть, набор говорящих кукол: президенты, их жены, прочий аппарат. Иногда я на них проигрываю очередную смену правительств. Но и это не редкость. Пожалуй, единственное, что у меня есть, — свеча. Абсолютно с меня ростом. Стоит на полу. Пламя на уровне моих глаз. Боюсь зажигать, ощущение шагреновой кожи, то есть... объяснить?

С прежним шумом в кафе вернулась прежняя компания.

Одни пошли за стаканами, другие сели и стали звать карлика.

— Я пойду, — сказал он, — с тем условием, что вы будете знать мой научный интерес. Шагреновая кожа, — разъяснил он напоследок, — это вся наша жизнь. Я маленький, кровь во мне обращается быстро, я сильнее чувствую, быстрее вижу, а вы наоборот, оттого мне любопытны ваши особи.

Он перешел к парням.

— Их по одному надо убивать, — сказал мужчина. — Ну, свяжись я с ними сейчас со всеми. И что? И не жилец.

Слышно было, как карлик высоким голосом спрашивал:

— Вопрос на засыпку: как звали карлицу в романе Пушкина «Арап Петра Великого»? Считать до трех? Бесполезно! Ласточка. Каков размер вершка? Вершок? Р-раз, два... три! Бесполезно. Сколько вершков были карлики, подаренные Голицыным (кто Голицын?) Петру Первому? Двенадцати! Стыдно, цари природы! Все цари имели карликов, вы и без карликов мните себя царями.

Мы еще посидели.

Надо было спросить карлика про театр лилипутов. Если их немного, они могут знать друг друга. И тот мужичок с ноготок? Который пас гусей. Да нет, это было давно.

Почему? Да потому

Рита Борисовна — зав. редакцией. Очень щепетильная, ведет на каждого автора карточки. Вся такая тре-

бовательная. Молодая. С ней лучше не ссориться, выживет. Мы-то, редактора, имеем редакторские дни,

она ходит ежедневно, и возможностей для разговора о нас с начальством у нее много.

Она любит поэзию, возвышенная такая. На столике, напоказ, весь день лежат подруги в поэзии Ахматова и Цветаева. На ночь их запирает в редакционный сейф. Приходя на работу, выкладывает.

Но вот подружек потеснил Бродский. Глаза Рита Борисовна закатывает, цитируя: «Ни страны, ни погоды не хочу выбирать. На Васильевский остров приду умирать».

— Значит, не хотел выбирать, а все-таки выбрал? — поддевают Риту Борисовну.

По ее мнению, поэту, а значит, и ей наносится оскорбление. Встряхивает каштановой гривой и уходит курить в коридор.

Вдруг с утра смеется, заливается. Прочла у любимого поэта, как он ловко дополнил стихи Пушкина:

— Слушаете? «Я вас любил безмолвно, безнадежно, то ревностью, то робостью томим. Я вас любил так искренне, так нежно, как дай вам Бог...». Не даст!»

Сказать же Рите Борисовне, что это величайшая пошлость, цинизм и мерзость, даже подлость так поступать с Пушкиным, бесполезно. Да вы что, какой цинизм, это же великий Бродский.

И почему такое возможно? Да потому, что Бродскому, по мнению Риты Борисовны, все позволено. Это нам ничего нельзя.

— Ваш Бродский рекламировал в стихах презервативы! — говорят ей.

— Но в стихах же! — гордо отвечает она.

«ТЕБЕ С ЧЕМ БЛИНЧИКИ?»

На телевидении, в объединении «Экран», была сценарная мастерская. Гонорары там были приличные, но и мафия была еще та. Чужих не подпускали. Иногда, для очистки совести, давали и «чужим», то есть русским, заработать. У меня был приятель Анатолий М. Жив ли он, не знаю. Так вот. Судьба его была тяжелейшей. Талантливый, он был, по мнению редакции «Экрана», очень вредным, так как не подгонял сюжет под идеологию.

А жена у него была еще вреднее, тоже на уступки не шла, гнала куда-нибудь в штат, на работу. Ходила даже в домоуправление и договаривалась, что его возьмут в дворники.

Сценарное наше братство было слабеньким, но вспоминалось, когда кому-то фартило, то есть брали в работу сценарий. Тогда мы шли к «камню», огромному железобетонному кубу у Октябрьской (Николаевской) дороги, и поздравляли товарища за его деньги.

И однажды Толе повезло неслыханно: сразу два сценария были приняты, и с ним заключили догово-

ры. Толя отстегнул нам на пропой изрядную сумму, а сам извинился и поехал домой. Он хотел в такой день предстать перед женой в трезвом виде. Это его решение было нами принято очень положительно.

Но на следующий день он уже сам позвал нас к камню. Что случилось?

— А! — отмахивался он. — Она обалдела от денег. Не верила, что не украдены. — «Да вот тебе договоры, что еще?» Летала по комнате, всего настряпала. С утра сел, думал добить одну штуку. Она скребется: «Толечка, я блинчики сделаю. Сделать?» — Сделай. Через минуту: «Тебе с чем блинчики, Толечка?» — Да все равно. «Может, с вареньем». — Давай с вареньем. Через минуту: «А с каким вареньем?» — Да все равно. «Нет, ну почему, может, тебе лучше с черничным, для глаз же хорошо». — Давай с черничным. Опять идет: «А может, Толечка, с малиновым сиропом?» — Как это, а? — спросил Толя. — Я вскочил, закричал: «Где метла, где мой участок?» — отшвырнул стул, и вот я здесь.

Соколко

То, что животные обладают разумом, это даже и обсуждению не подлежит. Дядя мой соглашался говорить о пчелах, если собеседник тоже, как и дядя, считал пчел умнее человека. Мама моя говорила с коровой, ругала куриц, если те откладывали яйца не в гнездах. Кот наш Васька сидел за обедом семьи на табуретке и лапой, издали, показывал на облюбованный кусок. Дворовая наша Жучка, завидев нас, начинала хромать, чтоб мы ее пожалели. Что уж говорить о лошадях, которых мы во-

дили купать. Белесая Партизанка, худющая, с острым хребтом, выйдя на берег из реки, валилась на песок и валялась, чтоб ее снова запустили в воду, так ей нравилось купание.

Но как же я помню из своего детства одного песика, собачку по имени Соколко. Именно из своего детства, будто это песик был мой. А он из сказки Пушкина о мертвой царевне и семи богатырях. Когда царевна, отведенная в лес на погибель, приходит в дом семи брать-

ев, Соколко очень ей радуется, верно ей служит. И как он старается оградить хозяйку, как кидается на злую колдунью, дает понять царевне об опасности. Но царевна все-таки надкусила яблоко, у нее «закатались глаза, и она под образа головой на лавку пала и тиха, недвижна стала». Вскоре героически умирает и верный Соколко. Он, бессловесная тварь, не уберег любимую хозяйку. Страдание его безмерно. Он отыскивает братьев в лесу, горестно воет, зовет их домой. Братья, чувствуя неладное, скачут вслед за ним. Спешились. «Входят, ахнули. Вбежав, пес на яблоко стремглав с лаем кинулся, озлился, проглотил его, свалился...»

Вообще, это величайшая сказка. Чернавка ведет царевну на съедение диким зверям, та просит ее: «Не губи меня, девица! А как буду я царица, я пожалую тебя». И на краю гибели царевна уверена, что станет царицей. Чернавка, пощадив царевну, оставляя ее на волю Божию (она именно так и говорит: «Не кручинься, Бог с тобой»), чернавка докладывает мачехе, что приказание выполнено, царевна привязана к дереву. Чернавка тут, надо думать, угождает мачехе, не смея осуждать жестокость приказа, даже успокаивая совесть незаконной царицы. «Крепко связаны ей локти, попадетса зверю в когти, меньше будет ей терпеть, легче будет умереть».

Вырастая в обезбоженное большевиками время, мы не были оставлены Богом. Такие тексты, как эта сказка, исподволь действовали на нас. Ведь царевна, войдя в дом братьев, вначале «затешила Богу свечку», а уж потом «затопила жарко печку». Это же поселялось внутри нас и влияло на душу. Когда умирает царевна, то не как-нибудь, а ложится на лавку «головой под образа». Когда отказывает в просьбе стать женой кого-либо из братьев, то говорит: «Коли лгу, пусть Бог велит не сойти живой мне с места. Как мне быть, ведь я невеста...»

А уж как ищет ее возлюбленный Елисей! И помо-

гает ему не солнце, не луна, а ветер. Мы же все знали наизусть этот отрывок: «Ветер, ветер, ты могуч, ты гоняешь стаи туч...» Но что особенно важно, так это слова: «Не боишься никого, кроме Бога одного». Ветер рассказывает Елисею о пещере, где «во тьме печальной гроб качается хрустальный». Пушкинский, совершенно православный мотив — преодоление любовью смерти, изображение смерти как сна перед воскресением, здесь блистателен: «И о гроб невесты милой он ударился всей силой. Гроб разбился. Дева вдруг ожила. Глядит вокруг изумленными глазами...»

Вот ведь и в «Золушке» есть мотив волшебства и колдовства: превращение тыквы в карету, мышей в лошадей, но все как-то не по-нашему. В «Спящей царевне» колдовство — сила злая, преодолеваемая любовью.

«Ветер, ветер, ты могуч, ты гоняешь стаи туч, — учили мы, — ты волнуешь сине море, ты гуляешь на просторе, не боишься никого, кроме Бога одного!» Учили, и дарвиновское понимание всеисилия природы, атеистическая объяснимость любых явлений ее, отступало вот перед этой боязнью ветра. Могучий ветер боится только Бога. Ветер, ломающий деревья, топящий корабли. Еще далеко впереди было Священное Писание, буря на Галилейском море, утихшая по одному слову Спасителя, все было впереди. Но принять в сердце веру православную помогла русская литература. Особенно Пушкин. «И с невестой своей обвенчался Елисей». Не в ЗАГС пошли, обвенчались.

А как мой Соколко? А вот он не ожил. Как жаль, не умел говорить. Объяснил бы братьям, отчего умерла царевна. Пришлось на себе показать причину ее смерти. Соколко так любил царевну, так мучился своей виной, тем, что не уберег ее, то, конечно, как бы потом жил?

Если бы я стал вдруг снова мальчишкой, завел бы щеночка и назвал бы его Соколко.

НЕ О ТОМ ДУМАЮ

В старости я дожил до унижительного состояния постоянных мыслей о том, где взять денег. Журналы, газеты, меня печатающие, гонораров почти не платят, сами нищие. От продажи книг наживаются только книготорговцы и немного издатели. Радио, телевидение — от них почти ни копейки. Какие-то грошики подкинули пара сайтов, и все.

Проснулся, лежу и соображаю: а ведь я в советские времена был как фабрика для своего государства. Такие доходы ему давал. Например: идет книга, тираж 50, 100, 150, бывало, и по двести, и по триста, и по пятьсот тысяч экземпляров тираж. Мне дают за авторский лист рублей триста, может, больше, тут сложная

механика расчетов, но платили же. Но мой гонорар был ничтожен по сравнению с деньгами, которые получали государственное издательство и государственная книжная торговля. А «Роман-газета»? Там вообще тиражи зашкаливали. Допустим, стоит выпуск для читателей рубль, а их откатали три миллиона. Автору сунут пять тысяч, и гуляй. Но пять тысяч — это очень неплохо, ибо картошки килограмм стоил десять копеек, а всю семью на юг повезти, даже и с тещей, можно было и за тысячу.

Так вот, теперь это же, видоизмененное в области правления, государство оказалось очень неблагодарным. Я его озолотил, а оно меня обездолило. Пенсия

ничтожна, хотя стаж, даже официальный, при выходе на нее, у меня был сорок пять лет, и так мизерна, что стараюсь в сберкассе не идти хотя бы месяца два-три, чтоб чего-то подкопилось. А на что живу? Сам не понимаю. Пригласили куда-то, читал лекции, чего-то заплатили, так примерно. На шее у жены сижу. Тоже унижительно. Идешь к внукам: «Дедушка, а ты что нам принес?» И в самом деле хочется их всегда чем-то порадовать.

О-хо-хо. Задремываю. И в тонком сне представляется вдруг, как меня объедают могильные черви. Начиная со ступней и проделявая в них бороздки. Освобождают мой скелет от мягких тканей. Даже, кажется, переговариваются и советуют друг другу,

где вкуснее объедать. И ловко же движется у них дело.

Просыпаюсь, вначале в ужасе крещусь, а потом думаю: «Слава Богу, вот ведь как благотворно меня Господь поправил, вот ведь о чем надо думать, а ты о деньгах, да обидах на государство, оно столько раз уже умирало и отмирало, а Россия жива, жива твоя душа. Слава Богу!»

А о книгах тоже договорю. Бывал в книжных хранилищах, выдывал книги, в которых многоходовые катакомбы сделали очень живучие книжные черви. Небось, они, черви, и книжные, и человеческие, встречаются на своих симпозиумах и обмениваются опытом поедания. И авторов, и их произведений.

НА ПОЧТЕ

Сижу на деревянном крыльце почты, жду газеты. Старуха сидит рядом. Молчим. Подходит еще старуха, начинает медленно подниматься по ступеням. Увидев, что я встал, машет рукой и говорит: «Ой, да сиди-ко, сиди, еще насидишься, пока доползу».

Взошла и села. Почтальонка, увидев ее в окно, выносит ей открытку.

— Вот хорошо, Сергеевна, зашла. Мне хоть в такую даль не ходить.

— На-ко че вышло, — весело удивляется старуха, — еще и на письмо натакалась. Прочти-ка, Анют.

Подружка громко читает новогоднюю поздравительную открытку.

— Это ведь знаешь кто, — говорит Сергеевна, — это ведь Надя, постоялица. Больше ничего не пишет, поздравляет только?

— Как не пишет, пишет. Замуж, говорит, не вышла? Дак выходи.

Обе старухи хохочут.

— Выйти-то надо бы, могилу некому копать, да же-ниха-то нет.

— А Иван-то Николаич?

И снова обе смеются.

— Жени-их, — презрительно тянет Сергеевна. — Привез мешок ячменю. В кошевке катал, катал, не знает, как взять, как поднять. Я подхватила под одну руку, потащила. Он за мной идет, к женитьбе подговаривается. Жених! — без груза запыхтелся. Думаю, еще помрет у меня во дворе, взяла его под мышку, отнесла, положила в кошевку: «Поезжай, не надо». Откуда ему силу взять, тяжелей карандаша ничего не поднимал. А уж как бегался — будильника в жизни ни разу по завел, чтоб на работу не проспаться. И за подол никто не тянул, ись не просил. И на войну, какую-то хворь представил, не хо-

дил. Так, валиком, и прокатился. А все одно — завод кончается. Ой, — внезапно говорит старуха, — ведь надо Наде-то тогда ответить. Не попрошу ли кого написать?»

Я наслался помочь, старуха обрадовалась, купила открытку. Переписал с полученной открытки адрес;

— Пиши: «С Новым годом, Надя, не, давай уж с Рождеством, до Нового года не успеет. Спасибо, Надя, не забываешь, а свои забыли. Здоровье вовсе ни к чему, хожу только, чтоб видели, что живая, да за хлебом. Снегу мало, один лед, так и брожу ближе к краю».

— Это на открытке не уместится. Я вот тут остановился: «Свои забыли, а ты, спасибо, не забываешь».

— Ой, да это-то нет, не пиши. «Спасибо, Надя, здоровья желаешь. Ничего, пока еще шарачусь потихоньку. А вот от коровы отступилась. Летом приезжай, конечно, и парня привози, ты же это знаешь».

Кой-как улепив старухину диктовку, я подписал внизу фамилию и промокнул.

— Вот какая везетень, — радуется старуха, — писаря нашла. Так-то я на склад схожу, мне мужики пишут за папиросы. Тебе взять? Не куришь? А и правильно! Ой, не напишешь ли еще одну?

— Да хоть сколько.

— Хоть сколько-то некуда. А уж дочери надо.

Старуха покупает еще открытку, диктует адрес.

— «Здравствуйте, Надя, дочь-то тоже Надя, Леня, дети и сватья. Чего вы ничего не пишете, ровно умерли неживы...»

— Вначале напишу: «С Новым годом».

— Это конечно. «А нужна была, навеличивали, меду всегда наливала, не весила...» Но ты это не пиши, а пиши: «Пока, слава Богу, жива-здоровая, за хлебом хожу

сама, а так больше никуда не хожу, корову порушила, одни курицы, доедают за мной. Завалинку не наладила, боюсь, весной вода подойдет. А приедете, молоко можно брать у соседей, даром нальют, всю жизнь моются в моей бане. Еще жила посторонняя женщина с ребенком, разведенная, им понравилось, просят еще. Зовут тоже Надя. Навезла мне всего — и платье, и халат, и свое пальто, крепкое еще, и хватит мне всего до самой смерти. А еще кладу на книжку, сколь могу, и написала завещание на тебя, а приедешь хоронить и покажется мало, не обессудь. Была корова, так хоть кто литр возьмет, кто два. Старшего твоего я помню, а младшего совсем не знаю. Пошлите карточку, поставлю в рам-

ку...» — Старуха увидела вдруг, что я не пишу. — Место кончилось? Ты как написал?

— Поздравление с Новым годом и чтоб приезжали.

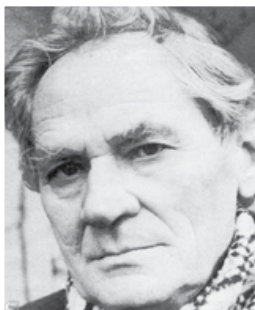
— Верно, верно. Еще напиши заодно с Крещением, и с Благовещеньем. Раньше-то ответить не соберутся. Вот уж спасибо тебе! Так не куришь? Так, может, хоть пива кружку выпьешь?

Я отказался. Старуха стала расспрашивать меня, кто я, зачем я тут, и все поддакивала и спрашивала о местных родных, и когда я сказал, что тут родных у меня нет, то стала звать к себе в гости. «Хоть чаю попьем».

А я не пошел. А сейчас вот стыдно стало, вспомнил ее. Даже имени не знаю. Но Бог знает.

Продолжение следует.





Борис ЧИЧИБАБИН
(1923-1994)



ОТ РЕДАКЦИИ

Когда в «Юности» печатались стихи Чичибабина, номер расходилась мгновенно. Ведь поэзия Бориса Алексеевича — это золотой фонд российской словесности. Только той великой страны уже нет. Сегодня даже давно известное и любимое чичибабинское звучит как новое. Поэтому подборка

поэта, составленная его вдовой Лилией Семеновной Карась-Чичибабиной, обращена не в прошлое, а в небесную высь. А заметки чичибабинского друга-соперника Аркадия Филатова открывают нам некие потаенные штрихи в портрете выдающегося поэта.

БОРИС ЧИЧИБАБИН

Плач по утраченной Родине

Судьбе не крикнешь: «Чур-чур,
не мне держать ответ!»
Что было родиной вчера,
того сегодня нет.

Я плачу в мире не о той,
которую не зря
назвали, споря с немотой,
империю зла, —

но о другой, стовековой,
чей звон в душе снежист,
всегда грядущей, за кого
мы отдавали жизнь.

С мороза душу в адский жар
впихнули гольшом:
я с родины не уезжал —
за что ж ее лишен?

Какой нас дьявол ввел в соблазн
и мы-то кто при нем?
Но в мире нет ее пространств
и нет ее времен.

Исчезла вдруг с лица земли
тайком в один из дней,
а мы, как надо, не смогли
и попрощаться с ней.

Что больше нет ее, понять
живому не дано:
ведь родина — она как мать,
она и мы — одно...

В ее снегах смеялась смерть
с косою за плечом
и, отобрав руду и нефть,
поила первачом.

Ее судили стар и мал,
и барды, и князья,
но, проклиная, каждый знал,
что без нее нельзя.

И тот, кто клял, душою креп
и прозревал вино,
и рад был украинский хлеб
молдавскому вину.

Она глумилась надо мной,
но, как вела любовь,
я приезжал к себе домой
в ее конец любой.

В ней были думами близки
Баку и Ереван,
где я вверял свои виски
пахучим деревьям.

Ее просторов широта
была спиртов пьяней...
Теперь я круглый сирота —
по маме и по ней.

Из века в век, из рода в род
венцы ее племен
Бог собирал в один народ,
но божий враг силен.

И, чьи мы дочери и сыны
во тьме глухих годин,
того народа, той страны
не стало в миг один.

При нас космический костер
беспомощно потух.
Мы просвистали свой простор,
проматерили дух.

К нам обернулась бездной высь,
и меркнет Божий свет...
Мы в той отчизне родились,
которой больше нет.





Аркадий ФИЛАТОВ



Аркадий Филатов родился в 1938 году в г. Дзержинске Горьковской области.

Окончил физико-математический факультет ХГУ (1960), кандидат физико-математических наук (1971). Автор двух десятков книг, публикаций в журналах «Юность», «Знамя», «Континент», «Синтаксис», «Нева», «Звезда» и др.

Писал сценарии для кинофильмов, отмечен премиями Московского (1980), Ташкентского (1981), Филиппинского (1981) и Рейкьявикского (1981) кинофестивалей за сценарий фильма «Великий самоед».

Писал песни в содружестве с композиторами Е. Мокроусовым, Е. Догой, А. Шнитке, А. Пугачевым, Ю. Ершовым, Ю. Севастьяновым.

Стихи Филатова переведены на английский, болгарский, грузинский, казахский, немецкий, польский, словацкий, украинский, французский, чешский языки.

Живет в Харькове.

Вдогонку

1

Борис Чичибабин считал себя похожим на верблюда и даже умел делать губы и загривок так, что они становились верблюжьими. Об этом по разным поводам, конечно же, вспоминают многаяжды и многие, но, кажется, есть одна сторона, которую не разглядят, упустят.

Верблюд — обитатель пустыни, что значит — одиночества, несмотря на караванность существования, на погонщиков, и — вопреки им. Полнота общения, ниспосланная любовь, всегда сопровождавшая слава (не имеет значения, что в прошлые годы известность была изрядно ограничена) — и они не отняли у Бориса сосредоточенности на потаенном, которое он нес всю жизнь. Наверное, в этих, особо навьюченных на него, сумах, от каких, как известно, не зарекаются, хранились прописи и уставы иных, не написанных им стихов. Чичибабин ушел за горизонт, оставив нам только то, что считал нужным.

Он был высок, и стихи у него в большинстве длинные. Да и календарную жизнь он прожил немалую. Но его протяженность, вплоть до умения втридольга произносить слова, его вытянутость были не к небу, а — вперед, будто подмигивало ему оттуда, будто звало.

С религией он так и не определился, веру свою так и не канонизировал, хотя попытки к этому у него были. Но ему довлекла лишь собственная молитва, сложенная им самим, а это в конфессиях не поощряется. Бог его знает, чьей он школы поэт.

В путевых заметках своих, в стихах о Крыме, Армении, Прибалтике, открещиваясь

2

походя от прежних клятв, Борис присягает столь разным мирам, что можно заподозрить его в лукавстве. Да он и был лукав, он и поклонялся, не кланяясь, и припадал, не упав, и уходил, не оглядываясь. Может быть, он исповедовал начала той

самой рождественской звезды, с которой скользнул к нам на бесконечное мгновение.

С Борисом Чичибабиным мне случалось застольничать, выступать на поэтических вечерах, хоронить близких, бродить по лесу, грузить мебель, копать землю, но более всего — разговаривать. Поначалу это были беседы аристократические, когда я в основном внимал, потом стал, что оправдывала лишь молодость моя, задирается, и наконец субординация избылась и напоминала о себе разве что редкими дуэльными искусами.

Он выглядел мудрецом, но всегда старательно им не был, да, слава богу, и действительно не был им, ибо мудрецу собеседник не нужен и общаться с таковым — истинно школярская беда. Борис же в спорах увлекал, расшевеливал в тебе свое и даже в запальчивости непременно тебя слышал. Что за прелесть была поговорить с ним, что за соблазн.

Беседуя, он и негодовал, и ласкался, и шаманил, и дарил, и взыскивал. Следом за поэзией это было вторым его и очень серьезным занятием. В его порой бессвязной, порой скомканной, с ненужными, но милыми «битте-дритте» речи всегда бежал чистый ручеек от истока — от попытки познать необходимость нашу деревьям и травам, морям и долинам, зверям и букашкам, самим себе, наконец, и себе подобным. А иначе — зачем? Зачем даже — Нотр-Дамы, Матенадараны, церкви Покрова на Нерли?

В те самые 60-е, в самые первые из них, у нас в Харькове был свой клуб, который по русской литературной традиции можно назвать «Чичибабинские среды». Не считая

3

хозяина привечавшей нас семиметровой комнатухи с дверью почти на улицу, в первую его пятерку входили Марк Богославский, Лешка Пугачев, Саша Лесникова, Марлена Рахлина и я.

Всем названным Борис либо посвящал стихи, либо упоминал их в строках своих, — все они присутствуют в мире, сотворенном им из слов, созвучий, пауз и мастерских скороговорок с вкрапленными лишними словами. Все, кроме меня.

Это обстоятельство никоим образом не определяет моего места в пятерке, счастливцы которой были равно близки друг с другом, равно целовались и ссорились, не жили и обижали, хорошились, никого не выталкивая из круга. Но оно,

обстоятельство это, объясняет отношение Бориса к легкости, которой я грешил.

Перед любой легкостью — в поступках ли, мыслях, оценках, рифмах, шутках — он останавливался в недоумении, в неведении, не понимал, не знал, как назвать ее и с чем ее едят. Он жил и писал трудно.

Хороший пловец, он и плавал трудно. Готовый весело рискнуть, он и проказничал с трудом или каясь, до того как набедокурил. (Мы с ним забрались в погреб, чтоб украдкой напиться домашнего вина, — Бог мой, он закашлялся, выдал нас и, кажется, более был доволен наказанием, чем несколькими глотками полубраги.) Неутомимый ходок, он и вышагивал — с усилием, натужно, словно преодолевал путь. Он улыбался охотно, но и к этому себя принуждал. Он и почерк завел, которым — не разгонишься.

Ни добро, ни зло на молекулы Борис не раскладывал, да и вообще любую сущность он воспринимал целостно, в той или иной ее завершенности. Но уж приглядывался цепко, и жизнь не могла всучить ему одно под маской другого. Если усматривал в ком-то мешок

4

с дерьмом, то — ряди того адвокаты хоть в лавры с сияниями, в зачет не шло, вони не убывало, и не замаливались грехи ни ратникам Сатаны, ни врялям и невеждам, ни политикам, ни хамлу, ни прочей сволочи. Если же он видел, что в ком-то дух щедрее длани и летит на праведных крыльях, то никакие прокуроры с доказательствами бабничества или баловства, бражничества или юродивости не отвращали от избранного горней чистоты и глубокой совести. Положив нормой своей максимализм, Чичибабин и хулил, и благословлял всегда наотмашь, без мутоты присяжного заседательства, без подкрадывания и разведок.

В стихах и быту он самодовлел одинаково и ровно. Поклонник Александра Грина, Борис не выстраивал себе эмпиреев, не обживался в них на халяву, трезво знал, что на кухнях — чадно, а в строфах — больно, но и в соленых грибочках толк понимал, и в рифмах тютельную в тютельке чувствовал. Он и писал-то непременно о быте, о бытии, и словно наконец-то по-настоящему проживал уже случившееся.

Убедившийся, что на свете счастья — ровно кот наплакал, Борис умел отыскать эти крохи и за доставшимся обедом, и поймав словцо для сонета, и

тогда уж тешился вдоволь, с хохотком и покрыванием. А в бескормицу, хлебную или словесную, он печалился истово, епитимизировал ту или иную голодуху и в общем-то различий меж ними не делал. Паперть не отсекала у него трапезную от храма, перейти оттуда — туда было шагом секундным. Хлеб же менял он разве что на махорку.

Мы ездили то ли в Изюм, то ли в Змиев, читали там свои стихи во время обеденных перерывов на разных производствах. Господи, что это было и мне, и ему за мучение! Дело даже не о нелепице этой развлекаловки шло. Дело шло о том, что мы стеснялись друг

5

друга, стыдились и вводных, и рифмованных речей своих, которых к ночи и водкой не зальешь. Нас сопровождали сытые лица районных аппаратчиков, довольных, что несут в массы культуру, а мы — два скомороха, два оборвыша, два обозленных на происходящее крикуна — мы исходили невидимыми слезами за семь рублей с копейками. Мы ненавидели друг друга, потому что один был свидетелем позора другого.

За что нас так? Да я-то — ладно, но он-то причем? Он, который и в специальной аудитории страдал оттого, что — на людях, среди каких большинства «это» не нужно. Он, для которого получить гонорар было чуть ли не малой Голгофой. За семь-то рублей с копейками.

Многое было, многое. Но сколь огромное то, чего жизнь так и недодала ему, замотала, объегорила, ограбила — Поэта ограбила, сука.

И все же и чуда были нам. И с чьей-то полочки были, и в чтении новых стихов друг другу, и при неожиданных вылазках за город или в гости.

Вроде бы вся жизнь прошла против нас — подсматривала промахи, проступки, подслушивала откровения, а затем карала, отлучала, тыкала носом. А мы вдруг — с гуся вода, и плевки

в нас — не роса ли Божья? Ах, как любил эти минуты Борис, как упивался ими, как молодец и браваядил.

Проступало в нем тогда этакое гусарство от поэзии — убежденность, что нету праведнее нас, что это нам — до гармонии рукой подать, и никому больше. Мы даже пели дуэтом к удовольствию друзей:

Шурвалка-бурвалка,
наливалка-стукалка,

6

сам-пьем-бухаем,
наливаем-стукаем!

Ничего иного Борис не пел, остальную музыку он берег для стихов своих.

Все сказанное, конечно же, — лишь штрихи к портрету. Вне их осталось, наверное, неизмеримо большее. Ревнителем некой кодексовой справедливости они не удовлетворят, а то и раздражение вызовут. Но цель моя не была — показать Бориса Чичибабина как он был или как он есть. Тут уж — каждому каждому и всяк на свой лад наговорит. Мне хотелось собрать для меня безусловное, а в остальном же — что я ему за судья, что за оценщик? Да и другое помнить надо — вслед говорим.

Тридцать с лишним лет мы с Борисом жили одновременно — то приближаясь, то расходясь. Срок вроде бы немалый, душе — хватит, но в миру — на полку не положишь. В миру этот срок мгновение, соприкоснулись и — прощай, Боренька. И смысл только в том, что прикосновение звало — искру, сугрев, ожог? Я всегда знал и знаю сегодня, что он где-то рядом, что небесные его глаза из-под косматых бровей видят мои потуги и тщания. Не нужно мне от Бориса ни похвал, ни укоров, достаточно — чтобы смотрел.

Боренька-а-а! Ау-у-у!

БОРИС ЧИЧИБАБИН

* * *

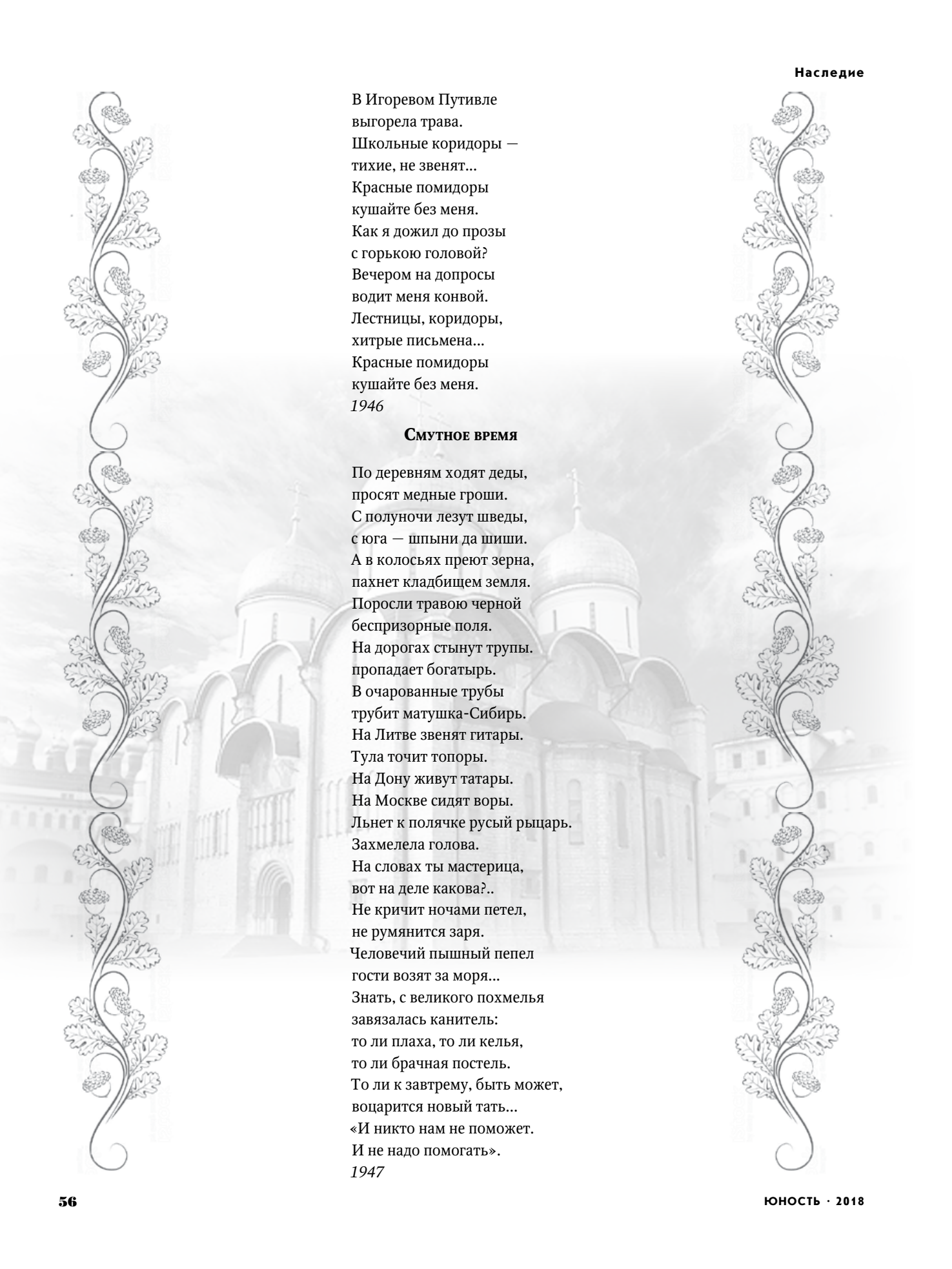
Кончусь, останусь жив ли, —
чем зарастет провал?



В Игорево Путивле
выгорела трава.
Школьные коридоры —
тихие, не звенят...
Красные помидоры
кушайте без меня.
Как я дожил до прозы
с горькою головой?
Вечером на допросы
водит меня конвой.
Лестницы, коридоры,
хитрые письма...
Красные помидоры
кушайте без меня.
1946

СМУТНОЕ ВРЕМЯ

По деревням ходят деды,
просят медные гроши.
С полуночи лезут шведы,
с юга — шпыни да шиши.
А в колосьях преют зерна,
пахнет кладбищем земля.
Поросли травой черной
беспризорные поля.
На дорогах стынут трупы.
пропадает богатырь.
В очарованные трубы
трубит матушка-Сибирь.
На Литве звенят гитары.
Тула точит топоры.
На Дону живут татары.
На Москве сидят воры.
Льнет к полячке русский рыцарь.
Захмелела голова.
На словах ты мастерица,
вот на деле какова?..
Не кричит ночами петел,
не румянится заря.
Человечий пышный пепел
гости возят за моря...
Знать, с великого похмелья
завязалась канитель:
то ли плаха, то ли келья,
то ли брачная постель.
То ли к завтрему, быть может,
воцарится новый тать...
«И никто нам не поможет.
И не надо помогать».
1947



МАХОРКА

Меняю хлеб на горькую затяжку,
родимый дым приснился и запах.
И жить легко, и пропадать нетяжко
с курящейся сигаркою в зубах.
Я знал давно, задумчивый и зоркий,
что неспроста, простужен и сердит,
и в корешках, и в листиках махорки
мохнатый дьявол жметсЯ и сидит.
А здесь, среди чахоточного быта,
где холод лют, а хижины мокры,
все искушенья жизни позабытой
для нас остались в пригоршне махры.
Горсть табаку, газетная полоска —
какое счастье проще и полней?
И вдруг во рту погаснет папироска,
и заскучает воля обо мне.
Один из тех, что «ну давай покурим»,
сболтнет, печаль надеждой осквернив,
что у ворот задумавшихся тюрем
нам остаются рады и верны.
А мне и так не жалко и не горько.
Я не хочу нечаянных порук.
Дымись дотла, душа моя махорка,
мой дорогой и ядовитый друг.
1946

* * *

И опять — тишина, тишина, тишина.
Я лежу, изнемогший, счастливый и кроткий.
Солнце лоб мой печет, моя грудь сожжена,
и почиет пчела на моем подбородке.
Я блаженствую молча. Никто не придет.
Я хмелею от запахов нежных, не зная,
то трава, или хвои целительный мед,
или в небо роса испарилась лесная.
Все, что вижу вокруг, беспредельно любя,
как я рад, как печально и горестно рад я,
что могу хоть на миг отдохнуть от себя,
полежать на траве с нераскрытой тетрадьЮ.
Это самое лучшее, что мне дано:
так лежать без движений, без жажды, без цели,
чтобы мысли бродили, как бродит вино,
в моем теплом, усталом, задумчивом теле.
И не страшно душе — хорошо и легко
слиться с листьями леса, с растительным соком,

с золотыми цветами в тени облаков,
с муравьиной землею и с небом высоким.
1948–1951

ФЕДОР ДОСТОЕВСКИЙ

Два огня светили в темень, два мигалища.
То-то рвались лошадки, то-то ржали.
Провожали братца Федора Михалыча,
за ограду провожали каторжане...
А на нем уже не каторжный наряд,
а ему уже — свобода в ноздри яблоней,
а его уже карьерою корят:
потерпи же, петербуржец новоявленный.
Подружиться с петрашевцем все не против бы,
вот и ходим, и пытаем, и звоним, —
да один он между всеми, как юродивый,
никому не хочет быть своим.
На поклон к нему приходят сановитые,
но, поникнув перед болью-костоедкой,
ох как бьется — в пене рот, глаза навывкате, —
все отведав, бьется Федор Достоевский.
Его щеки почернели от огня.
Он отступником слывет у разночинца.
Только что ему мальчишья болтовня?
А с Россией и в земле не разлучиться.
Не сойтись огню с волной, а сердцу с разумом,
и душа не разбежится в темноте ж, —
но проглянет из божницы Стенькой Разиным
притворившийся смирением мятеж.
Вдруг почудится из будущего зов.
Ночь — в глаза ему, в лицо ему — метелица,
и не слышно за бураном голосов,
на какие было б можно понадеяться.
Все осталось. Ничего не зажило.
Вечно видит он, глаза свои расширя,
снег, да нары, да железо... Тяжело
достается Достоевскому Россия.
1962

ВЕРБЛЮД

Из всех скотов мне по сердцу верблюд.
Передохнет — и снова в путь, навьючась.
В его горбах угрюмая живучесть,
века неволи в них ее вольют.
Он тащит груз, а сам грустит по сини,
он от любовной ярости вопит,
его терпенье пестуют пустыни.



Я весь в него — от песен до копыт.
Не надо дурно думать о верблюде.
Его черты брезгливы, но добры.
Ты погляди, ведь он древней домбры
и знает то, чего не знают люди.
Шагает, шею шепота вытягивая,
проносит ношу, царственен и худ, —
песчаный лебедин, печальный работяга,
хорошее чудовище верблюд.
Его удел — ужасен и высок,
и я б хотел меж розовых барханов,
из-под поклаж с презреньем нежным глянув,
с ним заодно пописать на песок.
Мне, как ему, мой Бог не потакал.
Я тот же корм перетираю мудро,
и весь я есть моргающая морда,
да жаркий горб, да ноги ходака.
1964

* * *

Меня одолевает острое
и давящее чувство осени.
Живу на даче, как на острове,
и все друзья меня забросили.
Ни с кем не пью, не философствую,
забыл и знать, как сердце влюбчиво.
Долбаю землю пересохшую
да перечитываю Тютчева.
В слепую глубь ломлюсь напористей
и не тужу о вдохновении,
а по утрам трясусь на поезде
служить в трамвайном управлении.
В обед слоняюсь по базарам,
где жмот зовет меня папашей,
и весь мой мир засыпан жаром
и золотом листвы опавшей...
Не вижу снов, не слышу зова,
и будням я не вождь, а данник.
Как на себя, гляжу на дальних,
а на себя — как на чужого.
С меня, как с гаврика на следствии,
слетает позы позолота.
Никто — ни завтра, ни впоследствии
не постучит в мои ворота.
Я — просто я. А был, наверное,
как все, придуман ненароком.
Все тише, все обыкновеннее
я разговариваю с Богом.
1965



* * *

Живу на даче. Жизнь чудна.
Свое повидло...
А между тем еще одна
душа погибла.
У мира прорва бедолаг, —
о сей минуте
кого-то держат в кандалах,
как при Малюте.
Я только-только дотяну
вот эту строчку,
а кровь людская не одну
зальет сорочку.
Уже за мной стучатся в дверь,
уже торопят,
и что ни враг — то лютый зверь,
что друг — то робот.
Покойся в сердце, мой Толстой,
не рвись, не буйствуй, —
мы все привычною стезей
проходим путь свой.
Глядим с тоскою, заперты,
вослед ушедшим.
Что льда у лета, доброты
просить у женщин.
Какое пламя на плечах,
с ним нету сладу, —
принять бы яду натошак,
принять бы яду.
И ты, любовь моя, и ты —
ладони, губы ль —
от повседневной маеты
идешь на убыль.
Как смертью веки сведены,
как смертью — веки,
так все живем на свете мы
в Двадцатом веке.
Не зря грозой ревет Господь
в глухие уши:
— Бросайте все! Пусть гибнет плоть.
Спасайте души!
1966

* * *

Сними с меня усталость, мать Смерть.
Я не прошу награды за работу,

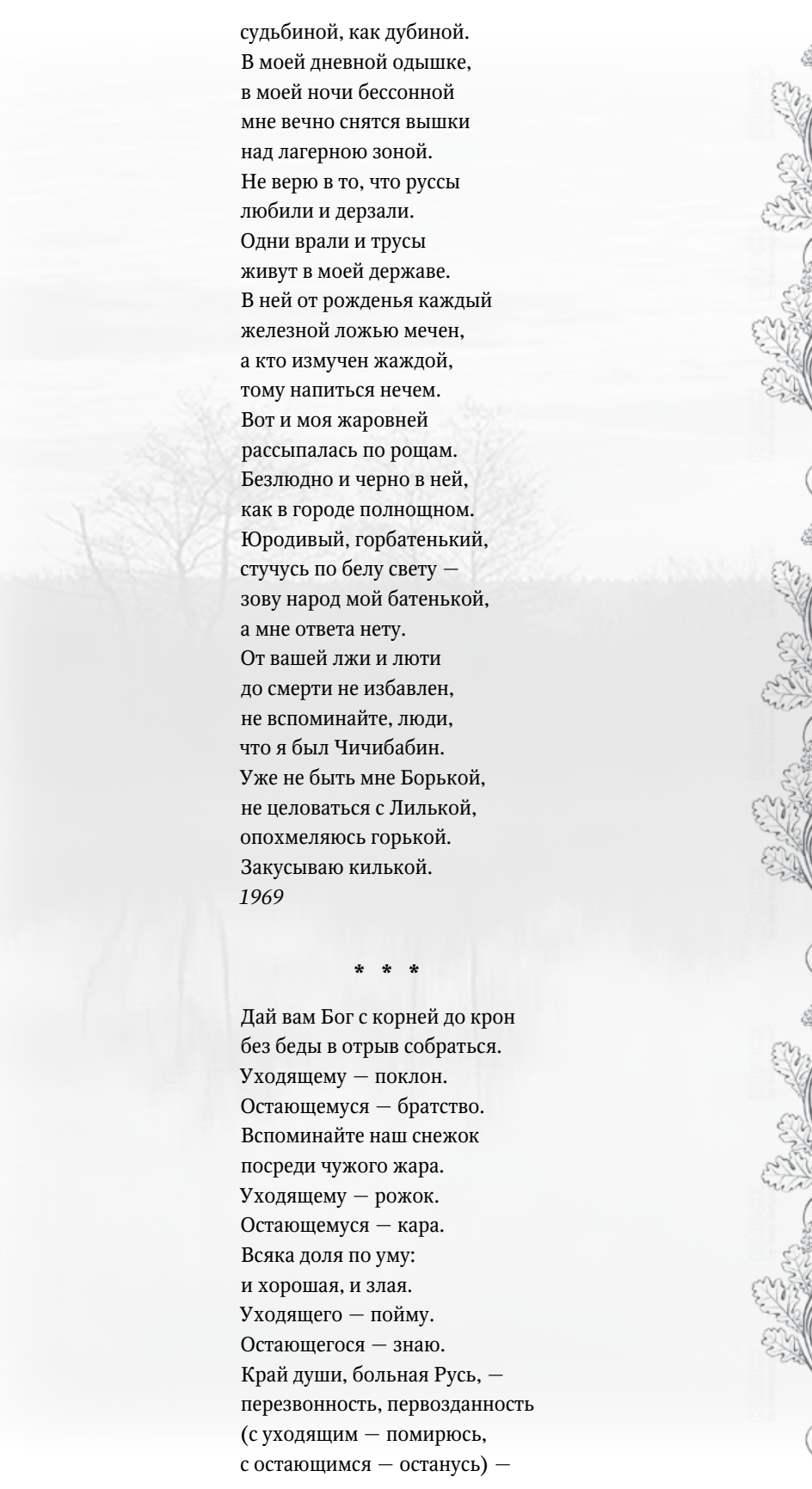


но ниспошли остуду и дремоту
на мое тело, длинное как жердь.
Я так устал. Мне стало все равно.
Ко мне всего на три часа из суток
приходит сон, томителен и чуток,
и в сон желание смерти вселено.
Мне книгу зла читать неумогу,
а книга блага вся перелисталась.
О мать Смерть, сними с меня усталость,
покрой рядом худую наготу.
На лоб и грудь дохни своим ледком,
дай отдохнуть светло и беспробудно.
Я так устал. Мне сроду было трудно,
что всем другим привычно и легко.
Я верил в дух, безумен и упрям,
я Бога звал — и видел ад воочью, —
и рвется тело в судорогах ночью,
и кровь из носа хлещет по утрам.
Одним стихам вовек не потускнеть,
да сколько их останется, однако.
Я так устал! Как раб или собака.
Сними с меня усталость, мать Смерть.
1967

* * *

Больная черепаха —
ползучая эпоха,
смотри: я — горстка праха,
и разве это плохо?
Я жил на белом свете
и даже был поэтом, —
попавши к миру в сети,
раскаиваюсь в этом.
Давным-давно когда-то
под песни воровские
я в звании солдата
бродяжил по России.
Весь тутошний, как Пушкин
или Василий Теркин,
я слушал клеп кукушкин
и верил птичьим толкам.
Я — жрец лесных религий,
мне труд — одна морока,
по мне, и Петр Великий
не выше скомороха.
Как мало был я добрым
хоть с мамой, хоть с любимой,
за что и бит по ребрам





судьбиной, как дубиной.
В моей дневной одышке,
в моей ночи бессонной
мне вечно снятся вышки
над лагерною зоной.
Не верю в то, что руссы
любили и дерзали.
Одни вдали и трусы
живут в моей державе.
В ней от рожденья каждый
железной ложью мечен,
а кто измучен жаждой,
тому напиться нечем.
Вот и моя жаровней
рассыпалась по рощам.
Безлюдно и черно в ней,
как в городе полнощном.
Юродивый, горбатенький,
стучусь по белу свету —
зову народ мой батенькой,
а мне ответа нету.
От вашей лжи и люти
до смерти не избавлен,
не вспоминайте, люди,
что я был Чичибабин.
Уже не быть мне Борькой,
не целоваться с Лилькой,
опохмеляюсь горькой.
Закусываю килькой.
1969

* * *

Дай вам Бог с корней до крон
без беды в отрыв собраться.
Уходящему — поклон.
Остающемуся — братство.
Вспоминайте наш снежок
посреди чужого жара.
Уходящему — рожок.
Остающемуся — кара.
Всяка доля по уму:
и хорошая, и злая.
Уходящего — пойму.
Остающегося — знаю.
Край души, больная Русь, —
перезвонность, первозданность
(с уходящим — помирюсь,
с остающимся — останусь) —

дай нам, вьюжен и ледов,
безрассуден и непомнящ,
уходящему — любовь,
остающемуся — помощь.
Тот, кто слаб, и тот, кто крут,
выбирает каждый между:
уходящий — меч и труд,
остающийся — надежду.
Но в конце пути сияй
по заветам Саваофа,
уходящему — Синай,
остающимся — Голгофа.
Я устал судить сплеча,
мерить временным безмерность.
Уходящему — печаль.
Остающемуся — верность.
1971

ХЕРСОНЕС

Какой меня ветер занес в Херсонес?
На многое пала завеса,
но греческой глины могучий замес
удался во славу Зевеса.
Кузнечики славы обжили полынь,
и здесь не заплачут по стуже —
кто полон видений бесстыжих богинь
и верен печали пастушечьей.
А нас к этим скалам прибила тоска,
трубила бессонница хрипло,
но здешняя глина настолько вязка,
что к ней наше горе прилипло.
Нам город явился из царства цикад,
из желтой ракушечной пыли,
чтоб мы в нем, как в детстве, брели наугад
и нежно друг друга любили...
Подводные травы хранят в себе йод,
упавшие храмы не хмуры,
и лира у моря для мудрых поет
про гибель великой культуры...
В изысканной бухте кончалась одна
из сказок Троянского цикла.
И сладкие руки ласкала волна,
как той, что из пены возникла.
И в прахе открытом все виделись мне
дворы с миндалем и сиренью.
Давай же учиться у желтых камней
молчанью мечты и смиренности.
Да будут нам сниться воскресные сны

про край, чья душа синеока,
где днища давилен незримо красны
от гроздей истлевшего сока.
1975

СУДАКСКАЯ ЭЛЕГИЯ

Настой на снах в пустынном Судаке...
Мне с той землей не быть накоротке,
она любима, но не богоданна.
Алчак-Кая, Солхат, Бахчисарай...
Я понял там, чем стал Господень рай
после изгнания Евы и Адама.
Как непристойно Крыму без татар.
Шашлычных углей лакомый угар,
заросших кладбищ надписи резные,
облезлый ослик, движущий арбу,
верблюжесть гор с кустами на горбу,
и все кругом — такая не Россия.
Я проходил по выжженным степям
и припадал к возвышенным стопам
кремнистых чудищ, див кудлатоспинных.
Везде, как воздух, чуялся Восток —
пастух без стада, светел и жесток,
одетый в рвань, но с посохом в рубинах.
Который раз, не ведая зачем,
я поднимался лесом на Перчем,
где прах мечей в скупые недра вложен,
где с высоты Георгия монах
смотрел на горы в складках и тенях,
что рисовал Максимилиан Волошин.
Буддийский поп, украинский паныч,
в Москве француз, во Франции москвич,
на стержне жизни мастер на все руки,
он свил гнездо в трагическом Крыму,
чтоб днем и ночью сердце рвал ему
стоперстый вопль окаменелой муки.
На облаках бы — в синий Коктебель.
Да у меня в России колыбель
и не дано родиться по заказу,
и не пойму, хотя и не клянчу,
зачем я эту горькую страну
ношу в крови как сладкую заразу.
О, нет беды क्रомешней и черней,
когда надежда сыплется с корней
в соленый сахар мраморных расселин,
и только сердцу снится по утрам
угрюмый мыс, как бы индийский храм,
слетающий в голубизну и зелень...



Когда, устав от жизни деловой,
упав на стол дурною головой,
забьюсь с питвом в какой-нибудь клоповник,
да озарит печаль моих поэм
попынный свет, покинутый Эдем —
над синим морем розовый шиповник.
1974

* * *

Ночью черниговской с гор араратских,
шерсткой ушей доставая до неба,
чад упасая от милостынь братских,
скачут лошадки Бориса и Глеба.
Плачет Господь с высоты осиянной.
Церкви горят золоченой известкой.
Меч наострил Святополк Окаянный.
Дышат убивцы за каждой березкой.
Еле касаясь камней Синая,
темного бора, воздушного хлеба,
беглою рысью кормильцев спасая,
скачут лошадки Бориса и Глеба.
Путают путь им лукавые черти.
Даль просыпается в россыпях солнца.
Бог не повинен ни в жизни, ни в смерти.
Мук не приявший вовек не спасется.
Киев поникнет, расплещется Волга,
глянет Царьград обреченно и слепо,
как от кровавых очей Святополка
скачут лошадки Бориса и Глеба.
Смертынька ждет их на выжженных пожнях,
нет им пристанища, будет им плохо,
коль не спасет их бездомный художник,
бражник и плужник по имени Леха.
Пусть же вершится веселое чудо,
служится красками звонкая треба,
в райские кущи от здешнего худа
скачут лошадки Бориса и Глеба.
Бог-Вседержитель с лазоревой тверди
ласково стелет под ноженьки путь им.
Бог не повинен ни в жизни, ни в смерти.
Чад убиенных волшбою разбудим.
Ныне и присно по кручам Синая,
по полю русскому в русское небо,
ни колоска под собой не сминая,
скачут лошадки Бориса и Глеба.
1977



* * *

Я почувал беду и проснулся от горя и смуты,
и заплакал о тех, перед кем в неизвестном долгу, —
и не знаю, как быть, и как годы проходят минуты...
Ах, родные, родные, ну чем я вам всем помогу?
Хоть бы чуда занять у певучих и влюбчивых клавиш,
но не помнит уроков дурная моя голова,
а слова — мы ж не дети, — словами беды не убавишь,
больше тысячи лет, как не Бог нам диктует слова.
О как мучает мозг бытия неразумного скрежет,
как смертельно сосет пустота вседержавных высот.
Век растленен и зол. И ничто на земле не утешит.
Бог не дрогнет на зов. И ничто в небесах не спасет.
И меня обижали — безвинно, вздохнув, не однажды,
и в моем черепке всем скорбям чернота возжена,
но дано вместо счастья мученье таинственной жажды,
и прозренье берез, и склоненных небес тишина.
И спасибо животным, деревьям, цветам и колосьям,
и смиренному Баху, чтоб нам через тернии за ним, —
и прощенье врагам, не затем, чтобы сладко спалось им,
а чтоб стать хоть на миг нам свободней и легче самим.
Еще могут сто раз на позор и на ужас обречь нас,
но, чтоб крохотный светик в потемках сердец не потух,
нам дает свой венок — ничего не поделаешь — Вечность
и все дальше ведет — ничего не поделаешь — Дух.

1978

* * *

Между печалью и ничем
мы выбрали печаль.
И спросит кто-нибудь «зачем?»,
а кто-то скажет «жаль».
И то ли чернь, а то ли знать,
смеясь, махнет рукой.
А нам не время объяснять
и думать про покой.
Нас в мире горсть на сотни лет,
на тысячу земель,
и в нас не меркнет горний свет,
не сякнет Божий хмель.
Нам — как дышать, — приняв печать
гонений и разлук, —
огнем на искру отвечать
и музыкой — на звук.
И обреченностью кресту,
и горечью питья



мы искупаем суету
и грубость бытия.
Мы оставляем души здесь,
чтоб некогда Господь
простил нам творческую спесь
и ропшущую плоть.
И нам идти, идти, идти,
пока стучат сердца,
и знать, что нету у пути
ни меры, ни конца.
Когда к нам ангелы прильнут,
лаская тишиной,
мы лишь на несколько минут
забудемся душой.
И снова — за листы поэм,
за кисти, за рояль, —
между печалью и ничем
избравшие печаль.
1977

* * *

Сколько вы меня терпели!..
Я ж не зря поэтом прозван,
как мальчишка Гекльберри,
никогда не ставший взрослым.
Дар, что был неждан, непрошен,
у меня в крови сиял он.
Как родился, так и прожил —
дураком-провинциалом.
Не командовать, не драться,
не учить, помилуй Боже, —
водку дул за-ради братства,
книгам радовался больше.
Детство в людях не хранится,
обстоятельства сильнее нас, —
кто подался в заграницы,
кто в работу, кто в семейность.
Я ж гонялся не за этим,
я и жил, как будто не был,
одержим и незаметен,
между родиной и небом.
Убежденный, что в отчизне
все напасти от нее же,
я, наверно, в этой жизни
лишь на смерть души не ежил.
Кем-то проклят, всеми руган,
скрючен, согнут и потаскан,
доживаю с кротким другом
в одиночестве бунтарском.



Сотня строчек обветшалых —
 разве дело, разве радость?
 Бог назначил, я вещал их, —
 дальше сами разбирайтесь.
 Не о том, что за стеною,
 я писал, от горя горбясь,
 и горел передо мною
 обреченный Лилин образ...
 Вас, избравших мерой сумрак,
 вас, обретших душу в деле,
 я люблю вас, неразумных,
 но не так, как вы хотели.
 В чинном шелесте читален
 или так, для разговорца,
 глухо имя Чичибабин,
 нет такого стихотворца.
 Поменяться сердцем не с кем,
 приотверзлась преисподня, —
 все вы с Блоком, с Достоевским, —
 я уйду от вас сегодня.
 А когда настанет завтра,
 прозвенит ли мое слово
 в светлом царстве Александра
 Пушкина и Льва Толстого?
 1986

* * *

А. Вернику

Не горюй, не радуйся —
 дни пересолили:
 тридцать с лишним градусов
 в Иерусалиме.
 Видимо, пристало мне
 при таком варьянте
 дуть с друзьями старыми
 бренди на веранде.
 Лица близких вижу я,
 голосам их внемлю,
 постигая рыжую
 каменную землю —
 ублажаю душеньку.
 Дай же Бог всем людям
 так любить друг друженьку,
 как мы ныне любим.
 Чую болью сердца я:
 розня и равняя,
 Муза Царскосельская —
 всем нам мать родная.
 Все мы были ранее



русские, а ныне
ты живешь в Израиле,
я — на Украине.
Смысл сего, как марево,
никому не ведом —
ничего нормального
я не вижу в этом.
Натянула вожжи — и
гнет, не отпуская,
воля нас — не Божия,
да и не людская.
1992

Ода одуванчику

В днях, как в снах, безлюбовно тупящих,
измотавших сердца суетой,
можно ль жить, как живет одуванчик,
то серебряный, то золотой?
Хорошо, если пчелки напьются,
когда дождик под корень протек, —
только как ты его ни напутствуй,
он всего лишь минутный цветок.
Знать не зная ни страсти, ни люти,
он всего лишь трава среди трав, —
ну а мы называемся люди
и хотим человеческих прав.
Коротка и случайна, как прихоть,
наша жизнь, где не место уму.
Норовишь через пропасти прыгать —
так не ври хоть себе самому.
Если к власти прорвутся фашисты,
спрячусь в угол и письма сожгу, —
незловбив одуванчик пушистый,
а у родичей рыльца в пушку.
Как поэт, на просторе зеленом
он пред солнышком ясен и тих,
повинуется Божьим законам
и не губит себя и других.
У того, кто ломает и слижет,
светлым соком горча на губах,
говорят, что он знает и слышит
то, что чувствуют Моцарт и Бах.
Ты его легкомыслия не высмей,
что цветет меж проезжих дорог,
потому что он несколько жизней
проживает в единственный срок.
Чтоб в отечестве дыры не штопать,
Божий образ в себе не забыть,



тем цветком на земле хорошо быть,
человеком не хочется быть.

Я ложусь на бессонный диванчик,
слышу сговор звезды со звездой
и живу, как живет одуванчик,
то серебряный, то золотой.

1992

* * *

Когда я был счастливый
там, где с тобой я жил,
росли большие ивы
и топали ежи.
Всходили в мире зори
из сердца моего,
и были мы и море —
и больше никого.
С тех пор, где берег плоский
и синий тамариск,
в душе осели блески
солончатых брызг.
Дано ль душе из тела
уйти на полчаса
в ту сторону, где Бело-
сарайская коса?
От греческого солнца
в полуденном бреду
над прозою японца
там дух переведу.
Там ласточки — все гейши —
обжили — добрый знак —
при Александр Сергеече
построенный маяк.
Там я смотрю на чаек,
потом иду домой,
и никакой начальник
не властен надо мной.
И жизнь моя — как праздник
у доброго огня...
Теперь в журналах разных
печатают меня.
Все мнят во мне поэта
и видят в этом суть,
а я для роли этой
не подхожу ничуть.
Лета в меня по капле
выдавливает яд.
А там в лиманах цапли

на цыпочках стоят.
О, ветер Приазовья!
О, стихотворный зов!
Откликнулся б на зов я,
да нету парусов...
За то, что в порах кожи
песчинки золоты,
избави меня, Боже,
от лжи и суеты.
Меняю призрак славы
всех премий и корон
на том Акутагавы
и море с трех сторон!
1988–1989

* * *

Взрослым так и не став, покажусь-ка я белой вороной.
Если строить свой храм, так уж, ведомо, не на крови.
С той поры как живу на земле неодоухотворенной,
я на ней прохожу одиночную школу любви.
Там я радость познал, но бывала и смертная боль же,
и ответу ль в свой час на таинственный вызов Отца?
В этой школе, поди, классов сто, а возможно, и больше,
но последнего нет, как у вечности нету конца...
С Украины в Россию уже не пробраться без пошлин —
еле душу унес из враждой озабоченных лап.
Кабы каждый из нас был подобьем и образом Божиим,
то и вся наша жизнь этой радостной школой была б.
Если было бы так! Но какие ж мы Божьи подобья?
То ли Он подменен, то ль и думать о нем не хотим.
Взрослым так и не став, я смотрю на людей исподлобья:
видно, в школу любви ни единый из них не ходил.
Обучение в ней не прошло без утрат и падений,
без отчаянных вин, без стыда и без совести кар:
знает только Отец, сколько я отвечал не по теме,
сколько раз, малодушный, с уроков на волю тикал.
Но лишь ею одной, что когда-то божественной мнили,
для чьего торжества нет нигде ни границ, ни гробниц,
нет, спасется не мир, но спасется единственный в мире,
а ведь род-то людской и складывается из единиц.
Ну и что за беда, если голос мой в мире не звонок?
Взрослым так и не стал. Чем кажусь тебе, тем и зови.
Вижу Божию высь. Там живут Иисус и ягненок.
Дай мне помощь и свет, всемогущая школа любви.
1992

Выбор и составление Лилии Семеновны Карась-Чичибабиной



Альберт ЛИХАНОВ



Продолжение. Начало в № 1, 2, 3, 4, 5 за 2018 год

ОГЛЯНИСЬ НА ПОВОРОТЕ, или ХРОНИКА ЗАБЫТОГО ВРЕМЕНИ

Рисунок Марины Медведевой

РОМАН В ПОВЕСТЯХ

12

Я ничего не скрывал от своих корешей, ни малейшей детали, ни единого страха. Уж не говоря о радостях разговоров, новых знакомств, рассуждений почти что на искусствоведческие темы — фотография, если еще кто-то не знает, настоящее и замечательное искусство.

Воленс-неволенс, но в самые сжатые сроки я познакомился со всеми серьезными фотокорами города и был изрядно обрадован их человеческим достоинством. Никто не выпендривался перед другими. Все были на ты, а как в каждой мужской компании тех лет, люди еще не отвыкли от военной формы, и иные ходили в гимнастерках, хоть и без погон и наград. Не полагалось срезать только нашивки за ранения. Почему, никто этого не знал и не обсуждал. Может, таким легальным образом раненные фронтовики отделяли себя от всех иных, безболезненно отслуживших остатки войны в тылу?.. Но эти фронтовики с нашивками требовали обращаться к ним исключительно на ты, собравшись у блестящего барабана, доброжелательно разглядывали съемки друг друга, были в курсе того, кто, куда и зачем на сегодня исчезает, и абсолютно друг к другу добры — вот что!

Иногда, особенно к концу дня, они где-то там, под красный лабораторный свет, потихоньку прикладывались, еще больше веселели и становились еще до-

брей. А меня так и просто полюбили и не по заслугам уважали. Я и действительно готовил второй обзор фотографической жизни Урала и, таким образом, имел полное право приходить сюда не только за разговорами, но и со своим скромным интересом: проявить пленку, мгновенно высушить, напечататься, да еще и карточки проглянцевать. Естественно, фотобумагу носил с собой. Таким образом, полегоньку-потихоньку я смастерил несколько уральских пейзажей, которые и тиснула «Засменка» при подаче Толи Пудолья и при слегка надменном согласии Эльзы Павловны.

Все это мое увлечение поможет и потом, позже, и хотя не главным образом, в частности, — но после еще одного сочинения на тему фотографических мастеров, а затем и еще одного, я как-то угас, хотя ни от чего не отрекся. Спасибо судьбе, но дружба с фотокорами всегда и во всех редакциях одаряла меня простотой, понятливостью и какой-то невелеречивостью.

Но мой первый взрыв как бы поставил меня на ноги. Я стал замечать, что взоры, направленные на меня, стали приобретать новые оттенки. Ну, во-первых, я разглядел упрочение прежнего простодушия и доброты. Они исходили от ветеранов — матроса тихоокеанского флота Яши, от Игорька Коробкина и примкнувшего к ним крепыша Генки Шидрина.

Минибай открыто и прямо желал встать на путь, аналогичный моему, получил от Пудолья производствен-

ное задание, с неделю, сразу после занятий, уезжал куда-то на трамвае, а потом яростно комкал бумагу в опустевших аудиториях. Когда я подходил к нему, он оставлял исписанные листки и чертыхался, повторяя: «Не идет! Не идет!»

Зато Джурка давал дрозда! Он отпрашивался в деканате и исчезал дня на два. Потом еще исчезал. И еще. Раз уж мы жили в одной комнате, тайна его вскорости раскрылась. Под руководством Пудолья он взялся написать три больших сочинения про разных молодых работяг. Одни строили высоченную заводскую трубу. Другие — мост через неслабую речку. Третьи конструировали какой-то механизм. В общем, это была целая трилогия.

— А может, тетралогия, — вполне серьезно горячился Скок. И мечтал: — Может, книжка получится!

Книжка! В своем язвительном доброжелательстве мы тут же приклеили Джурке кличку Голсуорси. Благо к экзамену по зарубежке следовало спешно одолеть многотомную «Сагу о Форсайтах», прочитать которую требовалось-то как раз не в спешке, а в медленности и раздумьях о лукавстве буржуазных ценностей.

Главное, свой Голсуорси, сочиняющий тетралогию о молодых трудящихся, у нас по крайней мере тоже обнаружился. Он внимательно расспрашивал про мои разработки трудов об уральских фотокорреспондентах, перечитывал «Советское фото» с моими обзорами, хвалил глянцевые фотографии из-под горячего вала, украшавшего «Дом печати», и всякий раз как будто успокаивался. И без разъяснений было ясно, что мои достижения — слишком обыденная мелкота, а его интересуют люди, отношения. «Литература!» — однажды проговорился он.

Наконец, громыхнул колокол настоящей славы.

Четыре дня подряд «Засменка» печатала полосные сочинения Скока про великолепных героев. Они иллюстрировались редакционным художником, а не фотографиями и потому выглядели как будто это рассказы, но из нашей жизни. Газета стала выходить к той поре пять раз в неделю, а цикл сочинений Джурки Голсуорси превратился в настоящий триумф. Четыре номера кряду! Над каждой полосой имя Джурки вверху, крупным шрифтом, без дураков, курсивом, будто писаные от руки. По содержанию они походили друг на друга, эти сочинения. Во всех ребята всегда воюют. С какими-то начальниками, с конкурентами из других бригад. Живут справедливо! Бодро! Завидно!

Четыре дня коридор возле нашей аудитории привлекал разнонародье с разных факультетов, на Джурку приходили посмотреть из соседних корпусов, а наша ближняя, филологическая и, значит, девичья публика будто открывала Скока второй раз,

только теперь, кажется, разглядев. И мы попадали под лучи его славы. С нами тоже вежливо раскладывались, будто мы вроде как славные подмастерья великого классика и где-то во тьме размешивали художественные краски нашему другу, создававшему чудесную живописную сагу. В этой путанице совсем незаметной проскочила деловая записка Минибаев, в которой он в пух и прах раздолбал железнодорожное депо.

Но цветущая ветвь славы обломилась на пятый день с ее начала. Прозвенел обычный звонок, мы вышли с лекции в коридор, и к Джурке двинулись несколько здоровенных парней. Не все они были выше его, но все — шире в плечах, да и все гораздо нас взрослее: молодые и крепконогие мужчины. Джурке они дерзко приказали выйти с ними, он испуганно повернулся к нам, пытаясь улыбнуться, и сам, еще ничего не понимая, воскликнул:

— Это мои герои!

— Иди! — Один толкнул его в плечо самым грубым манером. — Герой!

Они быстро скатились по лестницам при полной растерянности случайных свидетелей и вышли на улицу. Вторую — была зима, хоть и ее конец, снег надежно укрывал околоуниверситетские грязи, а балконы еще законопачены. В окно мы увидели, как мужики вывели Скока прямо на проезжую часть и стали ему что-то выразительно выговаривать. Махали руками. Указывали на что-то, даже вверх, на небо. Потом один, самый рукастый, протянул длань, и Джурка свалился. Этого мужика схватили другие, но он все рвался. Джурка вскочил и отбежал. Он что-то грозно кричал своим обидчикам, даже, похоже, матюгался и размазывал кровь, черневшую под носом.

Промедление было постыдным, и мы молча кинулись на выручку. Но пока, перескакивая через ступеньку, скатились со второго этажа и вылетели на дорогу, мужики уже заворачивали за угол, а Джурка шел навстречу нам.

Он и в самом деле матюгался, тряся, вытирал кровь, идущую из носа. Ни на какие вопросы отвечать был не в состоянии, так что нам оставалось довести его до большого нашего туалетища, на десять, между прочим, очков, где он прильнул головой к струе ледяной воды в умывальнике и постепенно утих.

Он так там и досидел до конца занятий, утирался, протирал платком голову, да и мы ему еще свои отдавали, уходя и возвращаясь. Потом появился Пудоль. Не снимая пальтеца, он заглянул прямо во время лекции в аудиторию и, вежливо обратившись к лектору, попросил Джурку. Мы громко указали, где он. Тут же отпросились выйти. Нам радостно дозволили — ведь радовался-то поначалу весь корпус.

Мы догнали Толю при подходе к значному месту. Он как-то споткнулся перед ним, но вошел: и то верно, разве это подходящее место для разговора? Джурка сидел на батарее, курил одну за другой сигаретки, и лицо его от сильного, выходит, удара посинело и отекло. Пудоль встал перед ним, помахал шапкой, которую держал в руке, чтобы разогнать табачный дым. Сказал:

— Ну здесь же невозможно! Идем!

Мы зашли в ближайшую аудиторию, вежливо попросили каких-то девчонок покинуть ее, объяснив просьбу предстоящим мужским разговором. И Толик сказал, так и не снимая пальто.

— Ребята, — проговорил он, оглядывая по очереди наши фигуры — Минибая, Якова, Игорька, меня. — Что же вы делаете?

Никто из нас ничего не понимал.

— Я так старался, Джурка, — говорил Пудоль, теперь уже обращаясь к нему одному. — Так жал на Эльзу и главного. Так за тебя бился! И вот...

Он помолчал и тихо сказал:

— Завтра заседание в обкоме. Главному дадут выговор. А меня, скорей всего, уволят.

— За что? — воскликнул Минибай.

— Да за то, что он все выдумал. И все перевернул с ног на голову! Одних приукрасил! Других обосрал! Извините за выражение! И сделал это ошибочно!

— Да я, — жалобно заговорил Джурка, — писал очерк, почти рассказ. Ведь литература всегда борьба добра со злом!

— Охо-хо! — вздохнул Пудоль. — Добро со злом, конечно, борются, но зачем же фамилии-то живых людей использовать, как тебе заблагорассудится? Ты что — Господь, чтобы назначать добряков и злодеев?

13

Когда отгремели скандальные раскаты, когда мудрый Яков очень просто выговорил вечную истину, что самое безопасное для брата-сочинителя — это давать герою произведения расписаться на последней страничке, когда редактору действительно где-то на небесах объявили выговор, Пудоль устроили выволочку на планерке, а самому Джурке — воспитательный карантин длиной в квартал, лишив его большой доли вознаграждения, настала тихая пора очищения.

И я вспомнил подзабытого Петефи:

Что — слава? Радуга в глазах,
Луч, преломившийся в слезах!

И новые мудрые мысли, и великие заповеди чаще всего приходят нам на язык в самый неподходящий мо-

мент. Не замечали? На этот раз Петефи пришел мне в голову, когда уже по весне, немало недель спустя, мы с Джуркой по оттаявшему асфальту подбежали к уходящему троллейбусу и вцепились в ручки, ведущие на крышу.

Хитроумные борцы за билетные доходы начисто спилили задние буфера на всех троллейбусах, и там, под длинными железными прутьями, оставались лишь два полукруглых отверстия — можно всунуть полботинка.

Мы это и сделали, каждый по ноге, и балансируя, прижимаясь к угрюмой стене электрической машины, помчались навстречу судьбе.

Тут я и крикнул Джурке великую цитату из Петефи. Он засмеялся.

— Лучше не сказать!

Будто освобождался от какой-то тяготы, да ведь и всегда так с нами происходит. Со всем подряд. Что-то сотворится, и кажется — конец всему. Но вот настанет весна, засияет дорога под солнечными лучами, ты успеешь вскочить на троллейбусный приступок, всего одной ногой и, опасно балансируя, вдруг встречаешь радостную истину.

«Луч, преломившийся в слезах!»

Впрочем, какая там слава! Мы и слово-то это не решились проговорить. Газетная работа, учил нас непререкаемый Зиновий Абрамович, — это не блеск, не треск, а самая что ни на есть чернуха, вполне сравнимая с трудом землекопа. При этом он напоминал и Маяковского, хотя тот говорил о поэзии: «Изводишь единого слова ради тысячи тонн словесной руды!»

— И вам это предстоит, — не устал он внушать прописи. — И вы ищите слова! Но — главное, проверяйте факты, переспрашивайте, если не понимаете, про одно и то же выясняйте у троих-четверых-пятерых. Десятерых, если надо. Не робейте зайти к начальнику, умейте спросить о неприятном — пусть объяснят! И судить — не торопитесь.

На задворках главной городской площади притулилось двухэтажное зеленоватое зданье, маленькая, когда-то частная, типография, превращенная временем в учебную типолабораторию, и хотя управлял процессом коренастый человек, считавшийся директором, Зиновий Абрамович был тут главным. По крайней мере для нас. Показывал линотип, верстальную раму и стол под низко висящей яркой лампой в старинном квадратном абажуре. Учил знакам правки, какой сигнал означает разделение, соединение, вставку... Мне страшно нравилось тут все — и прежде всего запах краски, мерный стрекот линотипа, здесь — единственного, глава типографии, он же верстальщик, с остреньким и кривым шильцем в руке, которым удобно вытаскивать буквы

шрифта при наборе заголовка в — слово-то какое! — кассе шрифтов.

Может, оно было написано на моей физиономии — мое удовольствие, но я отсюда никогда никуда не спешил. Только, конечно, голод гнал к тете Дусе, а до нее остановок пять-семь, не меньше. «Искусство требует жертв», — сказал кто-то из великих, и я, бывало, опаздывал в столовку, особенно когда пристала пора самому что-то тут же написать, поправить, вычитать гранки, дожидаться, когда тиснут полосу, и снова расписаться, подтверждая, что за слова, сочиненные тобой, ты не сешь ответственность. Другие убегали, торопились отсюда, в конце-то концов, это не лекция, а практические занятия в типолaborатории. А я терпел.

В ожидании гранок, оттисков, да и просто так, мы оказывались совсем уж малой кучкой возле Зиновия Абрамовича, и он занимал нас разнообразными советами. Говорил, например, что нам надо использовать возможности большого города — ходить в театры, в музеи, причем музеи следует посещать не как все — походить да и забыть, — но штудировать темы, получать образование, которое университет не дает. Особенно он склонял нас сходить в Геологический музей.

Картинную галерею он как-то обогнул, сославшись на великого Бова, Бориса Васильевича Помяновского, нашего знаменитого преподавателя, — вспомним Моцарта! — а еще и большого знатока всех тутошних искусств, особенно каслинского литья.

— Вы слышали, — спросил, между прочим, — он только что выпустил первую о каслинских мастерах монографию. Продается в магазинах. Рекомендую.

Помяновский был худым, очкастым и очень шустрым. Только годы спустя я осознал необходимость всех тех его достоинств: он был и там-то и там-то, и одно заседание или занятие у него сменялось другим, а частными автомобилями тогда если и владели, то сугубо избранные. Вот он и скакал по городу — то на трамваях, то на троллейбусах.

Внешне он выглядел вполне доброжелательно — хотя до определенного края, — и не стеснялся своей поспешности. Однако на лекциях его о, например, импрессионизме моя голова вдруг начинала наполняться чем-то мягким и теплым, вроде ваты, и почти падала вниз. Падая же, пробуждалась, но ненадолго. Так что великая пора студенчества некоторых, наиболее волевых, обучала спать с открытыми — или полуоткрытыми — глазами, твердо удерживая шею. Наверное, среди причин была и удаленность импрессионизма, кубизма и всяких других «измов» от нашего реализма, огражденного простыми флажками: еда, сон, лекции, зачеты с экзаменами и проистекавшая из всего этого стипендия.

Заметив наше не вполне горячее отношение к истории искусств, Борис Васильевич однажды объявил:

— На следующей лекции расскажу, нарушая курс, про сто способов заработать деньги!

Аудитория взволновалась, а он угнетал:

— Вот вы дремлете, вам кое-что просто чуждо! И я вас не виню! Все в человеке соединено! Все шестеренки крутятся, помогая друг другу. Создают смысл существования! А всякое стремление — это как выстрел. Все ваши возможности приходят в движения! Вам не хватает выстрела над ухом! Короткого замыкания! Необходимо пробудить себя к действию!

Выходит, сто способов заработать деньги не выпали из концепции искусствознания, по Помяновскому. Ну как не поверить ему, вспоминая его предисловие при исполнении «Реквиема»!

Он с этого и начал через неделю. На лекцию приперся народ с других, даже старших курсов, опытные, можно сказать, волки. Ну ладно, волчата хотя бы!

Блестая очками, Бова начал с искусства. В школах, сообщил он, а особенно в домах и дворцах пионеров не хватает специалистов по истории мировой культуры. Школы еще раскачиваются, а вот в пионерских заведениях все проще, можно ходить после лекций, за это дают деньги. Ясное дело, надо искусство-то знать. Хотя бы в общих чертах.

Наш вездесущий искусствовед много, конечно, чего насоветовал. Например, ходить с лекциями от общества «Знания», читать лекции обо всем подряд, хоть о звездах — но что мы знали про них? Это его отнюдь не шокировало. Пожалуйста — прочитайте брошюру про Утесова, запомните его детство да и названия песен — и вперед! «Все хорошо, прекрасная маркиза! Все хорошо, все хорошо». Он еще и пел, дурачась, привлекая наше братство в неведомые авантюры.

Девушкам он рекомендовал подрабатывать ночными сиделками в больницах — это нашим-то цыпам-филологиям? Парням постарше — грузовые работы на вокзале, но это уже наш народ освоил. И наконец, Помяновский подкинул забавную мыслишку. Хотите, мол, в театр за так ходить? Записывайтесь в массовку! И разъяснил: идите за кулисы в оперный театр, и там вас оденут в кого-нибудь. Ну не все же на сцене поют. Артистов-то раз-два и обчелся. Зато стоят сзади какие-то люди, одетые в царские одежды, в рыцарские доспехи. Они ходят, когда и куда скажут, открывают рот, если надо крикнуть — научат и кричать. Это — массовка. В балете есть кордебалет, но в этот самый кордебалет посторонних не пускают, там надо танцевать, и роли, даже самые третьестепенные, исполняют наученные артисты. А в опере — пожалуйста! Только слушай помощника режиссера. И прямо в конце всякого спек-

такля, когда будешь сдавать одежды, тебе выплатят гонорар.

— Сколько? — кричала аудитория.

— Давно не ходил по сцене, — призадумывался профессор. — Да с четвертной, пожалуй.

Речь знатока длилась академический час, и много чего еще он тогда насоветовал. Но эта возможность — стать вдруг артистом без роли, ходить по вечерам на сцене в рыцарских — елки-палки — доспехах, кое у кого засела в мозгах.

14

И здесь самое время, пожалуй, порассуждать о связи культуры и голода.

Теперь это редко совпадающие понятия. А тогда, скоро после войны, связь такого свойства прослеживалась очень даже определенно.

Пару раз — и оба раза в читалках — в нашей, университетской, и в городской, — я видел, что люди, вполне, впрочем, молодые, лежали головой на книгах, раскрытых перед ними. Сперва на них поглядывали прохожие читатели, потом кто-то догадывался указать на это библиотекарям, и вот это я видел сам: их трясли, а они не могли проснуться. И похоже, это был не сон, а голодный обморок.

Пожилые библиотекари знали толк в своих читателях, и вот в городской я увидел, что, безуспешно похлопав тощего парня по щеке, пожилая женщина побежала за кулисы книжного рая, а выбежала с чашкой горячего и, наверное, сладкого чая, потом, полуразбудив читателя, влила в него первый глоток.

Он как будто спохватился, обшаривал непонимающими глазами обступивших людей, потом возвратился в себя, допил чай, и его вывели на улицу, отправили восвояси. В нашей же читалке обморочного просто



взяли под руки двое ребят покрепче, вывели в коридор, похлопали по щекам, принесли стакан простой воды.

Что сказать! Читатели эти несчастные были просто голодными, а в читалку все-таки шли, хотя никто их не принуждал. Иногда я думал, может, им некуда было деться?

И еще одна, крамольная, вероятно, идея: а вдруг голодному человеку книги дороже, чем сытому? И театры, где идет, к примеру, «Князь Игорь»? Какие-такие сейчас князья? А тогда князь Игорь был защитой и опорой всех подряд.

Я и сам себя на этой мысли прихватил. Однажды шел с главпочтамта мимо кинотеатра «Совкино». Перевод до востребования я не получил, в первую попавшуюся столовку заходить показалось страшно.

Но какова логика такого бедующего персонажа? Он заходит в кинотеатр и за последний рубль покупает билет на фильм «Багдадский вор», из трофейных! И млеет от восторга, сжимается от ужаса, обливается наслаждением! И голод, представьте себе, отступает. Увы, на час двадцать. Чтобы потом с новой силой вонзить свои острые шила в пустое брюхо.

Я решил тогда оказать физическое сопротивление этому голоду. Не поехал ни на троллейбусе, ни на трамвае. Тем более для этого требовались три пересадки, а значит, троекратные расходы. А пошел пешком. Ничего особенного, просто голодный переход по большому городу. Дело было днем, и я успел застать тетю Дусю, правда, уже складывающую в ридикюль свои манатки. Но супчик вовсе не заслонил потрясшее меня впечатление.

Изредка, но мы выбирались в чудную уральскую оперетту. Странные ассоциации: на веселые спектакли лучше все-таки голодным не ходить. Радость плохо добирается до души. Тут сытость полезна.

Была и еще одна высокая стезя: изобразительное искусство. Я не забыл сообщения досточтимого Зиновия Абрамовича, что у нашего Бова вышла монография про каслинское литье, и, углядев ее в книжном, не с первого подхода, подсэкономив капиталы, но все-таки ее укупил. Читал с удовольствием, немало, между прочим, просветившись. После чего подошел к замечательному искусствознатцу и попросил его автограф. Глазки у него вылупили явное удовлетворение, он просьбу исполнил легко и ловко, размашисто подписавшись, а я заметил ему, что в нашем доме, у бабушки, есть небольшая, но тяжелая и черная корова, похожая на ту, которая имеется на картинке в книге, и предположил: а может, она тоже каслинская! Он радостно закивал мне, подтверждая догадку, с интересом вгляделся в меня еще и еще, выяснил моя фамилию и пригласил

в картинную галерею: там открывалась выставка этого чуда уральских металлургов — ведь отливали такие фигуры из чугуна. Почему они и черными-то получались.

В клуб этот искусствоведческий мы с братвой затесались крайне скромно, прислонясь к стенам, в задних рядах, любуясь нашим Помяновским, который выглядел щеголеватым петухом с бабочкой у горла. Как тогда, на Моцарте.

Нас, конечно, не видел. А если и видел, внимания не удостоивал, ибо после доклада его окружил сонм бородачей и старушек, не нам чета.

Мы же, непонятно почему, проголодались, да и чужные фигуры, включая черного Дон Кихота, не очень завораживали моих друзей, кроме Вовки Потникова. Приставший к нашей экскурсии почти случайно, он просто сиял от восторга. Скуластый от рождения и, как все мы, совершенно не сытый, отчего скулы выпирали как у узника Освенцима, Вовка своей улыбкой — со стороны-то неуместной, даже издевательской надо всеми этими музейными залами, — походил на что-то неуравновешенное, даже опасное. И уходить из залов не желал.

Возникла легкая перепалка, мои близкие стремились к еде, я опасался за Потникова, и компания раскололась. Мы прошлись по залам и раз, и два. Я обнаружил железную корову, похожую на бабушкину. Потом мы с Вовкой удалились в залы живописи, и он все вздыхал, повторяя, в общем, банальность:

— Ничего-то мы не знаем! Ничегошеньки!

Мне оставалось соглашаться. На выходе, которым так или иначе заканчивается всякая экскурсия, Вовка застрял у киоска. В ту пору даже и подумать нельзя было о сверкающих буклетах и солидно-матовых альбомах. Их просто выпускали очень мало. Да и на какие шиши мы бы стали их обретать?

Потому Вовка и споткнулся о доску, на которой, прижатые незамысловатой резиной, стояли маленькие, в почтовую карточку, репродукции великих творений мира. Это, впрочем, и были почтовые карточки. На обороте указывалось, кому и от кого, да еще и квадратик для почтовой марки. А на другом обороте — всемирное чудо!

Позвякав грошами в кармане, мы быстро сговорились, что для начала познания надо изучить искусство именно русское, а до зарубежного доберемся позже, со стипешки. И мы купили в складчину штук двадцать скромных полиграфических напоминаний о русской классической живописи. По дороге осмотрели их повнимательнее, в трамвае Вовка Потников сложил искусство в колоду и стал показывать мне по картинке, спрашивая, как называется и что за автор. Я его спросил без лукавства:

— А ты — чего? Рисовать умеешь?

Он не умел. И никто никогда в его роду ни о чем таком совершенно не думал.

— Но надо же когда-то? — спросил он меня, глядя в упор. — И кому-то?

Сначала этот эпизод с картинной галереей отошел в туман, подзабылся. Но когда через год я оказался в общежитии, да еще в одной комнате с Потниковым, да еще и кровати наши оказались стык в стык друг к другу, он спросил меня, когда мы готовились ко сну, почистили зубы и ходили по комнате в трусах и майках:

— А ты это помнишь?

И вытаскивал пачку цветных открыток с репродукциями, теперь уже не только русской живописи. А в ней карточек триста, не менее.

Вовка сказал:

— Давай вот перед сном повторять их, понимаешь?

Я понимал. И мы принялись показывать друг другу эти карточки. Спрашивая по очереди, какой художник, как называется картина. Остальной народ поначалу над нами похихикивал — а в комнате проживало еще четверо, — и вдруг они проснулись. Требовали включить в испытание их.

Помню, засыпал, а во сне все сменяли друг дружку эти чудные картины: Левитан, Куинджи, Саврасов. И еще Ван Гог, Рембрандт, Пикассо. Та студенческая коллекция включала все без разбора, и это, пожалуй, было неверно по каким-нибудь высоким правилам. Но правила бывают и невысокие. И от этого не становятся хуже.

Мне и сейчас вдруг во сне, совершенно удаленном от времени и пространства моего студенчества, вдруг ворвется каким-то двадцать пятым кадром неведомая картина, автора которой я не помню. Ни с того ни с сего.

И утром я не могу понять, что со мной было. Но было!

ПОВЕСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

САРА ХРИСТОФОРОВНА И ДРУГИЕ

1

В конце первого курса, где-нибудь в середине мая, наверное, еще до сессии, мы с Джуркой и Минибаем оказались возле Дома печати. Шли куда-то, не очень спешно, но и не слишком медленно. И тут из подъезда, смеясь и что-то договаривая, но в приподнятом настроении, выходят Толя Пудоль, наш патрон, вместе с главным что ни на есть редактором «Засменки». С этой

живой легендой, с поэтом, на слова которого про рябинушку пела песня не только столица Урала, мы были совершенно не знакомы. Но виноваты, что поделаешь! Память о славе и бесславии Джуркиного сочинительства витала и над этой легендой — ведь он получил какой-то и где-то выговор. Несколько метров, которые нас отделяли друг от друга, стали для всех нас, а особенно Джурки, не коротким, а длинным, хоть и молчаливым замыканием.

Наконец Михмх, сокращенный Михаил Михайлович, — и так его звал весь город, причастный к печатному слову, — широко улыбнулся и воскликнул, протягивая руку Джурке:

— А вот и злодей!

И сам же от этого расхохотался. Скок сился что-то сказать в оправдание, но Михмх не позволил.

— Все, все, — сказал он, — что прошло, то проехало! Ну, и чего же больше не заходите?

Теперь он вопросительно глядел и на нас с Минибаем, будто мы какие-нибудь вместе с Джуркой Кукрыниксы, например, и друг от друга неотделимы. Пудоль вышел из-за спины шефа и, торжественно указывая на меня, объявил, что я систематически освещаю фотографическое творчество на страницах столичного журнала, а Минибай силен в экономических темах, на что Михмх восклицал:

— О! О!

Потом он весело заговорил как бы ни о чем, вот какое дарование у человека! Какая, мол, погода, оглянитесь, какое небо! Как оживают улицы весной!

— Поглядите, мальчишки, на девочек. Они же на глазах становятся наряднее! Зимой кутаются в платки, а сейчас и шеи, и плечи свободны, природа побеждает и жизнь хорошеет!

Вздохнул как-то обреченно и устало проговорил:

— Уж вы-то, надеюсь, живете полной жизнью!

Вот так или почти так он выразил свое настроение и заторопился:

— Приходите, приходите! Учитесь! Вы нам нужны!

Вот эта последняя фраза легендарного редактора нас крепко приглубила! Мы — кто мы, неужели именно мы — Джурка, Минибай, я — им, — кому им? — всей редакции, что ли? — нужны! Такого еще никто нам не отвешивал. Будто мы журналисты с именами! Будто мы и в самом деле кто-то такие, а не сопливые первокурсники!

Мы уже не шли, а летели, едва касаясь ногами асфальта, вперед, в затяжную горку, к скверу, где высился каменный председатель ВЦИК, а напротив зеленело здание чудесного театра оперы и балета! Бова зазывал нас поучаствовать там в мимансе! Нас! Людей, которых сам Михмх только что объявил нужными «Засменке»!

На скамейках в скверике у театра мы еще долго охорашивались, как потрепанные воробьи. Приводили в порядок свои растопыренные перышки, укладывали их в порядок.

— Выходит, — проговорил, улыбаясь, Джурка, — я реабилитирован!

— Бери тон пониже! — усмехнулся Минибай. — Прощен.

— А может, — предположил я, — тогда и ничего особенного-то не было? Ну какая-нибудь неточность! Но за что же — в морду-то!

2

Несмотря на нашу, а, выходит, и мою нужность газете, я никак не мог туда явиться. Мои школьные слабости совершенно не желали отцепиться от меня, будто репейник. Речь идет о французском, моей ахиллесовой пяте.

Ахиллессова пята, кто не знает, — это такое слабое место даже у сильного человека. А у нашего брата, студента тех пор, этих ахиллесовых пяток наблюдалось великое множество. Лично у меня, к примеру, и старославянский язык, как помните, и вот этот французский, а потом нежданно явится политекономия социализма. Так что почти всякий из нас — кроме, разумеется, зубрил-отличников — походил на этакую сороконожку, хромающую на половину своих лапок, где на каждой своя ахиллессова пята.

И здесь я поведу речь о скрытом противоречии своей тогдашней судьбы.

Историко-филологическая принадлежность отделения журналистики на Урале не только угнетала. Но и возвышала! Кроме языков, нам читали историю! Курсы литературы, да и какой! Античной! Русской классической! Советской многонациональной! И зарубежной! И в этой зарубежной меня лично заклинило на французской. Ромен Роллан, Стендаль, Бальзак! Мы глотали их романисты и не могли насытиться плодами этих богов! А если уж наша щенячья стайка физически топталась на одних половицах, то и классику мы читали или одновременно, если в читалке было несколько экземпляров нужной романи, или передавая книгу из рук в руки и впадая в восторг, если не одновременно, то с небольшим разрывом.

Мы и имена друг другу из классики присваивали. Сами себе. Или нарекали сомневающихся. Я, например, был Люсьен Шардон де Рюампре, что, конечно, ничего не сообщит не читавшим Оноре де, так что вкратце замечу — это был персонаж по-французски вспыльчивый, конечно же, добродетельный, не лишенный риска, но в то же время и оглядчивый, таким образом, разумный.

В те времена знаки гороскопа не пользовались никакой популярностью, более того, может, даже были запрещены как мистика и суеверие, совершенно не нужные строителям грядущего общества. Но когда времена сменились и я прочитал, какими чертами обладает Дева, то есть я сам, мне просто жарко стало. Да это же вылитый Люсьен де Рюампре!

Минибая почему-то назначили Жюльеном Сорелем, из Стендаля, Джурку — Жаком Ромена Роллана, наверное, потому что он на аккордеоне играл. Ну, хотя бы! За отсутствием рояля!

Мы балдели от этой зарубежки! Учились изъясняться романическим стилем, строить фразы по обычаю их чудесных героев, соединяя это, конечно, с окружающим миром.

— Месье Жюльен, — обращался я к Минибаю, например, возле тети-Дусиной кассы, — не желаете ли вы откусить жульен из дичи под названием «холодец с хреном»!

Не ахти какой юморок, но он проходил запросто, вызывая наш узкодружеский хохот. Не изучавшие зарубежную литературу, например психологи, не ценили нашего немотивированного ржания и не знали, к какой области психологии отнести эти дурацкие выкрутасы. А оттого слегка завидовали и злились.

Но! Обожая Бальзака, Стендаля, Роллана и сотни иных бессмертных французской литературы, я совершенно не ладил с французским языком. И некому меня было надоумить, вот что! Нашелся бы еще один мудрый Зиновий Абрамович или тот же искусствовед наш Бова, сказал бы: парень, нравится тебе Бальзак, так прибавь к нему еще знание языка, на котором он писал! Это тебе может пригодиться! А вдруг поедешь собкором «Правды» в Париж, будешь там щеголять по Елисейским полям и клеймить современную французскую буржуазию!

Однако напомним иным и сам попробую понять то наше время.

Одна тысяча девятьсот пятьдесят третий, потом четвертый, затем пятый... Посоветовать студенту поскорей учить иностранный язык было не таким-то безгрешным делом. Могли не понять. Могли сказать, для этого есть институт иностранных языков, а не отделение журналистики, где вообще-то надо уделять повышенное внимание другим, вполне политическим дисциплинам. Мне самому не довелось испытать на себе, что такое оглядка, опаска, подозрительность, но в ком-то и, пожалуй, в наших преподавателях особенно, она была зарыта. И не так уж глубоко.

Конечно, просто сказать, слегка подтолкнуть — этого маловато. Требовались и другие, доверенные взрослые, чтобы, коли надобно, могли и внушить — учи язык! Но их не было! А собственная память совсем

недавнего детства, совпавшего с войной, велела другое: да пошли к черту все эти немцы с их немецким языком. Да и французы. Англичанцы и прочие шведы! Мы сами — русские! Увы, не был модным в ту пору иностранный язык любого народа. В юридический так вообще принимали без экзаменов по языку.

Что-то и еще останавливало нас. Но обожать Бальзака не мешало ничто.

3

А Сара Христофоровна меня просто-таки страшила. И вовсе не личностью своей. А если можно так выразиться, предметом, который преподавала и за незнание которого спрашивала.

Французский язык учило на всем-то курсе человек семь или восемь, причем с нашего отделения только двое — я да еще Тамарка Горохова. Маленькая и рыжеватая, с носиком-кнопкой, она походила на пупсика, да еще из местных. Местными мы называли тех, кто жил в городе капитально, с родителями, и появлялся только на лекции, тотчас растворяясь потом в городских квартирах. Лезли в трамваи, в троллейбусы и исчезали, а наша-то настоящая студенческая действительность только просыпалась.

Если же вернуться к французскому, остальные в нашей группе вообще все были девчонками: в деканате так сводили расписания, что на малопосещаемые предметы сходились студенты одного курса, но разных специальностей. И психологи тоже сидели на французском, и даже пара историков. Но все — девицы.

То ли этому полу проще даются языки, то ли я совсем уж отстал в сем изысканном предмете еще со школы, но чувствовал себя я у Сары Христофоровны полным изгоем. Девицы свободно осваивали склонения и спряжения, я глупо мусолил словарь — тогда еще не было коротких и ярких разговорников, которые бы хоть как-нибудь реабилитировали меня.

Сара Христофоровна, конечно, помнила меня по вступительным. И всю аргументацию в мое оправдание знала. Больше того, ведь я ее должен был почитать как свою благодетельницу. Не поставь она мне хотя бы ту несчастную тройку, где бы я обретался?

И еще Сара Христофоровна как-то по-особенному смотрела на меня. Сначала я думал, что она присматривается ко мне, потому что я самый непросвещенный. Потом — что я единственный парень, и во всем, что не касалось французского, человек как человек: довольно веселый и вполне настырный. Пару раз я попробовал завести на ее занятиях разговор о французской литературе, но пороха не хватило по двум причинам — большинство девчонок чистые филологини, у них зарубежную

литературу осваивали уж никак не слабей нас, и если бы я еще повел свою речь по-французски, а так...

И все же Сара Христофоровна имела обо мне какое-то особенное мнение. Почти сразу после поступления настала пора сдавать так называемые знаки, внеаудиторное чтение. Приходить с книгой на французском языке, сначала вслух читать несколько страниц, а потом тут же и переводить. Обычно принимала лаборант иноязычной кафедры Лидия Петровна. Но время от времени и сама Сара Христофоровна. Удивительное дело, она никогда не говорила со мной ни о чем, кроме французского. Я снова пожаловался ей, что в нашей школе, не самой дурной в городе, почему-то менялось за год по пять, самое малое, французов и француженок, хотя с немками и англичанками существовал полный порядок. И вот мне, выбравшему язык Бальзака и Стендаля, теперь приходится платить за свою любовь, елки-палки. Она никак не реагировала. Не кивала, не сочувствовала. Просто смотрела на меня.

Я даже не смогу объяснить, сколько ей лет тогда было? Слегка за сорок? Под пятьдесят? А может, гораздо больше? Ее тяжелила полнота, и круглое лицо вполне могло бы выражать полное благодушие, если бы не какая-то незримая заслонка. Что-то не позволяло ей проявить ко мне интерес, выходящий за пределы обучения французскому. Как оказалось, бессмысленное.

Однажды, еще на первом курсе, она назвала мне книгу «Мари Роз» — о французском сопротивлении. И подсказала, что по этой книге, напечатанной на родном наречии, можно, оказывается, сдавать внеаудитору, а поможет та же книга, переведенная на русский и тоже присутствующая в нашей библиотеке. О боже! Да это оказалось спасением. Я заглядывал после лекций к Лидии Петровне — лаборанту по французскому — или подходил к Саре Христофоровне и вежливо спрашивал, могу ли, скажем, через тридцать минут зайти для сдачи знаков. Чаще всего они соглашались, а я бежал в читалку, хватал «Мари Роз» по-русски и по-французски и нагел, бывало, до того, что, не глядя в иноязычный текст — или глядя на него вкривь и вкось, — фотографически запомнил русский перевод. Сейчас бы ни за что такое не получилось. А тогда — как по маслу!

Потом я заходил к Саре или, лучше, Лидии, раскрывал во французской книге нужные страницы, кое-как прочитывал их вслух, абзац-другой, а потом начинал шпарить русский перевод.

Но и преподавательница моя круглолицая, и ее ассистентка не зря сами же выдумали сей прием. Особенно Сара Христофоровна бывала прекрасна! Она о чем-то глубоко задумывалась, иногда поправляла, ничем не выдавая своих чувств, спрашивала, сколько там я начал и напереводил, и сдержанно вздохнув, оставляла

свою подпись в специальной тетрадке. И вот таким же образом, и тоже вздохнув, в конце всякого семестра, она ставила мне четверки по французскому. Девчонки вокруг меня всегда и все получали пятерки, а я — свои проходные баллы для стипендии, и всегда мысленно благодарил Сару Христофоровну, пытаюсь заглянуть в ее коричневые, как спелые вишни, глаза.

Она уворачивалась, лишних слов мне не позволяла. А проговорила только два раза. Первый раз — в конце второго курса. Вписывая в зачетку третью четверку, она сказала мне:

— Хорошо, что любите Бальзака!

Я кивнул, не придав этому значения. Второй раз, в таком же положении, на зимней сессии, она подбодрила меня:

— Вы хорошо прошли практику! Вас хвалят!

Но я и тут ничто еще толком не сообразил! Только потом, когда курса после третьего закончились языки, я сообразил, что Сара Христофоровна просто давала мне жить. Всего-то-навсего! Увидела, что французский, если мне приспичит, я наживу. А потому не надо мне мешать. Жизнь велика, и она добавит. Если надо. Ну и если не надо — тоже.

Увы, милая Сара Христофоровна, французский я так и не нажил. Сожалею.

4

Второй курс мы приняли по-взрослому. Даже следующей, третий, не показался ступенькой высокой, а вот второй — оказался.

Из новинок — со второго курса начиналась артиллерия. Тогда в институтах и университетах существовали кафедры военной подготовки. Да еще какие! Нашу, например, возглавлял генерал и настоящий фронтовик! Ну а готовили всех нас, мальчишек, в артиллерию. И вот тут уж нашей кафедре, а за ней — всей армии и всей, конечно, стране, — было наплевать, какую мы себе присмотрели грядущую штатскую профессию — математиков, геологов, биологов или — славоте-наvote! — журналистов.

Почему я так выразился? Да потому что все мы, поступившие на свою специальность, и отроду-то не были склонны к точным наукам. В алгебре, геометрии и тригонометрии — а эти науки проходили во всякой средней школе, — мы были слабаки! Только вздохнули, что от них избавились! И вдруг!

Первые же занятия — таблицы, расчеты, баллистика, дальность! И приборы, которыми надо овладеть! Я совсем духом пал — как это все можно понять и выучить? Да еще и командир нашего потока, рыжий, веселый, явный хохол майор Слинько, после вводной

горячей речи, где артиллерия называлась богом войны и даже цитировалась песня «Артиллеристы, Сталин дал приказ!» — на второй половине военной пары вывел нас из-за столов, построил во дворе и повел к дощатому сараю, серому от долгих своих годин и внешних ненастий.

Мы стояли, не зная, к чему эти торжества, а майор ковырялся в заржавленном замке. Потом командир наш велел желающим распахнуть двери, передовики, которые всегда находятся в таких положениях, исполнили свое дело, и мы увидели в сарайной мгле огромного размера орудие, мрачно вззирающее на нас. А было нас человек сорок, которых соскребли со всех факультетов и представили этой осмысленной груде металла.

— Ну вот, — обратился к нам неунывающий майор. — Штатная команда ста двадцати двух миллиметровый гаубицы образца тысяча девятьсот тридцать восьмого года — семь человек.

По строю прокатился нервный шумок.

— Есть? — спросил Слинько. — Семь будущих от-важных офицеров? — Он ехидно усмехнулся. — Ко-торые не в будущем, а сейчас! Выкатят это орудие из хранилища!

— Есть! — раздались бодрые вскрики.

— Нет! — состязаясь с ними, провизжало большинство.

— И есть, и нет! — ухмыльнулся майор. — Ничего! Это всегда так!

И не унывая, стал расстегивать офицерский ремень на гимнастерке:

— Тогда давайте всей деревней!

Он и впредь будет понимать, этот чудесный майор Слинько, с кем имеет дело. Предположим, знал он и самое главное: никаких артиллеристов из нас не получит-ся. Так и вышло! Но тогда мы бодро поскидывали пид-жачки и куртки и все вместе облепили гаубицу образца тридцать восьмого года. Почти все до единого мы были чуточку постарше этого образца, потому, наверное, полагали, что выкатить-то эту железяку сможем без всяких-яких.

Майор расцепил замок, указал, как надо поднять станины одним, в то время как иные сдвинут колеса, а третьи выкатят чудище, упираясь в замок, щит и во все, во что только можно упереться.

О, эта была чудесная сцена! Славный наш командир уперся в огромное колесо, велел приготовиться и на счет «три!» всем вместе двинуть гаубицу вперед. Однако на счет три ничего не произошло.

Да нет, произошло! Кто-то громко, от всей души пукнул. Да так, будто это по крайней мере охотничье ружье жакнуло. Муравьи, вцепив-

шиеся в железо, повалились наземь и побежали в стороны! Хорошо хоть ни одной девчачьей души рядом не оказалось: артиллерия — мужское дело.

Под хохот и матерки мы гаубицу все же выкатили. И хотя майор был строг и пару раз повышал голос, показывая, как поднимается и опускается ствол, движется по горизонтали, как открывается затвор, и прочие чудеса действующего воинского образца, до которого мы, интеллигенты, так и не дорастем, всем становилось очевидно — свидание с воинским долгом пока что не удалось.

Но могла ли эта милая и вовсе не старая гаубица ответить нам тем же? Это еще предстояло узнать.

5

В один банальный день, по обычаю отсидев лекции, мы с радостной душой и пустыми желудками привычно кинулись в столовку.

Еще на подходе стакнулись с Яшкой-моряком и Игорьком Коробкиным — вид у обоих был более чем удрученный.

— Там сидит какая-то новая, — невнятно растолковывал Игорек.

— Тетю Дусю уволили, — развел руками Яков.

— Ка-ак уволили? — выдохнул я.

— А денег нет, — продолжал описывать свое положение бывалый Игорь. — И жрать нечего!

Мы кинулись в столовку, а там к кассе — и действительно — вокруг желанного гнезда тети Дуси висела густая очередь и чужая женщина неумело тыкала в кнопки кассового аппарата, неумело принимала деньги и еще неумелее отдавала сдачу. Вывернув все карманы, мы кое-что схавали, не забыв наших ветеранов, и решительно отправились к столовским властям узнавать, что случилось.

Но двери были закрыты, буфет пуст, а поварихи смутно пояснили, что вроде у тети Дуси недостача, где-то ее допрашивают, что-то считают, а дирекция столовки находится там же, где и она, а вот где — неизвестно.

— Может, в милиции?

И Яков с Игорем, перебивая друг друга, предлагали идти вверх.

— Это куда? — спрашивал Джурка.

— В райком, — твердо рубил ладонью Яков.

— В горком! — не соглашался с ним Игорь.

В обеденный зал испуганно заглядывал народ, питающийся у тети Дуси в долг, кто-то что-то перекусывал, и постепенно возле нашего стола собрался кружок, обсуждающий, чего делать. Хочу жестоко заметить, что в

осадок выпали сущие единицы — человек семь-восемь: наш пятерик, потом присел Вовка Потников, еще двое, может быть, и все. Хотя сочувствовали и даже присаживались многие-многие. Тут же, однако, у всех находились важные дела и заботы, которые невозможно отложить. Даже из-за кормилицы тети Дуси. Сперва я взирал на эти отступления совершенно равнодушно, потом что-то заколыхалось внутри. Фраза сформулировалась невзначай:

— Выходит, мы от нее отступимся?

— Пошли на кафедру, — поднял нас Джурка. — Хотя бы расскажем! Там могут и не знать!

— Там могут и не знать ни про какую тетю Дусю! — хмуро заметил морской волк.

И он оказался почти прав. На кафедре было человека четыре из взрослых, включая добрую к нам Алевтину Сергеевну, кафедральную лаборантку, была такая должность, но как только мы изложили вопрос, пара преподавателей предпочла заторопиться из кабинета, а Алевтина пояснила, что ведь столовая эта не имеет к кафедре ровно никакого отношения. Надо идти к ректору по АХЧ, что означало административно-хозяйственную часть, а его поймать нелегко.

Двое-то наших учителей вышли, подальше, может быть, от практики партийно-советской печати — так называлась эта кафедра, — но в кабинет вошел всегда строгий и всегда бодрый заведующий кафедрой, хотя даже и не кандидат наук, Борис Самуилович. Он еще на первом курсе читал целый курс о журналистике военных лет, и его любимой темой был разговор об очерке Петра Лидова «Таня», напечатанный в газете «Правда». А это, кто не знает, первая статья о Зое Космодемьянской, девушке-партизанке, повешенной немцами под Москвой. Да и сам Борис Самуилович был фронтовиком — капитаном, артиллеристом, носил наградную колодку на груди, и вообще, партийно-советская печать в практике своих дел должна была говорить правду, отличаясь от буржуазной, днем и ночью добиваться справедливости, и на этот счет существовало в лекциях и семинарах, окружавших нас, множество примеров.

Был Борис Самуилович всегда опрятно одет, при галстуке и свежей рубашке, и круглое его лицо, всегда открыто обращенное к нашему брату-студенту, было доброжелательным и светлым. Ни от каких вопросов не уклонялся, говорил дружески, терпеливо объясняя самые разные вещи, а как офицер-фронтовик в лекциях о военной журналистике являл собой абсолютного советского патриота.

Он вступил в кабинет, увидел нас, улыбнулся, попросил пересказать тети-Дусино исчезновение, понял суть беспокойства, посерьезнел и решительно пошел к телефону.

Дозвонился он тотчас, разговаривал приглушенным голосом, но отвечали ему, похоже, строго и даже убедительно, и междометия, произносимые Борисом Самуиловичем, стали наполняться сперва нетвердостью, потом неуверенностью, наконец он воскликнул: «Студенты просят! Студенты заступаются!» — но на том конце провода это, вероятно, не принималось как серьезный аргумент, и заведующий кафедрой, наш любимец, телефонную трубку как-то так очень аккуратно положил на место.

Может, так и кладут свои шпаги рыцари, проигравшие поединки?

— Да! — сказал он, поднимаясь и по-офицерски честно глядя нам в глаза. — Столовую эту обвиняют в обвесах и обмерах, а кассиршу — в пособничестве этому!

6

Ни фига себе! Такое слово — пособничество — встречалось в газете «Правда», когда обвинялись в неверности соратники югославского руководителя Иосипа Броз Тито. Или когда судили врачей, кого-то и как-то отравивших. Но тетю Дусю! Нашу тетю Дусю!

Дверь между тем открылась, и на кафедру вошла Люсетта, та самая, с которой я когда-то ходил в санпропускник. Я не поминал ее с тех пор, но на самом деле, как только видел ее, всегда улыбался. И даже был готов расхохотаться снова, вспомнив, как я ввалился в бабью баню.

Она вошла, как светоносный ангел, и произнесла всего две, но восхитительные фразы.

— Народ внизу собирает деньги, чтобы заплатить долг тети Дуси! И еще! Она — участница войны, фронтовичка и награждена орденом Красной Звезды!

Мы разом повернулись к Борису Самуиловичу. Может быть, мы повернулись к его офицерскому прошлому, совсем ведь еще недавнему! Он понял без лишних слов.

— Вперед! — сказал он, даже почти приказал. — Такой человек не мог красть у бедных студентов.

— Богатых студентов не бывает! — пошутил Минибай.

— Да мы за нее на плаху пойдем! — высокопарно воскликнул Скок.

— На плаху, пожалуй, излишне! — Борис Самуилович был снова на своем иронично-интеллигентном коне. — Но вот написать письмо в райком комсомола да сходить на прием к первому секретарю — я вам очень советую. Тем более что там этим секретарем наш аспирант-историк — да вы его наверняка и видели — Серафим Юрьевич Маментьев!

Он по-дружески улынулся нам и спросил:

— Почему бы студентам не защитить женщину-фронтовика! Которая к тому же кормит бедных студентов! В долг! За собственные же деньги, наверняка. А за какие еще-то?

В райком мы приперлись под закат, с письмом в руках и с уверенностью, что никого не застанем.

Не правда ли, есть в этом какое-то таинство, неведомо откуда идущее? Ты на что-то надеешься и не можешь этого добиться, несмотря на всю подлинность твоих аргументов. И наоборот. Ты ни на что не надеешься, а все совершается идеальным образом.

Райкомовское здание оказалось невысоким, двухэтажным, вход со двора, уже темно, но все окна сияют, будто в праздник. Секретарша только спросила, откуда мы, и повторила слова наши по внутренней связи. А дальше все совершилось как в волшебном сне. Дверь распахнулась, и я увидел в проеме действительно знакомое лицо — русые волосы, зачесанные назад, интеллигентские очки без оправы и широкое, открытое лицо. У людей с такими лицами не бывает задних мыслей!

Мы вошли, сели за длинный стол и, протянув письмо, стали наперебой рассказывать первому секретарю, что думаем о тете Дусе.

Серафим Юрьевич молчал, слушал, а когда мы сказали, что кассир тетя Дуся фронтовичка, да еще Люсетта вытащила из кармана почтовый конверт, в котором лежал студенческий выкуп, включающий мелочь, которая тут же и покатилась по столу, звеня и подпрыгивая (деепричастный оборот!), вскопчил, молча отмерил несколько шагов. И повторил Бориса Самуиловича:

— Такой человек не может красть у студентов!

— Да она нас спасает! — воскликнула Люсетта.

Оказалось, последний аргумент, произнесенный женским голосом, очень часто играет решающую роль.

— Погодите минуту! — сказал Серафим и взял телефонную трубку. — Федор Тимофеевич, вот у меня студенты из университета! Принесли письмо в защиту фронтовички! Вы не раз говорили, что хотите с нынешним молодняком потолковать! Ага! Жду!

И через две минуты к нам спустился седой, очень взрослый, но и удивительно веселый человек с широкой колодкой наград на пиджаке. Мы уже догадались — секретарь райкома партии, ведь этот райком был выше комсомольского только на этаж.

Письмо про тетю Дусю он тут же прочитал, деньги отодвинул Люсетте, сказал, что мы молодцы, не поленившись прийти в свой райком, а дальше стал говорить о чем-то постороннем, как нам тогда показалось.

Спрашивал про то, например, где наши отцы. Кто погиб, где, на каких фронтах? Как чувствуют себя жи-

вые? Где и кем работают? Сколько, если мы знаем, зарабатывают? Про матерей расспросил, даже про дедушек и бабушек.

Все мы, сидевшие в том кабинете, были интеллигентами начинающими, как скажут потом ученые люди, в первом поколении, и многое нам казалось настоящим открытием. Вовка Потников рассказал про погибшего в блокаду отца, а потом неожиданно восхитился уральскими музеями, Скок, как мне показалось, не к месту, помянул первое полное исполнение «Реквиема» Моцарта, но тут секретарь партийного райкома толкнул локтем секретаря комсомольского и, убавив голос, спросил:

— А ты про это слышал?

Тот пожал плечами, шутнул:

— Пока еще не до «Реквиема»!

— Как знать! — рассмеялся Федор Тимофеевич.

И вдруг неожиданно стал серьезным и спросил:

— А что вы думаете о Сталине?

Напомню, шел пятьдесят пятый год. И о Сталине мы думали так, как чувствовали тогда почти все. Я, улыбаясь, сказал, что написал вступительное сочинение в университет именно о Сталине и знаю на память много стихов про него.

— Вот как? — не очень-то и удивился этот человек с орденскими колодками шириной в ладонь. И тяжело вздохнул.

— Вы ведь воевали? — спросил я неожиданно для себя.

— Еще как! — ответил он.

— И шли в бой за Родину, за Сталина? — спросил я.

— В том-то и дело, что шел. И других посылал.

Дядька этот, Федор Тимофеевич, не просто долго запомнился мне, а как-то даже засел в мое подсознание. Я видел его еще только раз, издавека, и не

знаю, как сложилась судьба этого фронтовика с широкой орденой колодкой на груди. И детали всякие осыпались в памяти, как осыпается штукатурка со старой, да еще отсыревшей стены. Но вот внимательный взгляд, искреннее желание понять другое племя, совсем еще сопляков, пришедших за маленькой, но правдой, какое-то мало объяснимое воссоединение твердости, доброты и растерянности в его лице и словах не покидало меня, как достоинство, пока еще не постигнутое мной.

По правде-то, этот благородный силуэт сохранился, пожалуй, из-за краткости общения с ним. Поговори с ним подольше, а пуще того, поработай под его началом — все могло бы рассеяться, возможно, и даже перемениться на свою противоположность. Но тем и хороши краткие разговоры со старшими, что у молодых остается в сознании именно светлое, а примером-то служит оно, сохраняя и укрепляя веру в старшинство, его мудрость, силу да и личную славу.

Мы перли из райкома пехом, хотя рядом проносились троллейбусы, и, пораженные своей первой серьезной удачей, неустанно говорили и про Серафима, и про Федора Тимофеевича. И вообще — про все.

Нет, не зря целая орава восемнадцатилетних мальчишек и одна девица восхищались этим человеком. Нам очень требовался взрослый символ власти, конечно, мужчина, который бы слушал и слышал нас, был доступен и находился поблизости.

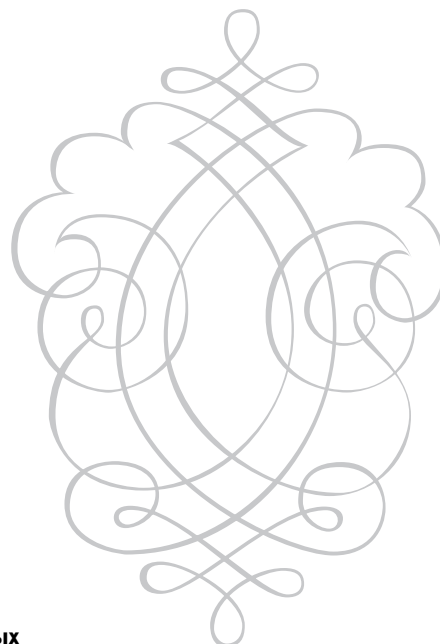
Да нам, обыкновенным птенцам, просто требовалась защита большой птицы, настоящего орла, хотя, ясное дело, орел будет кормить чьим-то мясом только своих собственных орлят, а что с остальной, слабо летающей, стаей?

Продолжение следует.





Борис ЛУКИН



Борис Лукин — поэт, критик и переводчик.

Родился в шестидесятых в Нижнем Новгороде (г. Горький). Отучившись в МВТУ имени Баумана и Литературном институте имени А. М. Горького, в бурные девяностые растил детей, работал сторожем, преподавателем русского и литературы, продавцом, фирмачом, журналистом в московских многотиражках. В новом веке редакторствовал в «Российском писателе» и в отделе литературы «Литературной газеты».

Его произведения постоянно публикуются в российских и зарубежных периодических изданиях. Стихи из книг «Понятие о прямом пути» (1995), «Междуречье» (2007), «Долгота времени» (2008), «LeLь» (2012) переведены на некоторые языки мира.

Автор-составитель Антологии современной литературы России «Наше время» более знаком читателям своими эпическими произведениями, характерными для книги гражданской лирики «Поединок» (2010). Лауреат Большой литературной премии России (2012).

Жизнь с семьей в подмосковной деревне, многочисленные встречи с читателями, поездки по городам и весям — все это драматически переосмысливается лиро-эпическим талантом поэта. Его стихам присущи необычные фантазмагорийные сюжеты, яркость метафор и неожиданность сравнений.

ЛЕТОСОВЕРШЕНИЕ

МЕЖА

Грачи, смотри, зачем-то прилетели
в последних числах февраля —
на Масленицу, что ли, в самом деле,
они спешили? Снежные поля
еще вокруг. На долгие недели
река, набухнув, бросит враз петлять.
В ней облака и льдины захотели
бодать друг друга — глупые теля...

Мне видится и слышится равнина,
сбегающая споро под угор.

Капель, журчанье, пенье — заедино
все длят и длят с зимой извечный спор.

В том гомоне свое досталось место
и мне — молчанья паузу держу,
без человека здесь куда как тесно.
Меж мной и миром чувствую между.

Она весной особенно заметна.
Ее потом затянет зеленыя
сплошной завесой и туманом тлена,
и день не различить тогда от дня.

Зачем межа всем этим тварям Божьим?
Для них ли время выдумал творец?
Я безвременья выбрал бы возможность,
где облака, и льдины, и скворец...

Воплощение

Без снега, скажут, что за Рождество?
И правда... Все века (по-русски — Вечность)
младенчества и снега тождество...
Ударный слог смещен, моя небрежность.

В тех створах вижу всход небес — водой...
И роженица чаёт миг свой млечный.
Нам, человекам, без любви — вредно
жизнь начинать. Будь счастлив, человечек!

Я так же был желаем! Вам — поклон!
И мы с тобой мечтаем лишь о том
двоих счастливом воплощенье нашем.

Их — Троица! Нас — двое! Полон мир.
Он весь раскрыт обнявшимся, двоим!
А снег — вода. Он сам мечтал о пашне!

* * *

Ты говоришь, что снег — пушок...
Я говорю: «На мой грешок...» —
мой грех, что в миг тот помню.
Ну а когда метель ревет?
Когда к сугробам ветер гнет?
— К колоколам! И в звоны!

Поразогнать всех прежних лет
тягучую, дурную мреть
и целиной морозной

брести шаг в шаг в монастыре
с душою, что еще во тьме,
к молитве долгой слезной...

До этого еще расти.
Здесь возраст жизни не в чести.
Другие здесь критерии.
И потому живем в миру,
укрывшись почти в дыру,
во деревеньку древнюю.

Здесь жили предки лет пятьсот.
Здесь вызывает все восторг,
когда навоз отчистишь.
Вон храм вознесся высоко.
Вон лес уводит далеко.
И эху рад, коль свистнешь!
И пусть весной зовет земля,
и топчешь пахотой поля
не для прокорма даже!
Вот под смородину прикорм.
Вот для теплицы тачек сто.
Мужик... а труд сей тяжек.

Что там поэт благословил?
Вот этот труд? И тишь могил?
Здесь это все осталось!

А жизнь почти ушла отсель.
Уходит жизнь... над ней — метель...
И год от году мало
снежка, который, как пушок,
пойдет... И вспомним свой грешок:
и ты, и я, и малый...

Сон времени

Когда бы монастырь — давно пора молиться...
Коллекция будильников молчит.
Хозяйка спит еще. Чего им снится?
Как стрелочки секундные, ресницы
чуть-чуть дрожат. Страх времени в ночи
нашептывает сказочки на ушко
минутной стрелке. Милая, поспи.
Куда спешить с тобою нам, подружка?
Твое топтанье — шестеренок дрызг
и лопотанье...
Ритм дыханьем сбит.
Коллекция будильников, как сон
о времени, скользящем в циферблатах.

Путь к «Славе», здесь одиннадцать камней,
назвать бы торным, да такая тьма,
и помнится, что незаконные, зане
не знают, обо что споткнутся. «Ма-ма!..»
Приснится же такое. «Тик-тик-так...»
И-так, и-шаг... какой еще ишак?
Тот, что взбирался утром не спеша
к горы утученной вершине;
там виноград отборных лоз, и баш-,
и башня, и точило. Не тужите...
Нет добрых ягод, дики уродились.
Будильник — «тик», «тик-так»... не дочитал.
Но помню про волчцы и камни, терна лист,
что там повелевал времен считалам
и стрелками, и грузом облаков.
Дождей не будет больше в этом мире...
Страница книги притчей — колобком
все катится: три-тридцать три-четыре.
Считаю я. Будильники — скорей!
Коллекция времен сейчас очнется
и вздыбится, стирая след речей.
Ручьи времен. Так сладко сердце бьется,
храня внутри, что только что обрел.
Я ухо преклоню — а в нем, как в птице,
полет и песня... песня и полет.

* * *

С первым облачком попутным
письмецо мне напиши,
для тебя совсем не трудно:
вдох и выдох — для души.
Взмах пера — наверно помнишь,
на земле почти что так...
Ангел перышко уронит,
и рождается строка
и бежит, как тень по полю
от небесного письма.
Поле — то с тобой пололи.
А теперь одна внимай.
С тех лужков детишек крики
и собачий дружный лай.
С той реки земные лики
улетали к облакам.
Мир вокруг стремился к выси.
Мы вращали в землю вкрепь.
А теперь ты легче мысли
И прозрачнее небес —
окрест.

* * *

Милая, когда друг другу снимся —
где бываем мы? В каких мирах?
Где вдвоем пытаемся укрыться
мы от тел, притихших до утра?
На постелях?
Может быть, в сердцах?

В звездах ли —
что миг сверкают в небе
промельком?
Узнать в толпе лица
невозможно...
Помним, как о хлебе,
о телах у жизни на кострах.
В вечности пока незванны гости...
Потому нам вновь домой пора.
Не в обнимку же снесут к погосту.
Да и есть запросит детвора...

Мы вернемся через то окошко,
что влюблено пялится в рассвет:
ты вздохнешь глубоко в теле брошенном,
я откликнусь эхом сладким вслед.
И прижмутся — руки перевившие —
странники ночные во страстях,
видно, здесь они пока не лишние:
тела два — души две: не разнять...
Рассмеемся, если вспомнить выдастся
про такие странные два сна,
где при жизни души наши видятся...
днесь и дольше б
не расстаться нам.

* * *

У фонаря, как мошкара,
снегов роит испарина,
и ночи выситя гора —
на миг всего подарена —
капелью, сбросившейся с крыш,
до самых дрызг, до вмятин
в снегах, до черных рытвин шин,
до звездных в лужах пятен.

А ты одна за сотни верст!
Но что сегодня дали те?
Я телеграфом в тело врос
твое — все-сонно-тайное...

А если там меня найти
тебе судьба не выпадет,
ищи меня тогда в груди —
там стуком сердца выманит!
Иль рассмотри меня в ночи
у фонаря в испарине,
в капели голос различи —
один я в той компании.

Мильоны звуков в небесах
весной творятся каждою,
я тыщу лет пою и сам,
томим любовной жаждою.
Луны глава у фонаря
от первых дней творения,
и в звездный вклиниваю ряд
стихо-семя-творение...

* * *

Я тебя позабуду?
Только когда умру...
Нечем тогда будет
нежно припасть к нутру.
Выйдет, как за ворота
с собакою погулять,
тело мое до срока,
а может, больше спыля.
И что это за погода,
чтоб выдалася напасть
какого-то там года
ко лбу моему припасть.
А тут пора отрицанью
себя самого почтить
и выболтать миру тайну,
известную всем почти:
что бабочки не бывает-
без куколки и цветка,
и если родился Каин,
то с Авелем на века.
То глупая была шутка...
Забыть можно лишь себя!
Тут столько секунд в сутках...
Одну не прожить без тебя!

* * *

Потому что скворцы прилетели,
умирать можно нам погодить...
Воскресенье — на этой неделе.
День за днем... все весну оно длит.

Пусть сегодня свободой Пальмиры
он отмечен иль смертью посла...
Есть на полке от древнего Рима
сто историй про то ж... и... осла,
про козлищ... а еще — про Явление:
где-то там, у пустынь на краю,
вечно длится одно Воскресенье.
Плачут там... и зовут... и поют...





Продолжение. Начало в № 4, 5 за 2018 год



Макс СЫСОВ

РЕЗЕРВНАЯ КОПИЯ ВОСПОМИНАНИЙ

Рисунок Марины Медведевой

Где-то через неделю мы, экономя на чем только можно, накопили на съем комнаты и стали искать подходящие варианты. В вариантах, как поначалу казалось, недостатка не было: и мой район, и район отца, и все улицы Москвы пестрели объявлениями о сдаче внаем жилплощади всех на свете размеров и конфигураций. «Без посредников», «агентствам недвижимости не беспокоить» — было написано на них. «Замечательно», — думал я, ибо вдоволь наслушался страшилок о подлецах-риелторах, исправно пополнявших когорты российских бомжей. Связываться с «агентствами недвижимости» было одним из последних моих желаний. Но, звоня по телефонам, указанным в объявлениях, я начал постепенно прозревать. Странные вещи стали выясняться. Фантастические.

Во-первых, надпись «без посредников» (как терпеливо разъяснили мне на том конце провода) вовсе не означает, что квартира сдается самим хозяином из первых рук. Это означает только то, что квартиру уже контролирует риелторская контора и другие конторы звонить по этому номеру не должны. Территория за столбена.

Во-вторых, все до единого объявления, которые мне попадались, расклеены не разными агентствами, а одним. Невероятно, но факт: я звонил по тридцати номерам, собранным в различных точках Западного округа Москвы, и попадал в одно и то же место.

Ну и в-третьих, условия, на которых сдавали комнату, оказались в высшей степени настораживающими. Деньги этим ребятам из агентства нужно было

отнести до того, как я увижу, куда меня намерены вселить.

Я обрисовал ситуацию Патрику. Тот посоветовался на работе со своим менеджером, доброй женщиной, которая, как водится, тоже приехала к нам в Москву откуда-то из дальних мест. Менеджер сказала, что такие условия ставят все риелторы, и ничего удивительного нет.

Деваться было некуда. Мы решили, что крупное и серьезное агентство, способное обклеить своей рекламой пятую часть Москвы, не может быть организовано жуликами, и решили рискнуть.

Офис агентства недвижимости находился возле станции метро «Электrozаводская». Подворотня, через которую туда надо было пройти, степенью своего разрушения и загрязнения фекалиями поражала даже мой, привычный ко всяким чудесам взор. Я уж не говорю, что искали мы ее среди заводских проходных и помоек часа полтора. Это насторожило бы любого. Но нельзя забывать: других вариантов у нас не было. Мы совсем отчаялись, нам не везло буквально во всем, а комната, в которой мы почувствовали бы себя хозяевами, должна была стать первым и наиболее весомым аргументом в пользу того, что мы не совсем конченные неудачники и уж точно не беспомощные дети.

В офисе нас встретила гадкая баба, воплощавшая в себе все представления Вадима и Риты о провинциалах. Она подала нам кучу использованной туалетной бумаги, которую называла словом «дóговор». Я изучил пункты сего славного документа, сам не знаю зачем.

Практической пользы это не имело ни малейшей. Риелторы могли повернуть любой из пунктов так, могли эдак. Скорее всего, я прочел договор для вида — но какой у меня был вид? Мальчишка, в помятом и не очень чистом «костюме неудачника» и с соответствующей рожей, приходит снимать квартиру и приносит денежки на блюдечке с голубой каемочкой. Жить ему явно негде, шум поднимать он в случае чего не станет, в суд обратиться не сможет и при «срыве сделки» наверняка уедет туда, откуда приехал (меня постоянно принимали за провинциала). Патрик выглядел и того хуже: он болел и вконец вымотался на работе.

Один пункт все-таки заставил меня насторожиться.

— Тут написано, что я оплачиваю *информационные услуги*, — заметил я. — Информационные услуги, а не съем комнаты.

— Все правильно, — подтвердила риелторша. — Наше агентство предоставляет вам информацию о сдающемся жилье, а сдает его сам собственник.

— Вот как... — произнес я, попытавшись придать лицу умное выражение.

Договор мы подписали, оформив его на Патрика; денежки вручили. Нас познакомили с нашим агентом, Сашей или Женей, не помню уже. Он пожал мне руку, и мы договорились встретиться с ним в 18 часов того же дня возле железнодорожной станции в моем районе.

Пытаясь казаться друг другу и самим себе довольными и выдать овладевшее нами дурное предчувствие за обычное волнение, мы покинули офис. На выходе из подворотни нас несколько воодушевила встреча с парнем и девушкой, готами, которые тоже шли к риелторам. Эта пара выглядела довольной; волнение никак не отражалось на их лицах. Глядя на них, мы решили, что все не так уж и скверно.

В тот день нам еще предстояло съездить в Текстильщики, где Патрику выдавали зарплату. Все деньги мы отдали риелторам, и нам требовалось взять аванс на пропитание, ибо объедать нищего отца было бы последним делом. Пока мы шли к метро, мне поступило несколько звонков. Первый был от мамы Патрика.

В целях конспирации Патрик сменил SIM-карту сразу по приезде в Москву. Однажды он уже убежал из дому, и родители отыскиали его, обратившись в милицию, где запеленговали сигнал его сотового телефона. Теперь такой вариант был исключен, однако ошибка, допущенная мною несколькими днями ранее, дала о себе знать: на даче я позволил матери заглянуть в паспорт Патрика. Она быстро запомнила его адрес и теперь, связавшись с его родителями, предоставила им мой телефонный номер.

Мама Патрика разговаривала очень вежливо, но разговор закончила предупреждением: если дочь в

ближайшее время не вернется в Ростов-на-Дону, они с мужем обратятся в милицию со всеми вытекающими последствиями. Я был уверен, что никаких последствий из этого не вытекало: мы все ж таки жили не в XIX веке, когда родители и мужья имели право при помощи полиции насильно возвращать домой беглых дочерей и жен, — но пообещал маме Патрика постараться сделать все что можно. Я не врал. Я ведь намеревался в итоге урегулировать его отношения с родителями — но не прямо сейчас, а годика так через пол, когда мы окончательно встанем на ноги и сможем озвучить свои условия.

Спустя час позвонила незнакомая женщина и представилась дальней родственницей Патрика. Она сказала, что живет в ближайшем Подмоскowie, готова принять мою персону протеже под защиту, и клятвенно заверила, что не будет возвращать ее в Ростов. Патрик не поверил ни единому слову: он отродясь не слышал о родственниках в Москве. Очевидно, решили мы, это милицкий или частный психолог, нанятый кем-то из наших родителей с целью обмануть нас и завлечь в западню.

В Текстильщики мы съездили быстро и возвратились в мой район, когда еще не было 16 часов. Делать было нечего, мы сели на неиспользуемую полуразрушенную лесенку железнодорожной станции, куда должен был прибыть риелторский агент, и стали греться на солнышке, обсуждая, как заживем теперь, разжившись собственным углом. Патрик спросил, не уйду ли я, когда все останется позади, и он, можно сказать, устроен. Он не хотел, чтоб я оставлял его.

Мимо прошел Иван: он возвращался на электричке из колледжа и увидел нас.

— Сидите?

— Сидим, — ответили мы.

— Здорово.

Нам тоже показалось, что это здорово: сидеть на лесенке и наблюдать за рыночной площадью, располагавшейся тут же, перед станцией. Мы такие независимые и взрослые; мы загадочные и — во многом — трагичные. Кто мы, чем живем — никто не знает. Мы странники.

Иван купил нам буханку черного хлеба (наивкуснейшего) и, посидев чуть-чуть, укатил. А мы два часа ждали, когда пробьет 18. А потом ждали еще два часа. Саша (или Женя — один хрен) не появлялся и не звонил, и телефон его оставался недоступным. Позвонили по номеру риелторского агентства из объявления. Я узнал ответивший мне женский голос по фрикативному «г» и специфическим интонациям. Голос крайне резко отвечал, что если мы заключили договор с Сашей/Же-

ней, то и звонить нужно ему, а кто там приехал или не приехал, ее не волнует.

— А я знал, что это обман, — заявил Патрик, который слышал весь разговор: так моя визави визжала. — Честные люди не говорят «дóговор».

— Пидорасы, — согласился я.

Мы еще чуть-чуть посидели на лесенке. По опустевшей к вечеру рыночной площади бродили отъевшиеся на мясных отбросах бездомные собаки. Они нас облаяли. Собаки, как и всякие мерзавцы, очень хорошо чувствуют, кого можно безнаказанно облаять, а то и искушать. Заморосил теплый майский дождик. Затянутое светлыми облаками небо приобрело на закате золотой, почти как на иконе, оттенок. Погода установилась мягкая и совсем не предрасполагала к мрачным мыслям. На последние 80 рублей (как раз те, которые я wygrеб из коллекции юбилейных монет и берег на черный день) мы купили пива.

— Все будет хорошо, — сказал я, и мы пошли на автобусную остановку.

* * *

Утром мы нашли в нашей коробке с чайными пакетиками таракана, валяющегося на спине и апатично шевелящего лапками. Чай обладал слабыми галлюциногенными свойствами: после него снились красивые разноцветные сны. Маленькое насекомое, впад в измененное состояние сознания, изрядно подняло нам настроение.

Бабушка в свою очередь спешила нас ободрить. Было восьмое мая, канун Дня Победы, и она рассказывала нам, как начиналась война: как страшно было всем, когда с радио пропал Сталин, какие грозные новости носились в воздухе в первые дни. Бабушка была на фронте связисткой; там же она познакомилась с дедушкой. В последний год войны тот раздобыл патефон и всюду его с собой таскал. Патефон у бабушки сохранился: отец завел его и поставил бодренький вальс, который, если верить надписи на пластинке, так и назывался — «Старинный вальс».

Плохо я помню подробности, память совсем негодная... Могу сказать, что Патрик поехал к родственнице, надеясь, что она даст нам денег и провалит ко всем чертям («гордость» и «скромность» в нас заметно поубавились). Родственница Патрика приняла и оставила на ночь.

А следующий день стал самым счастливым в моей жизни.

Мы встретились около полудня в моем районе и сразу отправились гулять. Никогда не было в моем сердце столько надежды, как 9 мая 2007 года. Мы ку-

пили пива и дико напились. Родственница Патрика оказалась на редкость доброй и обходительной особой, никаких безумных требований предъявлять не стала и разрешила жить у себя сколько душе угодно. Более того: она передала Патрику несколько тысяч, с тем, чтобы он вернул их мне, компенсировав понесенные расходы. Я денег не взял. «Пусть пока у тебя хранятся, — сказал я Патрику. — Попробуем еще раз комнату снять».

Мы шлялись по району под ослепительными лучами солнца. Купили торт и съели его на пустыре за железной дорогой, где оставались угли нашего костра и выгоревший изнутри пень.

Всюду гремела музыка, летали воздушные шары... Удивительный день — жаль, что короткий. Счастье было так рядом, его становилось все больше и больше — и вдруг настала пора Патрику возвращаться к родственнице. Мы сели в автобус и неслись сквозь стройные ряды восклицательных знаков, а на светофорах впереди горели сразу все три цвета.

Когда я проводил Патрика до его нового жилища, доехал на метро до Парка Победы и зашагал по железной дороге мимо Поклонной горы, начался салют. Огненные цветы распускались в сумеречном небе прямо надо мною. Грохот орудий бил по ушам. На одежду падали маленькие кусочки салюта, уже потухшие и остывшие. Я был совершенно один, я лег на железнодорожную насыпь и стал глядеть ввысь, упиваясь своей личной Великой Победой и представляя, будто все это великолепие посвящено одной лишь ей.

Когда великолепие кончилось, ступились сумерки, и я вошел в лес. За лесом начинался родной район: он встретил меня, издавшего виды странника, мягким светом фонарей и окон многоэтажных домов.

В квартире никого не было. Я с наслаждением вымылся и завалился на чистую и мягчайшую постель. Подушка, которую не доставали из шкафа с момента моего изгнания, пахла духами Патрика.

* * *

На следующий день я тщательно пересмотрел договор и нашел в нем телефон службы клиентской поддержки. Позвонив по нему, сообщил, что договорился с агентом о встрече, но тот не явился. У меня спросили координаты снятой в аренду комнаты. Я назвал адрес. В ответ риелторы начали нести ахинею, что-де в моем районе свободных комнат нет, а есть одна в Южном Бутово, да и та освободится только через три дня.

— Позвольте, — прервал я. — Вот договор, который я уже заключил и оплатил. В нем русским языком

сказано, что «услуги» будут мне предоставлены в день оплаты. Какие три дня? Какое Южное Бутово?

Ахинея вновь понеслась из трубки. Я попросил номер Саши — мне отказали. Тогда я поехал на «Электровозовскую», в офис риелторов. Там мне сказали, что все вопросы нужно выяснять у сотрудницы, с которой был заключен договор, а ее на месте нет.

— Дайте ее телефон! — настаивал я.

— Мы не предоставляем клиентам личные данные сотрудников.

Пока я сражался с мерзавцами, пришло сообщение от Патрика: «Уезжаю в Ростов». «Когда?» — спросил я. — «Послезавтра».

Весь оставшийся день я строил сообщения родственнице Патрика, пытаюсь заставить ее изменить свое глупое решение, идущее, вдобавок, вразрез со всеми обещаниями. Родственница пространно мне отвечала. Она не ставила мягкий знак на конце глаголов настоящего времени второго лица единственного числа и вообще делала тьму ошибок (а ведь тоже менеджер). Ясно было, что с ней не договориться. Хороший человек не станет писать «Ничего не поделаешь».

«Почему вы отправляете Таню домой? Вы обещали не делать этого». — «Аня обманула меня». — «Как?» — «Не отдала тебе деньги». — «Так я сам отказался». — «Все равно она должна вернута к родителям». — «Она не хочет». — «Ничего не поделаешь».

Стало б мне легче, поставь она мягкий знак? Да. Немного. Всегда обидно, когда твоей судьбой распоряжаются не слишком умные и грамотные люди.

Не успел я оглянуться, как настал час расставания. В последний момент примчался я к Казанскому вокзалу с пакетом, в котором лежали жесткие диски Патрика (их мы от греха подальше отдали на хранение Ивану). До автобуса, идущего в Ростов-на-Дону, Патрика сопровождал длинный парень — сын родственницы. Боялись, значит, что тот сбежит ко мне.

Сын родственницы посмотрел на меня как на говно. Представляю, что ему наплели про мою историю!

Мы быстро попрощались, я отдал Патрику пакет, и дверь автобуса закрылась. Напоследок он шепнул мне: «Приезжай в Ростов», но я не придавал значения его словам. В одночасье все рухнуло для меня. «Я самый больной в мире человек, и мне больше ничего не надо!»

* * *

Возможность снова встретиться с Патриком представилась в конце мая, когда его родители пригласили меня в гости. Они считали, что я спас Патрика в этой

огромной страшной Москве, и были благодарны. Поэтому в Ростов я приехал победителем.

До того я покидал пределы Московской области лишь пару раз в жизни. Ростов-на-Дону очень меня впечатлил, прежде всего тем, что пребывал в таком состоянии, словно немецких оккупантов из него выгнали полгода назад. Конечно, в похожем состоянии находилась большая часть городов бывшего СССР, но в те дни я еще плохо представлял себе масштабы бедствия, именуемого «Замкадье».

Не могу сказать, что разрушенный город вызывал отрицательные чувства. Я любил развалины, и ростовские постапокалиптические пейзажи представлялись желанной экзотикой. Не мне же суждено всю жизнь сводить среди них концы с концами.

Патрик встретил меня на автовокзале. Жара стояла страшная, но он был в длинных джинсах и клетчатой рубашке с длинными рукавами — своим любимом наряде. В шортах, бриджах или майке я никогда его не видел. Он скрывал от людей свои покрытые шрамами руки, а также старался быть похожим на парня. Я его отчасти понимал, ибо сам одеваюсь в жару так же, чтобы скрыть от людшек свои непомерно тощие руки и ноги (пару раз я отхватывал из-за них, да и без того сложно было переносить презрительные взгляды и колкие замечания от незнакомых людей на улице). Жары мы не боялись: московские ночи научили нас, что жара — не враг.

Мы сразу же поехали к Патрику домой. Он жил в дореволюционном кирпичном частном доме со слегка покосившимся фасадом (во время войны перед домом взорвалась бомба). Окна выходили прямо на ограду судоремонтного завода, который, впрочем, не подавал признаков жизни и практически не виднелся за деревьями и бурьяном, заполонившими его территорию. На самой улице напрочь отсутствовало асфальтовое покрытие, хотя Патрик уверял, что еще несколько лет назад его кое-где удавалось рассмотреть. На саму улицу общественный транспорт не ходил, и от автобусной остановки требовалось идти по не менее живописным переулкам, ведущим мимо заброшенных и полузаброшенных частных домов, полувековых дубов, проросших сквозь асфальт прямо на проезжей части, и подозрительных компаний бритых наголо граждан, распивающих в жаркий южный полдень водку под сенью покосившихся стен.

За высоким железным забором, ограждавшим дворик Патрика от враждебного мира, меня встретил цепной пес невероятных размеров и злобы. Тут же был почтовый ящик из толстой жести, который пес в припадке ненависти покорежил своими зубищами, «как Тузик грелку». Каким-то чудом ему не удалось

порвать многокилограммовую цепь, вроде якорной, на которую его приковали, иначе не писал бы я этих строк.

Внутри дома царила кондиционерная прохлада и кошки (семь штук, если память не изменяет). Было здорово сидеть на кухне, в окружении их и Патрика, пить прохладный сок и наслаждаться покоем. Чуть позже я познакомился со Снежаной и Валентином, родителями Патрика (Снежану Патрик называл Гитлером). Они показались мне людьми положительными, в первую очередь потому, что то и дело выказывали благодарность за «спасение» Патрика. Я не стал задавать им важные вопросы, решив подождать, пока наше знакомство окрепнет.

В Ростове я пробыл три дня. Снежана и Валентин отвезли нас на пикник на левом берегу Дона. Сами мы с Патриком посетили несколько интересных мест, в частности девятиэтажку, в которой тот провел детство (впоследствии квартира была продана) и которой была посвящена повесть «9 этажей». Попили пива в подъезде, поразившем меня тем, что в плитах пола на лестничных площадках были пробиты сквозные дыры, а батареи и трубы центрального отопления были выломаны из несущих стен с таким цинизмом, что в некоторых местах обнажилась арматура железобетонных блоков. Кое-где спилили на металлолом и лестничные перила, а в черном-черном лифте вандалы разбили молотками половину кнопок. Сходили мы и к Парамоновским складам: это единственная достопримечательность Ростова-на-Дону (помимо самого Патрика). Парамоновские склады представляли собой ряд расположенных вдоль берега Дона кирпичных зданий в стиле «лаконичного кирпичного декора с мотивами романского зодчества и русского классицизма». Никто не знает, в какой период нашей трагической истории они из промышленного объекта превратились в романтические руины. Так или иначе, крыши и перекрытия их давным-давно сгнили и рухнули, а часть зданий внутри затопила родниковая вода. В ней, совсем как в постапокалиптическом кино, плескались люди: древние строения превратились в настоящую купальню.

Наш отдых был недолог. Я узнал, что Патрику вскоре предстоит лечь в психиатрическую больницу. Поначалу я думал, что это родители на него надавили. Но Патрик ведь хотел походить на своего автобиографического героя, а факт, что он никогда не бывал в дурдоме, портил всю концепцию. Были ли у Патрика проблемы с психикой? В определенной мере — да. Но признать человека психом легче легкого. А ты попробуй пойми его.

В те дни Патрик казался почти здоровым (если не забыть, что он приехал за тысячу километров черт зна-

ет к кому со ста рублями в кармане). Конечно, я не знал, что творилось у него в голове. Он говорил мне, что болен, что тревожится за свое психическое состояние. Я отвечал ему: «Наплюй». Узнать, что значит «сходить с ума», мне еще только предстояло.

Патрик и его родители пообещали, что после курса лечения обязательно пригласят меня. Всего месяц ожидания — и я снова увижу Патрика.

Под вечер третьего дня мы поехали на автовокзал. Когда я сел в автобус, Патрик не ушел: все стоял под окном. Автобус не отправлялся долго — и до последней секунды на меня был направлен этот взгляд. Я был рад видеть его, но на фоне привокзальной площади, лысых татуированных ростовчан и мятых «посаженных» автомобилей с наглухо тонированными стеклами Патрик казался таким маленьким и беззащитным, что мне хотелось разбить стекло и крикнуть: «Беги скорее домой!» Патрик и сам знал, какой он маленький, однако продолжал стоять. Ведь за спиной его довольно скрестил руки апостол Петр. Страж рая сделал все, чтобы изгнать меня. Патрик знал это, а вот мне было невдомек, что, услышав тихое шипение закрывающейся автобусной двери, я стал навсегда отрезан от счастья: райские врата затворились, и сиденье подо мной устремилось вниз.

ЧИСТИЛИЩЕ

Пытаюсь вспомнить, что было потом, — и холодею от ужаса. Там дыры, там моя жизнь уже поглощена небытием. С большим трудом выхватываю из темноты какие-то образы из тех дней. Они сохранились только благодаря привязке к знаковому для моей жизни событию — поступлению в университет.

Да-да, я готовился поступать — и по всем помойкам, подъездам, квартирам и мостам возил в рюкзаке тома классической литературы.

В школе мне привили столь дикое отвращение к русским писателям, что во время учебы у меня и мысли не возникало прочесть что-либо из программы. Теперь же, с немислимыми усилиями преодолевая ненависть и тошноту, брался я за Толстого, Достоевского, Чехова, Пушкина и прочее из *sancta sanctorum* русских интеллектуалов. По возвращении из Ростова штудии усилились. Я возлагал на университет огромные надежды. Меня еще не покинула гибельная иллюзия, будто жизнь можно «начать заново», что человек способен вытащить себя за волосы из болота, словно Мюнхгаузен (который, ясное дело, наврал). И потом, университет должен был спасти меня



от армии. Я точно знал, что, оказавшись под ружьем, непременно погибну в адских мучениях. Армия, она ведь как школа, только ублюдков больше и домой вечером не уйдешь.

Запершись в бывшей бабушкиной комнате, я днями напролет читал толстые книги. И только одно могло меня отвлечь. Мать. Она не в силах была оставить историю с Патриком: ФСБ подобралась к нам слишком близко. Еще чуть-чуть — и чай с полонием обеспечен.

«Ну подумай сам, — повторяла она, — ты всю жизнь жаловался, что никому не нужен, что никто не дружит с тобой и никому ты не нравишься. И вдруг появляется такая красивая баба. Разве это возможно? Понятно, что она просто охмурила тебя, чтобы упрятать в психушку и получить в награду от ФСБ нашу квартиру. Она сама об этом писала».

Мать имела в виду раннюю повесть Патрика «С ума и обратно», где главный герой стараниями милостивой, но вероломной и падкой до недвижимости жены

действительно оказался в сумасшедшем доме (правда, потом всем отомстил).

Мать и раньше-то считала меня недоумком, а узнав историю с риелторами (которую я ей по привычке доверил), разочаровалась в моем интеллекте окончательно. Любые мои поступки представлялись ей с той поры или диктуемыми агентами ФСБ из Интернета, или же совершаемыми под действием психотропных средств, которые агенты добавляли нам в еду. Выход она видела только один: бросить все и уехать в Северную Корею. Отчего-то именно эта таинственная восточная страна, предельно закрытая и ошестинившаяся на весь мир пушками и ракетами, представлялась ей наиболее надежным убежищем от политических репрессий.

Готовясь к переезду, мать стала распродавать имущество. Первым ушел один из двух дачных участков. Мать продала его за бесценок гнусным, подлым и наглым армянам, моментально превратившим его в

свалку. Следующим должен был стать участок с домом, где я провел детство. Вскоре и на него нашлись покупатели, однако сделка затягивалась: агенты ФСБ мешали накопить денег на отъезд и всячески тормозили оформление документов. Это ввергало мать в ужас. И совсем плохо ей становилось, когда я заявлял, что не хочу в Северную Корею.

В поисках угроз ФСБ она стала обходить не только наш подъезд, но и окрестные дворы. Выкрад у меня распечатанные на принтере рисунки Патрика, она здорово напугала бомжей у помойки, налетев на них с вопросами о зашифрованных в них смыслах.

Из-за происходящего я очень переживал. Поскольку выхода не предвиделось, мои негативные эмоции стали выливаться в болезненные формы, которые я позаимствовал у Патрика. Первым делом я начал писать свои мысли на обоях в комнате. «С добрым утром, мистер Фриман», «Говорят, высокая поэзия хорошо влияет на потенцию», «Йа гигантский слизень» и прочие сентенции, смысл которых непонятен даже мне самому, и поныне украшают стены бывшей бабушкиной комнаты, куда я со временем переселился. Надписей было мало, и я попробовал разрезать себе руки, чтобы «боль душевная трансформировалась в боль физическую». Увлекался и тушением сигарет о кожу. Я не курил, но специально ради этого приобрел пачку «Винстона».

Садомазохизм помог на время отвлечься от мрачных мыслей и вновь сконцентрироваться на учебе.

* * *

Наконец на даче дело сдвинулось с мертвой точки, и покупатели въехали в наш дом. Мать стала вывозить мебель в Москву. Иной задался бы вопросом: куда ее ставить в нашей тесной квартирке, забитой старым хламом? Да и зачем нам эти вещи нужны? (На дачу мы всегда вывозили особенно старый и бесполезный хлам.) У матери подобных вопросов не возникло. К чему вопросы, когда есть освободившаяся после смерти бабушки комната? Наличие в комнате моих вещей препятствием не считалось.

Ситуация должна была привести к скандалу, истерикам, воплям. Но накал страстей был слишком велик, чтобы дело обошлось простым скандалом. Чересчур много накопилось в наших сердцах зла и дерьма, и плотина рассудка прорвалась.

Я заявил матери, что она разрушила мою жизнь. Мать ровно настолько же была уверена, что это я разрушил ее жизнь, отказавшись уехать в Северную Корею.

Я стал крушить все вокруг. Подобные погромы я устраивал и раньше, но тот раз превзошел все, и вот почему. Я прощался в тот раз с детством. В предыдущие разы я не выходил из себя, а только делал вид, что выхожу. Зачем? А зачем кричит ребенок? Чтобы обратили внимание. Чтобы что-то сделали. Оттого скандалил и я. Время шло, для привлечения внимания матери требовалось все больше сил. Я стал кричать на нее матом. Потом — крушить вещи. Но и это я делал в прошлые разы сознательно. Теперь же пробил час — и глухота матери достигла такой степени, что пришлось крикнуть слишком громко. В мозгу моем образовалась трещина — маленькая такая, — но с тех пор она только расширяется, и в конце концов через нее утекут мои воспоминания и моя личность.

Я крушил, крушил, бил, ломал, пытался зарежаться спасенным с дачи серпом, проклинал мать и совсем утратил чувство реальности. Я видел, что больше никогда не смогу до нее докричаться, не будет она больше слышать меня, и голова моя раскалывалась от невозможности пробить эту стену, и кричал я уже не для нее, а просто потому, что не мог не кричать.

До того дня я не представлял себя, к примеру, парализованным: просто в голове не укладывалось, как это нога или рука может перестать воспринимать отдаваемые мозгом команды. Это же так естественно и само собою разумеется! И точно так же не представлял я, что значит «сплететь с тормозов»: как люди, будучи пьяными или выйдя из себя, могут совершать неконтролируемые поступки.

Я еще помню тот день. Помню, что делал я, что мать. И помню, что что-то сделалось *само*.

Мать увидела *это* и куда-то сбежала. Я остался посреди комнат, засыпанных осколками стекла, фарфора, обломками стульев и табуретов, перевернутыми диванами, садовым инвентарем, с надписями кровью на стенах и трясущимися поджилками. *Оно* посетило меня на мгновение и тут же ушло; осталась обычная злость и ненависть. Я был страшен и дик в своей беспомощности и нелепости. Нет ничего нелепее и беспомощнее вышедшего из себя ничтожества. В школе или армии меня поставили бы на место одним хорошим щелбаном. У несчастной матери таких щелбанов не было.

Чтобы как-то успокоиться, я решил прогуляться вокруг дома. Возле подъезда уже поджидала милицмейская машина. Двое сотрудников обступили меня слева и справа, давая понять, что за головомойкой дело не станет, а двое красивых девушек-психологов стали задавать мне и подросевшей матери вопросы. По изрезанным до самых локтей рукам, сигаретным ожогам,

длинным спутанным патлам и ненависти во взгляде они моментально поняли, что делать им со мной нечего. Протокол, однако, составляли долго — как раз чтобы скоротать время до приезда столь любимой Патриком белой машины с цифрами 03.

Санитары и дежурный психиатр не погнушались осмотреть поле битвы в нашей квартире самолично. После этого наводящих вопросов не потребовалось. Аккуратно поддерживая за локти, санитары усадили меня в скорую помощь и повезли куда-то. На месте я еще раз был допрошен — на этот раз медицинской комиссией — и препровожден в палату для пациентов средней буйности. К тому времени все уже спали; пожелав спокойной ночи филологическому факультету, уснул и я.

* * *

Вообще-то, я попал в психушку не впервые. Первый раз был классе в седьмом.

Однажды я пришел в школу, наступив на «мину». Перед уроком одноклассницы с чувствительным обонянием намекнули, что неплохо бы ботинок почистить. Я вырвал из тетрадки лист и отправился в туалет, чтобы счистить «мину» и вымыть обувь под краном. Счистить-то я счистил, но при взгляде на перепачканную бумажку ко мне в голову пришла гениальная в своей простоте идея. Бумажку эту я выкидывать не стал, а аккуратно сложил в фантик, говном вовнутрь, и спрятал в карман. Когда через пару уроков ко мне стали подбираться недруги, я фантик из кармана извлек, развернул и, аки вурдалаков святым крестом, всех улюбодков им от себя отогнал.

Новость о чудотворном говне быстро распространилась по школе. Учителя, завучи, психологи — все схватились за голову, заохали да закудахтали: я опозорил лучшую школу района. И, дабы меня оттуда не пидорнули, матери с бабушкой пришлось зашевелиться.

Мы обошли десятки психологов и психотерапевтов. В их кабинетах я делал то, что умею лучше всего на свете: ныл, ни в чем себя не стесняя. Я рассказывал про учителей, ненавидевших меня, про ма-
някя, про гопников, про то, что мать с ними всеми в сговоре. Честно говоря, я и вправду считал, будто все окружение для того только и существует, чтобы сжить меня со света. Мы с Патриком как-то обсуждали *мировой жидомасонский заговор против человечества*. Патрик сказал, что куда охотнее он верит в мировой заговор всех против него. Вот так и я.

Ничего личного, но психологов с тех пор я недолюбиваю. Составив о них образ по кино и книгам, я

представлял, что найду в их кабинетах понимание без осуждения. Нашел же я ровно обратное: равнодушное презрение, плохо скрываемую гадливость, миллионы глупых и оскорбительных вопросов: «Почему же ты не дашь им сдачи?», «Может быть, тебе стоит заняться своим физическим состоянием?», «Ты не пробовал *не обращать на них внимания?*»

Ну как я мог объяснить им, что против полноценного человека я — как против танка, и мои удары никому не причиняют вреда, а только злят и раздражают? Что я висел на турнике, поднимал гантели, отжимался, но все равно оставался в разы слабее любого сверстника, проводящего свободное время у компьютера или телевизора и в глаза не видевшего спортивные снаряды. Что попытаюсь я кому-то «дать отпор», меня вообще убьют.

Нет, психологов я не виню. Наверное, они действительно *желали добра* (ну или просто выполняли, как могли, свою работу). Да и как бы они мне помогли? Горбатого-то могила исправит. Но от подобных вопросов я б на их месте постарался воздержаться. Разве что совет *не обращать внимания* был достаточно здравым, да только я и без психологов всю школьную жизнь придерживался данной стратегии.

Не верю я в психологию. Нет, отчасти верю. Психология описательная, несомненно, достойна права на существование. Еще есть психология манипулятивная: в ее действенности сомневаться не приходится. Но психология терапевтическая? Вот пришел на прием человек, у которого кто-то умер. Ну как ему помочь? Вот пришел человек не особенно красивый, неинтересный, занудный и невезучий — и жалуется, что никто его не любит. Как ему помочь? А вот школьник приходит, говорит, что все его пытаются уничтожить. Разве можно ему помочь? Только деньги они тянут да сознанием собственной значимости тешатся.

Поняв, что каши со мной не сварить, психологи перенаправили меня к психиатрам. Психиатрам же ситуация, когда у человека совершенно нет друзей, зато кругом одни враги, была хорошо знакома. Так я попал в какой-то детский реабилитационный центр, ну или, попросту, в дурдом для малолетних.

Оказавшись там, я испытал несколько противоречивые чувства, «когнитивный диссонанс», как это нынче модно обзывать. Подобно большинству обывателей, я воспринимал психушку как наказание. Но почему был наказан я, а не те, кто превратил мою жизнь в ад? Хех. Человечишко ведь всегда винит окружающих. Ему, видите ли, неприятно сознавать, что с ним что-то не так. Надо было побыть в той дурке подольше, глядишь, и подлечили б. Конечно, живительных пинков в жизни

меньше бы не стало, но благодаря таблеткам было бы легче *не обращать внимания*.

Они заманили меня в дурдом обманом. Хитрый психиатр предложил отдохнуть от вражеского окружения в стенах его заведения. Пробыв там день, я стал считать этого психиатра злейшим своим врагом.

Ничего ужасного в детском реабилитационном центре не было. Больничка как больничка, только на улицу первые две недели не выпускают (пока таблетки не подавят желание совершать глупости), да старухи-санитарки уж больно навязчиво следят за своевременным приемом целебных снадобий. Но я, привыкший к домашней обстановке, так любивший маму с бабушкой и лишенный возможности видаться с ними, окруженный бабками и психами, совершенно потерялся. (Опять вру себе, между делом — но вру. Что значит «так любивший маму с бабушкой»? Любил-то я их хреново. Иначе почему я поступил так с бабушкой? И почему пишу такие вещи про собственную мать? Не любил я их — просто был привязан, как детеныш какого-нибудь зверя, только, наверное, сильнее, ибо осознавал свою слабость и ничтожность, а мать с бабушкой были единственными, кто хоть как-то мог меня защитить от этого дерьмового мира).

Безуспешно попытавшись завязать знакомство с красивой девочкой-блондинкой, которую звали Киара, поиграв в шахматы с дауном (даун выиграл) и пообещав, я сел в угол и стал горько плакать. Садисты, которых тут лечили, немедленно нашли новое развлечение.

Ночью вообще наступил кошмар. В палате лежали человек восемь, и они не были настолько прибиты препаратами, чтобы спокойно уснуть. Как и любые дети на их месте, они принялись буйствовать. Один больной пидорас вытер жопу моей подушкой, что окончательно меня деморализовало. Бабки-санитарки, столь активные днем, мирно спали в другом конце коридора и не мешали мелким безумцам хулиганить.

На следующий день приехала мать. Она тоже переживала и хотела забрать меня, но вредная бабка-психиатр стала ее отговаривать. С большим трудом мы отпросились на прогулку по территории дурки. Едва выйдя за пределы больничных стен, я дал деру в сторону забора, перемахнул на другую сторону, потеряв в процессе тапочки, и в одних носках, пробравшись зайцем в метро и на электричку, доехал до родного района. Поскольку родители были заодно с психиатрами, я спрятался у Сашки. Мать быстро меня там нашла и забрала домой, пообещав, что никогда больше не отдаст в психушку.

Я рассказал эту историю Патрику, и тот был горд, что его друг — настоящий псих, сбежавший из сумасшедшего дома. Он немного грустил, что сам не получил столь интересного опыта.

* * *

Ни черта не помню. Не могу толком описать, чем та больница отличалась от этой. Да и зачем описывать? — уж на психбольницы-то я насмотреться успею.

Могу сказать, что порядки в этой психушке были строже, чем в детской. Она очень походила на школу, только уйти оттуда было нельзя. Тоже концлагерь, только суровее. Хорошо еще, что до моего 18-го дня рождения оставался целый месяц, и добрая комиссия положила меня в подростковое отделение, а не во взрослое, где, помимо прочих радостей, можно было нарваться на уголовников, проходящих принудительное лечение.

Меня разбудили слова: «Папа, открой глазки». Я открыл. За дверным проемом, ведущим в смежную палату, я увидел сидящего на кровати человека. Его рука находилась в штанах. «Папа, открой глазки», — послышалось откуда-то из-за его спины. И снова послышалось. И снова. Навязчиво и монотонно, призывно и в то же время механически. «Папа, открой глазки».

Он повторял это еще часа два, пока все не проснулось. В этот раз в палате было человек двадцать и еще в районе десятка — за стенкой. Впрочем, те были не людьми, а кочанами капусты в человеческом обличье.

Постепенно обрисовалась и ситуация в моей собственной палате. В глаза сразу бросились трое фашистов, бритых наголо и сплошь покрытых наколками со свастиками и орлами. Они были душой компании. В психушку угодили за неоднократные нарушения закона, чем гордились. Присутствовали тут и малолетние алкоголики, допившиеся до того, что не в силах были самостоятельно ходить: им ставили капельницы. Многие подростки здесь не имели собственных крыш над головой. Один мальчик, лет 15 (но выглядевший на 11), родом из автобусного парка, пытался сбежать через форточку и теперь лежал с загипсованной ногой. Под гипсом завелись вши.

Позавтракав, психи стали развлекаться как могли. Кто-то кидал тапки в одного несчастного паренька, раздражающе раскачивавшегося на кровати. Фашисты травили истории про битвы с «черножопыми». Кто-то играл в карты. Овощ в соседней палате стал повторять новую фразу: «Папа повернул серп лица». Я пытался читать захваченную из дома «Войну и мир», однако таблетки, которыми меня угостили перед сном и на завтрак, начали действовать, и смысл текста ускользал.

Я лежал и думал, не пишет ли мне сейчас Патрик, не обижаются ли он, что я не отвечаю на СМС-сообщения (телефон санитары при отъезде взять не разрешили, якобы ради того, чтобы его не украли).

Ближе к вечеру меня принял психиатр: старый добрый интеллигент, олицетворявший гуманистическое направление в психиатрии. Он внимательно меня выслушивал и печатал конспект на огромной старинной пишущей машинке через копировальную бумагу (в 2007-м уже мало кто знал, что это такое, но до психбольниц прогресс доходит медленно и в извращенных формах).

Психиатр перевел меня в самую спокойную палату, подальше от говорящих овощей и фашистов. Хотя и тут строгости хватало. После завтрака жителей нашей и соседних трех палат перегоняли в так называемый класс — большое помещение, где работал телевизор, стояли столы с журналами и принадлежностями для рисования. В «классе» психи торчали весь день, отлучаясь только на обед. Кого-то выпускали погулять: как и в детском «реабилитационном» центре, это происходило не раньше чем через две недели после поступления пациента, да и то лишь при условии, что тот показал себя пай-мальчиком. За «классом» наблюдали несколько санитарок. В туалет выпускали только по расписанию и всем скопом. Унитазов там не было: их заменяли вмонтированные в пол маленькие ванночки. Слив не работал: его роль выполнял специальный дежурный псих с ведром воды. Наверное, корячиться над вмонтированной в пол ванночкой, в окружении курящих и гогочущих пациентов, под бдительными взглядами санитарки, осознавая, что если не получится сейчас, то следующий раз представится еще нескоро, — вот, наверное, самое деморализующее, что было в психбольнице.

Зато я познакомился с двумя классными ребятами из соседних палат: в дурдом они попали, убегая от реальности. Одного звали Скорп. Он разрушил мозг, нюхая газ из зажигалок, клей и бензин. Второй — Слэп — был начинающей рок-звездой и прикалывался по спидам. Мы втроем валялись под лавками в дальнем углу «класса» и под песенки «Фабрики звезд» и Верки Сердючки из зомбящика болтали о мироустройстве. Слэп исполнял нам метал-партии при помощи гроулинга (вокальный прием такой), а санитарки думали, будто у него начинался приступ буйства, и отводили на уколы. Скорп набил морду невоспитанному психу, обидно отозвавшемуся о его матери. В отличие от «друзей», эти ребята поняли с полуслова, кто я, почему здесь оказался и для чего мне непременно нужно видеть Патрика. Стали думать, как мне поскорее

оказаться на воле. Сбежать из сумасшедшего дома было невозможно. Оставалось уповать на доброту и разум психиатра и вести себя как можно сдержаннее. Главное, понял я, чтобы никто не заподозрил, будто я могу представлять опасность для себя и для общества. В противном случае меня могли мариновать здесь и два месяца, и четыре.

Один раз меня в суицидальных наклонностях едва не уличили. Я забыл упомянуть, что за несколько дней до попадания в психушку меня сшибло с велосипеда тросом. Случилось это вечером, в сумерках, когда я хуже всего вижу. В те времена в Москве автоладельцы взяли моду «столбить» парковочные места при помощи тросов, цепей, палок и железяк. И вот один такой трос, натянутый в неожиданном месте, и спёшил меня с двухколесного скакуна, перерезав заодно руки на уровне локтей. Если бы кто догадался натянуть трос на уровне шеи — не писал бы я этих строк.

На одной руке рана быстро зажила, а на второй начала гноиться. Гной пропитал рукав моего больничного халатика, и это заметила санитарка. Очень долго пришлось объяснять, что это не попытка суицида. Еще раз похвалю доброго психиатра, который все понимал и верил мне, ибо большинство людей в мои истории поверить не могут, думая, будто я так рисуюсь. В общем, полили мне рану неведомой фиолетовой жидкостью, отчего та стала выглядеть красиво и психоделично, хотя заживать по-прежнему не спешила.

Конечно, смешного было мало. В полурасслабленном от таблеток состоянии я потихоньку начал примерять на себя философию Патрика. После окончания школы я почувствовал прилив энергии, желание бороться, строить новую жизнь. Я думал, что теперь, когда я взрослый и мне больше не мешают подонки, я всего добьюсь. Но нет. Плохому танцору всегда что-то мешает. Постепенно оценивая собственную беспомощность, я старался больше не стесняться ее и не пытаться казаться сильнее. Я впервые ощутил себя настоящим ничтожеством, раздавленным насекомым, бесправным и бессильным, и постепенно начал получать от этого удовольствие. Я думал обо всем этом не совсем всерьез, а так, словно философия была штанами, которые я прикладываю к поясице перед зеркалом в магазине одежды. «Надеть» эти «штаны», окончательно сдаться и пустить все на самотек мешала только мысль об авторе сей концепции.

Продолжение следует.





Мик Стернер СЕНТ-ПОЛ

Рубрику ведет
Евгений Никитин



Мик Стернер Сент-Пол (1894—1972) — американский полковник и писатель. Автор рассказов для детей, научно-фантастических произведений, в том числе сборника рассказов «В Замбоанге у обезьян нет хвостов», романов «Барабаны Тапайоса» и «Трояна». В «Юности» (№ 10—12 за 2016 год) печатался его рассказ «В космос». Рассказ «Ужас морей» был опубликован в журнале *Astounding Stories of Super-Science* за декабрь 1930 года.

Евгений Никитин родился в 1992 году. Заведует отделом зарубежной литературы журнала. Как переводчик публикуется в «Юности» с 2010 года. Лауреат премии зеленого листка в номинации «Начинающему автору» журнала за 2013 год. Печатался также в «Независимой газете», журнале «Плавучий мост». Выпускник Института лингвистики и межкультурной коммуникации Московского государственного областного университета по специальности «перевод и переводоведение», учится в магистратуре Российского государственного гуманитарного университета.

Продолжение. Начало в № 3, 4, 5 за 2018 год

УЖАС МОРЕЙ

Доктор включил еще несколько прожекторов и обшарил ими дно. Мощные лучи освещали темные воды на добрые четверть мили, однако ничего необычного заметить так и не удалось. Тогда ученый снова переключил внимание на затонувший корабль.

— Отсюда не видно ничего необычного, — заметил он после тщательного осмотра. — Я велю «Миннеконсину» описать круг, а мы осмотрим «Аретузу».

После отданного по телефону приказа находящееся где-то очень высоко над их головами судно действительно сделало круг на месте кораблекрушения, так что Карнс с доктором смогли разглядеть затонувшее судно в подробностях со всех сторон. И, тем не менее, ничего подозрительного не обнаружилось. Сфера зависла прямо перед дырой в боку. Доктор Берд повернулся к спутнику:

— Я надену водолазный костюм и осмотрю изнутри: нам нужна информация. Если там и было

что-то, представляющее угрозу, то сейчас его, скорее всего, уже нет.

— Не надо, доктор! — вскричал детектив. — Помните, что случилось с другими водолазами!

— Мы не знаем, что с ними случилось, Карнс. Как бы то ни было, явной угрозы сейчас нет. Мне придется забраться туда, иначе мы ничего не добьемся. Всю информацию, которая у нас есть на данный момент, можно было бы получить, просто опустив к «Аретузе» подводную камеру.

— Давайте лучше я пойду.

— Прости, старина, но вынужден отказать: говоря откровенно, я не могу рассчитывать, что ты правильно оценишь то, что можешь обнаружить внутри, а выйти вдвоем нам нельзя.

— Почему нельзя?

— А кто тогда заполнит шлюз воздухом, чтобы мы вошли внутрь? Нет, это задача, которую следует выполнять в одиночку, и именно мне. Пока меня не будет, внимательно следи за всем. Если

заметишь что-то необычное, сразу свяжись со мной.

— Связаться? Каким образом?

— Через этот радиотелефон. В мой шлем вмонтированы настроенные на нужную частоту приемники, так что я услышу тебя, хоть и не смогу ответить. Я выйду ненадолго, запас кислорода у меня небольшой — примерно на полчаса. Помоги мне надеть костюм и держи ухо востро. Если что-то случится, своевременное предупреждение может спасти мне жизнь.

С помощью Карнса доктор облачился в глубоководный костюм и надел шлем. Затем медленно вышел в шлюз и закрыл его за собой. Карнс закрепил внутреннюю дверь шурупами, после чего открыл клапаны во внешней двери и заполнил шлюз водой. Наконец он открыл внешнюю дверь и вышел наружу, держа в одной руке длинный стальной брусок с крюком на конце, а в другой — водонепроницаемый фонарь. Затем на секунду остановился, задумавшись, вернулся в шлюз и взял с собой тяжелый гаечный ключ, которым отворачивал шурупы. Доктор прицепил ключ к поясу, помахал детективу рукой и направился к кораблю.

Дыра была слишком высоко, но ученый зацепил концом крюка стык металлических пластин и медленно, с трудом вскарабкался внутрь. Когда он скрылся в недрах «Аретузы», Карнс вздрогнул и внезапно осознал, что все это время смотрел на своего спутника, совершенно позабыв об обязанностях дозорного. Он немедленно переключился на фонари и обшарил ими дно — безрезультатно.

Минуты текли томительно медленно, словно часы. Карнсу казалось, что они живут под водой уже целые недели, нервы были на пределе, и он готов был вот-вот завопить. Удержала мысль, что доктор может принять крик за сигнал тревоги и побоялся выйти наружу. Часы показывали, что Берда не было двадцать пять минут. Детектив подошел к радиопередатчику.

— Доктор, — начал он медленно и четко, — вы находитесь под водой уже почти тридцать минут. Ничего особенного не происходило, я надеюсь, что вы скоро вернетесь.

Он уставился на отверстие в боку «Аретузы» и стал ждать. Пять минут, десять... Никаких признаков возвращения Берда. Карнс снова взял передатчик.

— Прошло уже больше получаса, доктор, — произнес он умоляюще, — если с вами все в порядке, ради бога, возвращайтесь. Я схожу с ума от беспокойства.

Прошло еще пять минут. С подбородка мужчины ручьем струился пот. Вдруг он издал вздох облегчения и откинулся назад: из дыры медленно, еле-еле карабкалась фигура в скафандре. Доктор рухнул на дно и несколько секунд лежал неподвижно, прежде чем подняться и с трудом зашагать к подводному аппарату. Он зашел в шлюз, нечеловеческим усилием вставил на место внешнюю дверь и трясущимися руками затянул шурупы. Затем Берд нашарил и закрыл клапан, махнул Карнсу и осел на пол.

Карнс дрожащими руками впустил в шлюз воздух. Вода постепенно уходила. Детектив думал, что доктор закроет внешний клапан, как только шлюз опустеет, однако Берд не шевелился. Тогда его спутник сорвал удерживающие внутреннюю дверь шурупы и навалился на нее всем телом. Дверь осталась неподвижной. Тут ему пришла идея отсоединить воздушный клапан. Воздух из шлюза с шипящим свистом рванулся внутрь сферы, и Карнс наконец открыл тяжелую дверь. Поток морской воды ударил ему в ноги. Мужчина потянулся к клапану. Из-за сильного напора перекрыть клапан получилось не сразу, но, собравшись с силами, Карнс все-таки сумел это сделать, и поток иссяк.

Втащить тяжелого ученого в глубоководном скафандре через узкий дверной проем было за пределами физических возможностей, так что детектив с трудом протиснулся в шлюз и дрожащими пальцами открутил шлем скафандра. Затем набрал пригоршню воды и плеснул доктору в лицо. Душа ушла в пятки: никакой реакции не было. Мужчина бросился к радиопередатчику — приказать поднять аппарат наверх, когда его взгляд упал на кислородный бак. Чтобы вставить шланг на место, потребовалась всего секунда, а спустя несколько мгновений живительный газ уже бил ученому в лицо. Тот закашлялся и открыл глаза.

— Сбавь напор, Карнс, — попросил он слабым голосом. — Передозировка кислорода вредна.

Карнс убрал шланг. Берд, пошатываясь, сел и сделал несколько глубоких вдохов:

— Еле выкарабкался, старина. Дай мне руку, я обопрусь.

С помощью детектива он забрался внутрь. Карнс закрыл за собой дверь. Доктор медленно снял костюм и лег на пол. Дышал он по-прежнему прерывисто.

— Спасибо за предупреждение, что время истекает. Я знал, что кислорода осталось мало, но попал в ловушку и не сумел сразу высвободить-

ся. Я даже подумал, что настал мой смертный час...

— Что-нибудь удалось обнаружить? — спросил взволнованный детектив.

— Удалось, — мрачно откликнулся ученый. — Золота на борту «Аретузы» больше нет.

— Оно пропало?

— До последнего слитка. В сейфе зияет дыра, засовы отодвинуты, дверь распахнута. Золото украли.

— Может быть, его украли до того, как корабль затонул?

— Разумеется, мне пришла эта мысль, так что я все тщательно обследовал. И точно знаю, что кража совершена уже после кораблекрушения.

— Как вы определили?

— Во-первых, дыру прорезали подводным газовым резаком. Во-вторых, посмотри сюда.

Доктор закатил брюки и показал спутнику ногу. Тот не удержался и вскрикнул при виде огромных фиолетовых синяков.

— Откуда это?

— Когда я вошел в хранилище, то угодил прямо в медвежий капкан. Его установили специально для тех, кто сюда доберется. Кто-то побывал на «Аретузе» после того, как она затонула, разгра-

бил ее и позаботился, чтобы забравшийся внутрь водолаз остался там навсегда. К счастью, я захватил гаечный ключ и сумел высвободиться. Большинство водолазов не столь предусмотрительны.

— Но кто мог совершить такое?

— Именно это нам предстоит выяснить. И сделаем мы это явно не здесь, на дне. Скажи, чтобы нас подняли наверх. Только ради всего святого, Карнс, ни слова о том, что корабль разграблен. Пусть думают, что я не сумел попасть внутрь. Скоро мы ненадолго вернемся в Нью-Йорк: я хочу немного усовершенствовать аппарат до следующего погружения. А пока я буду этим заниматься, свяжись с береговой охраной или иммиграционной службой — в общем, с теми, кто может предоставить полный отчет по контрабандным делам молодых лейбористов. Принесешь его мне, разберем вместе. И напомним капитану Старли, чтобы еще несколько дней никто не посещал место кораблекрушения. Скажи, что я попросил береговую охрану прислать катер для его патрулирования.

— А катер ничем не рискует?

— Думаю, нет. Золото уже забрали, так что ждать новых ловушек не стоит — по крайней мере, сейчас.

Продолжение следует.

Перевод с английского Евгения Никитина

Мало известен цикл рассказов Дойла о пирате Джоне Шарке. Из этого цикла мы публикуем два рассказа, в них для усиления их значимости — и фабульной, и характеристик персонажей, — внесены эпизоды из других рассказов этого цикла-повествования о знаменитом пирате. Названия рассказов изменены, слишком длинные — они, не в пример названиям рассказов о Холмсе, раскрывают сюжеты наперед.



Артур
Конан Дойл



Артур Конан Дойл (1859—1930) — автор многих исторических романов и научно-фантастических повестей, его рассказы о сыщике Шерлоке Холмсе читают во всем мире.

Окончание. Начало в № 5 за 2018 год

ДВА РАССКАЗА О КАПИТАНЕ ШАРКЕ

МЕСТЬ

1

Подобно тому древнему греку-честолюбцу, что сжег храм, чтобы его имя осталось в веках, славолубец Джон Шарке своей неумной жестокостью хотел вознести свое имя над всей Америкой! В то время как американцы, всем сердцем припадая к его жертвам, делали все, чтобы вознести Шарке не более чем на два фута...

Но все оставалось по-прежнему. Еще хорошо, если купеческое судно оказывалось поблизости от береговой артиллерии: едва завидев, как из лиловой морской глади поднимается грот-брамсель с нашитым на нем черным ромбом, влетало оно в гавань с парусами, вынутыми, как дамский корсаж.

Мастерству капитана Шарке удивлялись все моряки — и купеческие, и военные, и его же пираты... Вот видят же они на своем барке: преследующий их корабль и ветра забирает больше, и матросы там не уступят им в сноровке... Но если они, все три мачтовые команды, тотчас выполняют его команды — их барк уходит от корабля¹!

И стоит ли говорить, в какое горе ввергал Шарке семьи тех моряков, кто работал-плавал на захватываемых им судах! Их вдовы, наверное, стонали так громко еще потому, что крик хотя бы как-то исторгает из души человека это разрушающее его чувство: ведь теряли они не просто родных, а кормильцев, и надо было им, матерям, сохранить себя для семьи.

В то время как в жизни Копли Бэнкса, одного из самых богатых жителей Кингстона, до поры до времени не было никаких потрясений — моряком был он лишь в юности, а потом, в течение семнадцати лет, стал владельцем десятка судов. Его, мистера Копли Бэнкса, знали как человека деятельного: он был членом городского совета, а женат на особе из знаменитого рода Персивалей. И, кстати сказать, доводился двоюродным братом губернатору Виргинии.

Обоих своих сыновей, еще мальчиками, мистер Бэнкс устроил в один из лучших колледжей Лондона. И уже они проучились там несколько лет, когда он, читая их письма, встревожился: что-то, кажется, не очень они там, в старой Англии, тосковали о новой, о своей американской родине. А уже случалось, что отпрыски новоамериканцев, достигнув совершеннолетия за время учения в Англии, оставались жить на родине

¹ Собственно кораблями назывались военные полнопарусные суда.

предков: неустройства жизни в колонии оказывались уже не для них.

Сыновей на их родину Бэнкс решил вернуть.

Но как раз в это время начинал он большое дело (судовладелец, а заинтересовался совершенно новым для себя видом хозяйственной деятельности), так что за сыновьями отправилась в Англию супруга Бэнкса. И уже они, все вместе, возвращались...

О своих подвигах славолубец Шарке сообщал в тех случаях, когда захватываемые им суда были всем известными, а на этот раз это был галеон «Герцогиня Корнуэльская»! И с этим сообщением «сухопутным крысам» был им отпущен матрос с этого судна.

...Услышав, мистер Бэнкс не то что вскрикнул — хотя это чудовище, Шарке, утопил и жену, и детей, — нет! Он, Копли Бэнкс, не проронил ни слова, будто окаменел. И только... Только бешеные вспыхнули в его глазах огни!

И что же?..

Время шло, и если текущие дела фирмы управляющий вел без хозяина, то ведь в Кингстоне все знали, что мистер Бэнкс уже было начал переговоры о покупке двух плантаций сахарного тростника. И, значит, пора бы ему выходить из его меланхолии.

Но с ним, мистером Бэнксом, происходило что-то странное. Из кассы, обрекая свою фирму на трудности в обороте средств, начал он забирать такие суммы, какие многократно превышали потребности его опустевшего дома. То есть пушки (восемь крупнокалиберных орудий) были им заказаны уже на втором году его печали (стоит ли говорить, как удивила всех в Кингстоне такая его покупка — вместо плантаций)! Впрочем, транжирить деньги мистер Бэнкс начал еще задолго до этого, в портовом кабаке.

Да нет, не запил. За стаканом рома (за лучшим его сортом хозяин кабака посылал в городской трактир) просиживал он здесь целые дни, а недопитое (слишком дорог был тринидадский сорт этого напитка, чтобы его выплескивать) переливал в стакан того, кого пригласил за свой столик. Такой его доверенностью стал пользоваться тот, кто предложил ему за стакан рома или джина, все равно, согнуть и тут же выпрямить каминную кочергу. То есть это предложение разъяснил ему другой завсегдатай кабака — ибо тот, кто таким способом добывал себе выпивку, был нем. Не совсем... Что-то еще кулдыкал он остатком языка, и со временем Бэнкс начал его как-то понимать.

То есть мистер Бэнкс и этот немой силач — будто, сказать, воткнулись друг в друга, — видимо, сошлись на чем-то одном и теперь обычно сидели глаза в глаза. Да, надо пояснить, что хозяин этого заведения для простого народа так был польщен визитами мистера Бэнкса (он

его даже называл сэром), что закрепил за ним столик возле камина и сам, по его знаку, подходил, чтобы подлить дорогого напитка в стакан его собеседника (всю бутылку Бэнкс попросил на стол не ставить, иначе бы уже слишком скоро не с кем ему было общаться). Однако тот, этот немой силач, становился уже не заурядным прихлебателем (каким до этого присаживался к чужим столам): в его, хозяина кабака, понимании, возвысился теперь до должности секретаря сэра: для него приносил лист бумаги и чернильницу с гусиным пером. Оказалось, немой умел, и довольно сносно, писать. И писал, когда ничего в его кулдыканье уже невозможно было понять.

Мистер Бэнкс слушал его или читал им написанное (иногда ему тот даже что-то чертил), при этом обычно спокойно себе посасывал трубку (табак гамбургской выделки доставляли ему со Старого Света); как вдруг вспыхивали в его глазах такие же дикие огоньки, как и тогда, когда он услышал о катастрофе всей своей жизни.

Меж тем посетители кабака, простолюдины (мистерами называли они друг друга лишь до второго, редко до третьего стакана), иногда таки возвышали себя до решимости подойти к столь важной особе, и мистер Бэнкс навстречу их стаканам поднимал свой и даже отпивал из него в знак всеобщего равенства и братства.

Но когда еще подходили к его столику те двое, что называли друг друга мистерами, тотчас кабатчик приказывал служкам принести два стула и два стакана и сам спешил (как и приказывал сэр) с бутылкой лучшего (тринидадского!) рома. Это были ожидающие найма на суда штурманы Берзмарк Свитлокс и Джон Брэдли. Они были неразлучны, а познакомились во время прогулок в тюремном дворе, отбывая свои сроки после раскаяния в разбое. Да, Свитлокса тогда не помиловали, хотя именно он подвел свое пиратское судно под выстрелы с корабля: не поверили, что он, будучи под началом Длинной Бороды (тоже известного своей жестокостью капитана-пирата), сам никого не убивал. Нечто похожее было в жизни его теперешнего друга Джона Брэдли, и теперь оба они раскаивались в том, что раскались тогда... Потому судовладельцы и капитаны брали их на суда лишь рядовыми матросами, что оскорбляло тех, кто, говорят, были замечательными мастерами именно вождения судов.

И если учесть, что в числе посетителей кабаков Порт-Ройала и Кингстона пребывало немало таких же неудачников (ввиду их сомнительного прошлого не нанимали их на суда и матросами), то как раз штурманы Свитлокс и Брэдли, озлобленные отношением к себе капитанов и судовладельцев, оказывались негласными представителями этой таки порядочной части ожидающих найма моряков.

При этом мистер Бэнкс, при его высоком в глазах портового люда положении в обществе (уже все здесь называли его сэром!), столь был доступен в общении с простым народом, что все больше завоевывал его расположение, особенно же тех матросов, которые общались со штурманами Свитлоксом и Брэдли: те дали им знать о решимости мистера Бэнкса пересмотреть, то есть заменить состав команд принадлежащих ему судов. И, надо сказать, что о характере этой замены упомянутая часть матросов начала отзываться с весьма странными ухмылками...

2

Но если в представлении хозяина кабака посещения его заведения мистером (сэром!) Бэнксом поднимали его портовое заведение до ранга городского трактира, то в глазах тех, кто считался сливками местного общества, член городского совета мистер Бэнкс терял свое прежнее высокое положение... То есть сначала ему только удивлялись: «Уважаемому члену общества — посещать портовый притон?», «С лицом порядочного человека — сидеть среди рвани?»

А уж когда Бэнкс, невзирая на возражения управляющего фирмой, всю команду брига «Забияка Гарви» заменил своими портовыми знакомыми, а затем их силами водрузил на судно пушки!..

Начальник гарнизона майор Гарвей поспешил к губернатору:

— Сэр! Если предположить, что свое судно мистер Бэнкс готовит к погоне за Шарке... Однако... Понимает же он сам, Бэнкс, что со своими восемью пушками отомстить двадцатипушечному Шарке не сможет. Так, спрашивается, для каких боев снаряжает мистер Бэнкс этот свой бриг? То есть чью кровь собирается он проливать?

— Кровь и Бэнкс? — усмехнулся губернатор. — Он даже против петушиной крови! Осуждает, видите ли, сражения петухов.

На самом деле сэр Эдвард к тому, кого теперь осуждал начальник гарнизона, испытывал приязнь. Не очень, правда, ему нравилось, что мистера Бэнкса тоже иногда называют сэром. Хотя он даже не баронет! Но фирма Бэнкса выполняла заказы на перевозки в Европу, и всегда на его судах вместе с грузами доставлялись вина из тамошних виноградарских стран. Так что когда приходила новая партия, особенно любимый сэром Эдвардом портвейн из Португалии, всегда Бэнкс приглашал к себе... Увы, все это уже в прошлом. Теперь Бэнкс пьет с народом второго сорта — и, видимо, один лишь ром.

— Так что же вы предлагаете, майор?

— Сэр! Я считаю, что мистер Бэнкс должен быть арестован. А это его судно — секвестировано. И — немедленно! Как сообщил мне управляющий его фирмой, на судно уже доставлены солонина, ром, сухари и вода.

— Вот уже как! — вздохнул сэр Эдвард. — Что ж... Я, майор, должен с вами согласиться.

Но кто сообщил Бэнксу? Или он сам уже все понял?

Майор Гарвей прибыл с солдатами на пристань утром, а бриг Бэнкса уже выходил из гавани Порт-Рой-ала, паруса белели уже далеко. Догнать? Полнопарусного корабля в гавани не оказалось — а кто, какое судно могло догнать бриг «Забияка Гарви»?

От Ямайки бриг далеко не отплыл... С приспущенными парусами судно тихо двигалось в виду берега.

Но совсем не тихим оказался сбор на палубе команды.

Да уж, он, Копли Бэнкс, видимо, вспомнил свою морскую юность, если так смог заговорить с матросами на их языке:

— Ребята, чтоб мне захлебнуться соленой водой, если я не выбрал для вас профессию, где храбрый человек сможет жить вольно, одеваясь вместо просмоленных курток в бархатные кафтаны, питаясь всем тем хорошим и выпивая все те лучшие вина, что специально для нас везут на своих корытах купцы. И если удастся не быть раньше вздернутыми на два фута, сможем мы где-нибудь на островах припрятать столько, сколько требуется для успокоенной жизни, например в Мексике или в Чили. Я на правах владельца этого самого быстроходного в Вест-Индии судна, на правах того, кто вас собрал, буду вашим капитаном. А уж если кому не нравится то замечательное будущее, которое я предлагаю, выходите вперед. На этот случай я взял на борт еще одну лодку, сможете отправиться на берег.

Оказалось, что из пустившихся в плавание сорока шести человек замечательное будущее, которое пообещал Бэнкс, не прозревали лишь четверо, они воспользовались этим объявленным им случаем и под свист и улюлюканье новоявленных пиратов спустились в спущенную на воду лодку.

Да, хотя теперь, для ясности изложения, всех на судне надо называть командой, на самом же деле это было товарищество. Многие знали друг друга давно и выбрали квартирмейстера и его помощника (такowymi стали Свитлокс и Брэдли, звание штурмана у пиратов почему-то было не в чести), а также боцмана, старшего канонира и старших обеих (по числу мачт) парусных команд. Им всем (разумеется, начиная с капитана) из всего захватываемого определили двойную вырубку. И сразу же отвергли звание секретаря (слишком памятным это звание оказалось для тех, кого в свое время судебные секретари оформляли на тюремные сроки),

взамен признали за капитаном право иметь слугу (с условием, однако, участия этого немного силача в абордажах).

И уже скоро жертвами этого «товарищества» оказались многие из тех купеческих судов, каким посчастливилось не встретиться в море с «товариществом» Шарке.

Бриг Бэнкса стал таким неуловимым благодаря не только своей быстроходности, но и талантам (надо им отдать должное) штурманов Свитлокса и Брэдли, да и сам Бэнкс, вспомнив свою морскую юность, быстро осваивал морское дело. Например, не доверяя судно вахтам лишь одних матросов, установил обязательное присутствие на капитанском мостике кого-либо из них троих.

Долгое время Шарке и Бэнкс не встречались. Что было несколько странно: «Забияка Гарви» охотился в тех же местах, что и «Счастливое избавление».

Но пора было чиститься (кренговать), и бриг Бэнкса вошел в один из заливов Эспаньолы.

Оказалось (вроде Бэнкс не ожидал здесь его встретить), в самом конце залива, в узкой бухточке, сказать, в расщелине между крутыми берегами, кренговался барк Шарке.

Разумеется, подобно тому, как с присутствующим джентльменом первым здоровается входящий, Бэнкс приказал салютовать из пушек и выкинуть зеленый, означающий самые дружеские намерения, флаг. Как раз в это время барк Шарке забрал якорь и, поднятый приливом, освободил место бригу.

Стоит ли здесь рассуждать о джентльменской необходимости вошедшему нанести визит первым? Бэнкс, поручив кренгование квартирмейстеру, поплыл на ялике (всего лишь с двумя матросами) на барк Шарке.

3

Прием, оказанный здесь ему, мог бы обескуражить любого!

То есть хотя бы, увидев отплывающего от своего судна гостя (ведь знал же, какое высокое положение занимал тот в ямайском обществе), мог бы хозяин и одеться и вести себя поприличнее. На нем же была рубаха, небрежно заправленная в штаны, хлопчатая, серого цвета. И — не встал, сидел верхом на пушке, даже не подал гостю руки. Какое там! Заорал:

— А... Наслышан о тебе, сэр! Сейчас с тобой разберусь...

Стоящая рядом с ним матросня обещание это подержала согласным ором, но главарь повел на горлопанных бровью. Вопросил:

— Как ты смеешь ловить рыбу в моих водах? (Так он, Шарке, называл ловлю в море купеческих и пассажирских судов.) — Сейчас измочалю тебя, Бэнкс, а то и прикончу совсем! — И уставил на гостя взгляд своих мутно-голубых глаз (сколько жертв корчилося под их взглядом!). — Отвечай, должен понимать, куда ты явился!

Но гость смотрел так, будто вернулся в родной дом.

Впрочем, ответил с достоинством:

— Не думаю, что так уж нам с тобой тесно. Однако спор двух капитанов можно решить так. Взять пистолеты и сойти на берег. Здесь все-таки качает — и можно не попасть...

Услышав такое предложение, Гэллуэй схватился за нож (он предпочитал резать, а не колоть), но Шарке запрещающе мотнул головой, а в его ледяном взгляде затеплился интерес.

Бэнкс же пояснил:

— Кто бы там из нас ни свалился, а только еще от одного презренного негодяя мир избавится!

— Вот это — разговор! — Шарке соскочил с пушки и протянул гостю руку. — Не вспомню, кто так осмеливался — со мной... А смелые — не предают. Бэнкс, предлагаю союз. Союз двух капитанов! Но если окажется не так, выпотрошу на твоём же бриге!

— Я обещаю сделать с тобой то же на твоём барке, — сказал Бэнкс.

И они, Джон и Копли, поклялись быть друзьями!

Они, действительно, ими стали. Купеческие суда подчас захватывали вместе и даже (об этом потом говорила вся Новая Англия) однажды не уступили сорокапушечному кораблю!

Убедился Шарке и в уме своего друга. То есть выказанным тем соображением сам он руководствовался уже давно. А именно: к убийствам, к разного рода жестокостям надо привлекать всех членов своей команды. И тогда, зная, что все равно вздернут их вместе с капитаном, они предать не захотят.

Разумеется, что все же «ловили рыбу» по отдельности. Хотя Шарке стал испытывать такое чувство (ранее ему не свойственное), как желание увидеть в море кого-то еще раз... То есть его, своего друга Копли Бэнкса!

В очередной раз они встретились возле Большого Кайкоса — острова, действительно порядочного по размерам, хотя и необитаемого до сих пор. То есть необитаемого людьми, а быки здесь водились, и Шарке прибыл сюда, чтобы хотя бы в охоте на быков разделить охватившую его злость на капитана купеческого судна. А еще бы! Неделю назад захватил он судно (барк «Ганноверский Дом»), оно шло из Ливерпуля с шерстяной материей. В каюте же капитана были обнаружены бутылки из-под рома, даже и подсчитали — двадцать

штуки! Значит, весь путь от Ливерпуля (двадцать дней) барк вели одни лишь его помощники.

Шарке пришел в такое негодование (а ведь вина не удавалось добыть уже как недели три), что приказал привязать капитана к мачте и забить этими его пустыми бутылками. Не все при этой экзекуции разбились — и уже не было видно и мачт, а бутылки все еще наполнялись, кружились над шедшим ко дну судном.

Зато благодаря такому негодяйству их капитана Шарке проявил необычное для него милосердие: прежде чем их судно было затоплено, моряки указали ему на лучшее из всей перевозимой ими материи сукно, помогли свертки перенести на его барк (всегда при abordажх пираты сплавивают суда) и сели в свои шлюпки.

В то время как на захваченном Бэнксом галеоне¹ один из отсеков трюма оказался заполнен вином. То есть вино было в пятигаллоновых бочонках². Целый отсек!

В бухте барк Шарке и бриг Бэнкса встали не совсем рядом — набегали волны и водили суда даже на якорях. Так что друг к другу пришлось плавать на лодках.

Бочонок вина, забранного с галеона, Бэнкс послал Шарке — как знак внимания, не больше, уже он знал: как бы тот ни жаждал, вино отдаст своим людям. Ну да, да! «Подарков с чужого плеча» он, капитан Шарке, не принимает, все берет сам.

О том, что вино это уже выпили, понятно стало скоро. То есть такая малость на шестьдесят питоков! Тем более что это не ром и не джин, а всего-то лишь портейн... Дело же шло к вечеру, и воззвали со своего барка едва ли уже не гневно!

Пришлось отослать им десяток бочонков, целую шлюпку вина!

И с этой оказией Бэнкс послал Шарке приглашение. Пригласил — на замечательно гладкой бумаге (кипу которой не дождался его двоюродный брат, губернатор Виргинии). Хотя, опять же, знал о Шарке: со своего барка сходит он лишь для охоты на быков.

«Но, — подумал Бэнкс, — понимает же он, Шарке, что я сам... Столько уже я пролил людской крови, что если его у себя свяжу и доставлю властям, все равно нас с ним повесят обоих».

4

Да, капитан Шарке это понял. Тем более что ни якоря, ни парусов на бриге не поднимали.

К лучшему своему другу капитан Шарке прибыл в сопровождении квартирмейстера Гэллуэя и еще четверых из своей команды. Явился в лучших из своих одежд (стоит ли теперь вспоминать тех на пассажирском галеоне, кто два года назад, вместо того чтобы щеголять в этих одеждах в городах Новой Англии, пополнили тогда его гардероб). На нем была шелковая рубашка (совсем белая, явно не надеванная еще никем), с батистовыми брыжами на груди и со сверкающими запонками на манжетах, поверх же было нечто фиолетовое, с золотистыми галунами на рукавах — то, что Шарке, скорее всего, принял за одеяние аристократа (камзол или что-то в этом роде), но что на самом деле было ливрей лакея; впрочем, «камзол» этот так оттопыривался справа (это были засунутые за пояс пистолеты) и так было жарко, что гость стянул «камзол» с себя и бросил человеку, подошедшему к нему услужить (он, Шарке, слышал, что если члену лучшего (высшего) общества потребуется какая-то житейская услуга, а имени слуги аристократ не знает, может он позвать его: «Человек!»).

И этот человек, слуга Бэнкса, своей молчаливой услужливостью было понравился Шарке (он не терпел тех, кто заговаривал с ним, болтал, не будучи с ним равным); правда, потом о голову этого человека он разбил стакан, но столь незначительный эпизод в жизни знаменитого капитана случится уже часа через полтора.

Сначала же, подтянув на себе пояс (толстокожий, с массивной медной пряжкой, сползший под тяжестью двух пистолетов), он прошелся по судну друга с понятной заинтересованностью в общем деле. Его озадачила пристройка, которую он увидел еще со своего судна. Пушки обычно на нижней палубе, а Бэнкс устроил что-то вроде артиллерийской рубки на верхней, на корме, нацеленное в амбразуру, стояло крупнокалиберное орудие! Вдоль стен громоздились ящики с железными ядрами, в больших бутылках чернел порох... Однако, ввиду предстоящей выпивки, свое мнение о таком нововведении Шарке решил высказать потом. Зато предложение хозяина не спускаться вниз, в душную каюту, а расположиться здесь, одобрил.

Матросы Бэнкса, покачиваясь (уже отнюдь сегодня не от морской качки), в столь боевую обстановку внесли мирную мебель — стол и четыре стула; потом вкатили одну из тех больших бочек, что столпились на палубе в ожидании воды, на нее поставили бочонок с вином, рядом — другой... Разумеется, что дорогие тарелки (фарфоровые, расписные!) слуга принес сам. И сам нарезал в них то, что могли бы съесть пассажиры галеона; принес

¹ Галеон — большое парусное судно, вместительное, как пассажирское, но небезопасное по своей конструкции (XVI–XVII века).

² Галлон (англ. gallon) — около четырех литров жидкости.

стаканы (тонкостенные, из хрусталя, один из них потом и разобьет Шарке о голову слуги). Главное же, на стол была водружена высокая хрустальная ваза... Пассажиры везли ее в Новую Англию для тамошних цветов, а здесь она была удостоена для вина.

Вместе с капитанами сели за стол их квартирмейстеры. Но Свитлокс приобщился к вину (вместе со своим помощником Брэдли) как только отдали якорь, а потому сейчас не удержался на стуле уже после третьего стакана... Как там пил Брэдли, было неизвестно, он пил вместе с матросами.

Дорвался и Гэллуэй. Для него три недели без вина были сущей пыткой, так что недостаточную по сравнению с ромом крепость портвейна он возместил его количеством. Усидеть за столом смог он дольше и даже вовремя уразумел, что его капитан на какой-то стадии питья может вспомнить о своей любимой игре — скрепив под столом руки с пистолетами, стрелять, дабы убедиться, ноги каких сотрапезников самые счастливые! — и снял с его пояса пистолеты. На что Шарке, памятуя о его «осчастливленной» им ноге, возражать не стал.

Сначала, как водится в лучшем обществе, произносили тосты (в стаканы наливал слуга). Но уже скоро эта говорильня Шарке надоела, и, отмахнувшись от услуги, наливать себе стал сам, без предисловий.

Хотя поговорить им было о чем. И даже — о коммерции. У Бэнкса еще были отношения с некоторыми из тех, с кем он имел дело, будучи владельцем фирмы, они принимали «трофеи» пиратов вдвое дешевле их настоящей стоимости, и Бэнкс пообещал Шарке помочь сбыть захваченное сукно.

Затем, разграничив в морях *ловлю*, разумеется, заговорили о вине. Ведь если ром и джин делали и в Новом Свете, то лучшие виды благородных напитков доставлялись из Европы. И Шарке даже ослабилась во весь рот (хотя смеялся он редко), когда выяснилось в разговоре, что те десять бутылок самого лучшего коньяка, которые везли Бэнксу из Франции, выпил он на пару со своим квартирмейстером. В самом деле... Захватывая купеческие и пассажирские суда, Шарке приобщился ко многим винам Европы. Так что их знатоками оказались они оба. О достоинствах же португальских Шарке заговорил так громко, что Гэллуэй уже было хотел вырвать из ножен свой нож-кинжал. Но оказалось, что его капитан так громко хулит немцев за то, что к «вину из порто» приплели они свое *vein* и что вино это ничуть не хуже вина с острова Мадейра... И ведь вот — еще ему, Гэллуэю, правда, уже часа через полтора, пришлось встревожиться за исход беседы капитанов опять... Это когда его капитан, разбив стакан о голову слуги, пушечным ядром вышиб

крышку следующего бочонка. Ну да, да, вино в вазу, боясь расплескать (все-таки волны покачивали), слуга наливал не доплна. И когда он опять, открыв кран бочонка, начал цедить в эту емкость, Шарке стало ждать неведомо — он и свершил означенные действия, после чего приказал слуге добывать вино сразу, то есть опускать вазу в бочонок, а вместо разбитого забрал стакан лежащего возле своего стула Свитлокса. И еще — выразил недовольство наступившими в помещении потемками. Так что его квартирмейстер, успокоенный такой, хотя бы и громкой, беседой знатоков вина, голову свою на столешнице успокоил уже надолго. Хотя и нельзя было о нем, о Шарке, сказать, что он пьян, никакая мера горячительного напитка не могла разогреть его кровь.

Слуга, потирая голову, принес канделябр, зажег все пять рожков, и капитаны продолжили беседу уже при свечах.

Меж тем, в отличие от матросов Бэнкса (эти, начав пить с утра — портвейна было много, и здесь тоже вместо рома брали количеством, — уже затихли в кубрике вместе со своими гостями), матросы на барке Шарке еще только пели...

5

И здесь надо сказать о той напраслине, какую подчас возводят на «рыцарей свободного моря» наши писатели. Будто и пели-то они все о том же — о том, как они грабят и убивают. Да нет же: свои, конечно же, преступные деяния желали они как-то и оправдать. И даже иногда представляли себя защитниками коренного населения Америки, индейцев. Вот и на барке Шарке пели:

Из Америки купец
плыл всего в один конец...
Караилов обобрал —
только в руки к нам попал.
У доверчивых людей
из ушей да из ноздрей
за игрушки-побрякушки
поснимал золотые дужки...
Не обманывай, купец...
Ждет тебя у нас конец!

Гость эту песню, конечно, знал, но слушал с тем большим удовольствием, что сочинил ее сам.

Как вдруг Бэнкс остановил взгляд на слуге. Тот все стоял за спиной гостя, выражая готовность исполнить все его капризы. Но, поняв взгляд своего капитана, подняв лежащий на ядрах плащ, а из-под него... свернутый в кольцо трос.

И тогда... Тогда Бэнкс спросил:

— Капитан Шарке! Помнишь ли ты «Герцогиню Корнуэльскую»? Судно шло из Лондона.

Шарке посмотрел на друга с недоумением:

— Надо же, о чем приспичило спросить. Дьявол меня возьми, если смогу я упомянуть все те суда, которые пустил ко дну!

— Это название пассажирского галеона. Ты его затопил два года назад. Там, среди пассажиров, была женщина, мать... С двумя сыновьями, еще мальчиками. Может, вспомнишь?

В другое время стал бы он, капитан Шарке, вспоминать... Но сейчас, удовлетворенный гостеприимством друга, попытался:

— А... «Корнуэльская»? Ну да, галеон. Знаешь... Там, среди всех пассажиров, была одна только женщина. Так она при этом рвалась от меня — за мальчиков... А что поделаешь: она одна — а сколько их у меня... — Шарке то ли хрюкнул, то ли засмеялся: — Ну да, тех, кому уже невтерпех... — И вылив в стакан все, что было в вазе, не оборачиваясь к слуге, кивнул — для нового...

— А потом... Убили? И женщину... И мальчиков?

— Копли! Тебе ли спрашивать? Ты с пленниками что — в карты садишься играть? Ну, отобрали ценности, весь их гардероб... И — не убили, а утопили! На их же галеоне. Подожди! Ты-то что — о них? Женщина, мальчики... Какого дьявола — ты об этих?

— А я... Я потому, что эта женщина — моя жена! А эти мальчики — мои сыновья!

И Шарке увидел... Увидел в глазах друга — пламя!

Растерялся, опешил, оторопел? Кто, зная капитана Шарке, мог бы подумать, что такое — о нем? И все-таки сейчас, прежде чем схватиться за пистолеты, воззрился он на того, кого еще только что считал своим другом. Конечно, потом... Но пистолетов на поясе не оказалось! Обернулся за ними... А уже, змеей, обвил его трос, вместе с руками...

Перехватило — это у Шарке-то! — перехватило горло! И даже... сглотнув, наконец, такую неожиданность, он, капитан Шарке, прославившийся на всю Америку своими кровавыми подвигами Шарке, лишь простонал:

— Нэд! На помощь! Проснись, Нэд! Нас подло обманули...

Но тот, квартирмейстер Гэллуэй, уже перестал тревожиться за своего капитана, храпел, сложив голову в тарелку. Возможно, если бы смог Шарке крикнуть громче, прибежали бы его люди, четверо здоровенных бугаев. А только — вряд ли... Там, в матросском кубрике, люди Бэнкса, по обычаю всех хозяев, давно уже по части выпитого гостей с собой уравнивали. Впрочем, этому гостю рот заткнули тотчас. Связали, в одно соединили ноги.

И капитан Шарке оказался спеленут, как мумия.

Слуга, ликуя, что-то там закулдыкал. Оказалось — немой! И это тоже стало для Шарке неожиданностью. Потому что, как это бывает в минуты потрясений, узнал он в этом слуге того матроса... Хотя теперь тот был без бороды. А ведь такая у этого матроса поначалу черная была борода! И такой тогда, пока делали его немым, стала она красной... А уж лицо! Наверное, та кровавая маска, каким оно тогда стало, и заслонила в памяти, каким это лицо было вначале. Было оно, лицо этого матроса, при защите своего капитана — яростным! Тот защищался тоже, хотя и был ранен. Конечно, просто... можно было бы их просто обоих застрелить, но капитан застрелил одного из команды Шарке — и матрос, понимая, какие муки теперь ожидают его капитана, сражался до конца их обоих... Наконец капитан, сраженный, упал. А на матроса накинута парусное полотно...

И так он, Шарке, был тогда разозлен чьей-то преданностью — не ему, другому! — что в мерзкую его голову пришла еще большая мерзость. Приказал — уже вдали от торговых путей — спустить матроса в лодку, а к нему — расчлененного на куски его капитана. Решил, что голод — еще до того как матрос, умрет... День, другой, третий в пустынном море... Голод заставит-таки этого матроса... Заставит — приступить к своему капитану! А он, вот этот матрос, оказывается, живой!

Да, значит, заранее этот его «друг» и этот его матрос разработали план своих действий... Если так тщательно, с поистине тоже изуверской последовательностью, стали проводить его в жизнь. Прежде всего, вскрыли все бутылки с порохом, высыпали его возле остальных недавних сотрапезников. К нему же, к капитану Шарке, отнеслись с особым вниманием: перенесли его, мумию, к пушке и привязали над амбразурой так, что находился он теперь прямоком перед дулом. Не мог даже шевельнуться!

Наконец, Бэнкс — он все молчал, такая душила его ненависть! — все-таки вырвал из себя слова:

— Я знал, Шарке, что ты — убийца всего моего! Но я... Немного еще я человек — хотя ты не человек уже давно — я мучить тебя не буду. Нет, будешь смотреть, слушать... Как приближается к тебе смерть! Дьявол уже ждет тебя в своей преисподней.

Проговорив это, встречу — Шарке с дьяволом — Бэнкс стал готовить. По его плану — и он начал его осуществлять — свое приближение к этой встрече Шарке должен был и увидеть, и услышать. По тому, как по пороховой дорожке побежит, зашуршит огонь! А чтобы это ожидание продлилось, пороховую дорожку на полу Бэнкс насыпал большим, во все это помещение, кругом...

И — надо же! — услышал Шарке, как поют, продолжают петь его песню его люди на его барке:

Не ушло за океан
то, что плыло нам в карман.
Нечестивая казна —
у морских бродяг она.
Барк наш в город направляй,
женщин златом забавляй...
Нечестивца-купца кровь
станет платой за любовь!
Не обманывай, купец...
Ждет тебя у нас конец.

Копли Бэнкс протер запальное отверстие пушки и насыпал порошу. Снял с канделябра свечу, укоротил ее, оставив не больше дюйма, укрепил на усыпанном порохом запале орудия. Осторожно, чтобы огонь не пустился слишком рьяно, другой свечой с канделябра зажег ту, что поставил у запала.

Лицо, искаженное злобой, проклинаящие глаза — таким увидели они Шарке перед тем, как закрыть на ключ дверь.

О переводчике. Юрий Сенчуков после окончания Литературного института и до своего шестидесятилетия — литературный редактор в издательстве «Художественная литература», в редакциях журналов «Огонек», «Октябрь». Его переводы и статьи — в составленных им собраниях сочинений иностранных писателей. Пишет и для детей.

У борта, привязанный к веревочному трапу, покачивался на волнах ялик. В нем, под плащами, были сумки и мушкеты.

Отплыли. В ожидании... Все-таки — в тревоге. Показалось даже — плыли уже давно. Еще даже успели услышать с барка Шарке начало песни... Которую, любимую, решили там повторить:

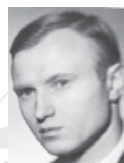
Из Америки купец
плыл всего в один конец...

Когда, наконец, в коротком, пушечном, громе, потом в грохоте взрывов, бриг, лучший во всей Вест-Индии бриг «Забияка Гарви», в последнюю свою минуту четко и стройно предстал в ослепительном блеске!

Там... Шум, крики, плеск бросающихся в воду... Все это уже их не касалось, стало судьбой всех других. Души обоих (если еще были у них души) горели в восторге!

Высидевшись на берег, бросились в глубину острова, в джунгли безлюдного Кайкоса.

От людей! Теперь уже ото всех... Ото всех людей.



*Составление и перевод с английского
Юрия Сенчукова*



Флюр ГАЛИМОВ

Флюр Галимов родился в 1958 году в д. Старый Калкаш Стерлибашевского района Башкирской АССР. С 1971 года жил в городе Стерлитамаке. Выпускник филфака Стерлитамакского государственного педагогического института (русское отделение). Учительствовал в школе, руководил Стерлитамакской писательской организацией. В 90-е годы занимался бизнесом. В основном пишет прозу. В республиканских газетах и журналах опубликованы около ста произведений автора. Имеет несколько публикаций и в московских изданиях. Несколько пьес Ф. Галимова поставлены в государственных и народных театрах. Автор книг «Свидания на небесах», «Чудак», «Новый башкир», «Покаяние над пропастью» и других. Член Союза писателей РБ и РФ с 1996 года, заслуженный работник культуры Республики Башкортостан. Роман «Новый башкир» газета «Башкортостан» назвала романом года, а трилогия «Покаяние над пропастью» газета «Йэшлэк» признала произведением года. По этим книгам, получившим большой резонанс, в республике проведены более 120 мероприятий, и прозаика Флюра Галимова народные поэты Башкортостана Равиль Бикбай, Кадим Аралбай и академики РАН Марат Азнабаев и Тельман Аминов называли писателем-новатором, внесшим в башкирскую литературу новых героев и новые темы. Писатель с 2013 года живет в Уфе. Трилогия «Покаяние над пропастью» выходит отдельной книгой в Москве.

К ЧИТАТЕЛЮ

Вниманию читателей предлагаю роман «Вкус запретного плода» — первую книгу трилогии «Покаяние над пропастью». Это произведение о любви, о поисках смысла жизни, потерях и обретениях нашего современника, художника, предпринимателя, бывшего воина-афганца Салавата Байгазина в эпоху до сих пор продолжающихся великих перемен, когда давно уже потеряны коммунистические идеалы, а новые (кроме идеологии богатства) так и не созданы. А в воздухе витает запах греха, богатства и бедности... Тем более незаметно подкрался кризис



среднего возраста, и Салават страстно полюбил молодую девушку Зульфью. И искушения те же, как и тысячелетия назад: искушение хлебом насущным, искушение чудом и искушение властью... А жена его Лилия в непримиримой борьбе против молодой любовницы мужа под влиянием ворожеей, к которой обратилась за помощью, сама превращается в шаманку с бубном. Кем она стала? Ведьмой или целительницей? И вообще, кем являются на самом деле все эти экстрасенсы, колдуны, ясновидящие и прочие маги, которые заполнили весь мир и к которым ходят миллионы людей? В чем их истинная роль? Человек разумный сделает выводы сам.

Флюр Галимов

ПОКАЯНИЕ НАД ПРОПАСТЬЮ

Рисунок Марины Медведевой

ТРИЛОГИЯ

КНИГА ПЕРВАЯ

ВКУС ЗАПРЕТНОГО ПЛОДА

Мир спасет любовь.

Иисус Христос

Лишь Всевышнего вправе я страшиться.

Автор

ПРОЛОГ

Может ли мужчина допустить, чтобы его семья жила в нищете? Художник Салават Байгазин — потомок Салавата Юлаева, соратника Емельяна Пугачева, дал на этот вопрос отрицательный ответ и в лихие девяностые надел хомут предпринимателя.

О Салавате Юлаеве... Ближе к разгрому пугачевского восстания жен и детей великого батыра арестовали. Испугавшись, что род Салавата может оборваться, старейшины решились на *тулалу* — обряд получения от батыра потомства. Выбрав из племен самую прекрасную девушку по имени Тансылу и прочитав никах¹, ее выдали за батыра. Дабы продолжался род Салавата и рождались новые герои.

Разумеется, свершившийся тулалу хранили в большой тайне. Тансылу жила в дальней летовке. В августе 1775 года она родила мальчика. Вскоре старейшины придумали легенду: якобы люльку с младенцем, висевшую на разлапистой ветке дерева, Тансылу нашла случайно и принесла в аул... В знак того, что ребенок дан им Аллахом, малыша нарекли именем Аллабирды. Желая подчеркнуть, что дитя — большой дар племени от Создателя, его записали на фамилию Надиров.

Прошли годы. Аллабирды превратился в статного, храброго и умного джигита, женился. В военных походах он дослужился до звания есаула. Семеро его сыновей от двух жен тоже стали казачьими офицерами. Самое главное — он продолжил род Салават-батыра.

Сыновья, внуки и правнуки Аллабирды также не запятали светлое имя батыра, участвуя во всех выпавших на их поколение войнах и возвращаясь с орденами-медалями в форме крестов.

За отваги, проявленные в Великой Отечественной войне, трижды удостоился ордена Славы Аллабирдин Минлибай.

Салават Байгазин — потомок Салават-батыра по материнской линии. И ему пришлось повоевать. Он вернулся из Афганистана после тяжелого ранения с орденом Красной Звезды на груди.

Однако Байгазину пока еще неизвестно, что он из рода Салавата Юлаева...

Потомки Аллабирды передавали из поколения в поколение знание о принадлежности их рода к избранному джигиту как свято оберегаемую тайну. Но случилось непредвиденное: один из достойных представителей рода, обязанный сообщить сокровенное знание следующему, внезапно скончался, оставив аманат неисполненным...

Увы, Салават Байгазин не успел пока полностью созреть как художник... А ведь в годы учебы на факультете художественной графики университета, куда он поступил вскоре после Афгана, преподаватели возлагали на него серьезные надежды, предрекали судьбу большого художника. И в самом деле, Салават отлично начал творческий путь: много писал, организовал несколько персональных выставок, был принят в Союз художников. Но на его пути становления в качестве истинного художника возникла неожиданная преграда: верхом на огромном золотом быке, пышущем из ноздрей клубами алого огня и поднимающем из-под копыт тучи желтой, удушливой пыли, в страну ураганом ворвался его величество дикий капитализм и с громопо-

¹ Мусульманский обряд бракосочетания.

добным грохотом перевернул вверх дном устоявшийся уклад жизни.

Вот тогда Байгазин и надел хомут предпринимателя, забросив мольберт и краски, ринулся вслед за стремглав пронесшимся золотым тельцом.

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Богатство — понятие относительное. У каждого народа собственное мерило в отношении мамоны. Если же взвешивать нашим безменом¹, Салават Байгазин входит в число людей богатых, на худой конец, состоятельных: имеет элитную квартиру, дачу, два небольших магазина и японскую машину. Как бы то ни было, имущество Салавата с каждым годом увеличивается. Он достаточно вписался в коммерческую стезю, на которую ступил несколько лет назад.

Немало перед предпринимателем препятствий, хватает и заманчивых ловушек. Пожалуй, самые опасные из них — женщины и спиртное. Как правило, эти две беды ходят рука об руку. Ведь, кроме умения зашибать деньги, нужно еще уметь ими правильно распорядиться...

Манящий звон монет в кармане бизнесмена непостижимым образом тотчас становится слышен представительницам прекрасного пола. И на дельца начинается охота: соблазнительницы строят глазки, напропалую кокетничают. Редко кто может отказаться от красоты, падающей прямо в объятия.

Вот и Салават не смог увернуться от таких обольстительниц, слишком увлекся ими. Вначале, потеряв голову от прелестниц, перелетал с одного цветка на другой, словно ошалевший шмель. А потом встретил такую красавицу! И просто растаял в жарких объятиях.

Зульфия моложе на двадцать лет. А Салавату — тридцать девять. Верно говорят, для полноты ума всего одной извилины в мозгу не хватает...

Байгазин как бы в шутку пригласил ее на свидание, а она возьми да согласись! И вправду хороша Зульфия: изогнутые брови, будто крылья черной лебеди, взлетающей с темного омута ее больших глаз. Длинные ресницы, точеный нос, пухлые сочные губы и большая грудь, вздымающаяся при каждом вдохе. Тридцатидевятилетняя головешка Салавата окончательно вскружилась. Да и как ей не вскружиться от столь страстной кипчакской девушки. Понеслась романтика, восхождения рука об руку на вершину Девичьей горы, Торатау и Юрактау... После почти ежедневных встреч с Зульфией он уподобился опьяневшему от любовного напитка

Меджнуну², становился все безрассуднее, пока вконец не потерял голову.

Все же порой он вспоминает жену, и сердце внезапно холодеет. Чувство огромной вины перед ней гложет душу Салавата, как ненасытная рысь. Шила в мешке не утаишь — если вдруг все раскроется, переживет ли горе от его измены супруга? А что скажут дети: — сын и две дочери?

* * * Но сегодня Салават чувствует себя самым счастливым человеком, взмывшим душою на седьмое небо. Он стоит на вершине Торатау, обнявшись с любимой.

— Видишь, моя Зульфия, мы сейчас на такой высоте! Отсюда все вокруг видно, как на ладони. Хочешь, во-о-он ту гору перенесу на другое место и назову твоим именем?!

Зульфия счастливо улыбается, а Салават распаляется еще сильнее:

— Хочешь, завоюю все, что взглядом окину, и положу к твоим ногам?!

— Мне нужен только ты... — Девушка теснее прижимается к нему.

— Я тебя так люблю!

— Я тоже. Никого не любила так...

— Зульфия, если Лилия согласится, возьму тебя второй женой.

— Согласится твоя старая карга, как же, жди... — обрывает Салавата Зульфия, поморщившись. — Айда спустимся, мне здесь нехорошо, холодно...

— Холодно? Разве мои объятия не греют тебя?

— Греют. Но лучше пойдем вниз!

— На этой священной горе так хорошо! Видишь, как красиво лучи играют в воздухе?

— Нет. — Зульфия внимательно оглядывается вокруг. — Давай же спустимся.

* * *

Выезды на природу, кутежи в кафе и ресторанах продолжались. Салават ощущал в себе неисчерпаемые силы, небывалый душевный подъем. Зульфия, казалось, вернула его в прекрасную страну молодости. Напрочь исчезла щемящая душу грусть, мучившая в последние годы от осознания прошедшей молодости. Теперь, наоборот, с лица его не сходила глуповатая, но счастливая улыбка. Он ведь еще ого-го! Всего-то тридцать девять. Что эти года для мужчины?! Сердцем-то он молод! Салават становился взбалмошнее день ото дня, объятый пламенем, как думал, последней любви. Неистов-

¹ Безмен (от тюрк. batman — старинная мера веса) — простейшие рычажные весы.

² Меджнун и Лейла — герои популярнейшей на Востоке легенды о возлюбленных.



ствовал от ощущения счастья. Вернее, тщетно пытался хоть на время удержать тень, фантом молодости, уже ушедшей за горизонт...

* * *

Конечно, жена Салавата Лилия быстро смекнула, в чем дело. По этой причине в доме часто вспыхивали скандалы. Вот и сегодня, долго постоив, всматриваясь в мужа, учинила допрос:

— Скажи правду, ведь гуляешь?

— Не говори ерунды...

Жена похлеще следователя-чекиста уперлась в супруга тяжелым взглядом:

— Меня не обманешь! Лучше сам признайся: с кем таскаешься? Все равно я ее скоро отыщу!

— Ни с кем я не гуляю! — Салават упрямо стоял на своем, будто партизан, попавший в когти врагов.

Жена смотрела на него не мигая, словно удав, помышляющий проглотить зачарованную взглядом жертву.

— Говори правду, с кем распутничаешь? — Глаза Лилии злобно заблестели.

Знает, что ее взгляд имеет силу. Рассказывали, стоило ей в юности восхититься маленьким теленком со

словами: «Какой красивый!», как бедное животное тут же могло слечь и испустить дух. Салават почувствовал себя неуютно, но виду не подал:

— Не морочь голову! Когда мне с бабами возиться, день и ночь по работе мотаюсь! — И вправду, хоть он и пребывал в любовном угаре, но о делах не забывал.

Жена начала горячиться: ее ресницы и толстые губы задрожали, очень смуглое лицо болезненно искажилось. Резким движением открыв шкаф, лихорадочно ощупала одежду мужа, вывернула карманы, даже пригнулась. Наконец, откуда-то вытянула волосок и пронзительно взвизгнула:

— Ага, волос любовницы! Бесстыжий! Наглец! Племенной бык! Продажная шкура! Уходи к своей потаскушке! Насовсем уходи!

Довольно красивая, Лилия в эти минуты стала просто отвратительной: лицо страшно перекосилось, рот скривился, злобно сверкающие глаза едва не выкатывались из орбит. По привычке направила она на мужа указательный палец правой руки, будто дуло пистолета, и от всей души вlepила в него ядовитые слова-пули:

— Племенной бык! Предатель! Сволочь! — Вдруг она вытащила из-под воротника пиджака какую-то иголку. — Видишь, любовница тебя околдовала! Сделала приворот! Потому и неймется тебе, как быку племен-

ному! Думаешь, любовь? Не-а, это всего лишь приворот... Говори правду, с кем?!

— Да ни с кем я не гуляю, прекрати истерику! — Салават попытался приструнить жену. — Угомонись! Как говорится, начнет корова брыкаться — пострашней коня становится.

Лилия стремительно побежала на кухню и принялась крушить посуду. Тарелки и чашки со звоном разбивались об пол, несколько штук пролетели прямо над головой мужа. Да, вспыльчивая досталась жена... Видно, небесной канцелярией отписаны ему именно такие женщины. И по знаку зодиака всегда попадались одни хищницы: то лев, то змея, то дракон, то скорпион... А ведь сам он всю жизнь искал нежно воркующую голубку.

— Бык племенной! Развратник! Проститут!

Скандал длился довольно долго. И терпение Салавата лопнуло: он достал из холодильника водку, налил стакан до краев и залпом выпил. Жена прикусила язык. Махом допив остаток бутылки, вызвал водителя.

Когда сел в машину, шофер задал короткий вопрос:

— Куда везти?

— К Зульфие, а потом — в ресторан!

Целая бутылка водки, только что опустошенная в одиночку, нисколько не ударила в голову.

Зульфия не заставила ждать, бабочкой выпорхнула на зов. На ней — подаренные Салаватом украшения и дорогое вечернее платье, лицо светилось радостной улыбкой.

— Я чувствовала, что приедешь, ждала тебя!

Поехали в ресторан.

Зал был почти полон по причине профессионального праздника — дня работников торговли. Салават заказал хороший коньяк, вино для Зульфии, антрекоты, салат и минералку.

— Почему без настроения, опять твоя пристаёт? — нарушила тишину Зульфия, когда официантка отошла, поставив на стол напитки в графинах и еду.

При слове «твоя» перед глазами Салавата предстало перекошенное от злобы лицо жены, заставив на мгновение помрачнеть. Не ответив, он поднял рюмку:

— За нашу любовь!

Тост пришелся Зульфие по душе:

— За нашу любовь — до дна!

Выпив еще по несколько рюмок, они начали танцевать под медленную мелодию. Зульфия тесно прижалась к нему и, обдавая жарким дыханием, страстно зашептала:

— Я люблю тебя! Ты для меня — самый близкий человек! Я не могу без тебя! И не хочу. Любимый мой... Скорей бы нам быть вместе. Всегда!

— Я тоже тебя люблю, только помни: у меня трое детей. Я их никогда не брошу. Поступлю по мусульман-

ским канонам: даст Лилия согласие — возьму тебя второй женой...

— Опять ты о ней! — Красивое лицо Зульфии погрузнело. Но она быстро овладела собой и снова заворковала: — Дорогой мой, никого я не любила до тебя. Как же я счастлива с тобой...

Наконец выпитое ударило в голову. Еще после двух-трех рюмок тиски стресса разжались, и Салават почувствовал себя совершенно счастливым. В объятиях — самая красивая и любимая! Что еще нужно мужчине в расцвете сил? Пишут, мол, в Узбекистане, Таджикистане уже приняты законы о многоженстве, глядишь, и до нас дойдет эта лафа. Настанет долгожданное время, когда он сможет вволю жить-поживать с обеими женами. Предки, вон, не только с двумя, даже с тремя-четырьмя благоверными жили не тужили. А супруги даже не помышляли о скандалах. Лилия тоже никуда не денется, потихоньку привыкнет, смирится...

Салават с купеческим жестом бросил музыкантам щедрые чаевые и заказал «Цыганочку». Торговцы — народ дружный. С первыми звуками задорной мелодии разгоряченные от выпитого люди пустились в пляс. Честно говоря, мало кто отжаривал мастерски — каждый кривлялся как умел. Зато — от всей души. Салават не отставал от других, ему сегодня — море по колено. Некоторые, особенно женщины, с уважением и интересом посматривали на него. Дескать, видели, кто заказал веселую музыку... Зульфие по душе такое внимание, она в запале кружится вокруг Салавата. Похоже, под влиянием танца хмель еще сильнее ударил в голову... Как говорил Киса Воробьянинов, душа требует продолжения праздника!

После того как разудалая «Цыганочка» смолкла, он решил не выпускать вожжи из рук. Пошатываясь, подошел к микрофону и объявил:

— Уважаемые дамы и господа! Перед вами — моя любимая младшая жена Зульфия. Вот она! — обнял он Зульфию.

Разгоряченная публика, которой в зале довольно прибавилось, дружно захлопала. Одна женщина, не сдержавшись, задала вопрос:

— Говорите, младшая жена? Значит, есть и старшая?

— Да, у меня есть и старшая жена!

Люди зашумели. А Салават продолжил:

— Уважаемая публика! Позвольте в честь моей младшей жены, дорогой Зульфии, исполнить песню!

Охранник попытался урезонить Салавата, но зрители тут же осадили:

— Не мешай! Пусть поет!

С любовью глядя в черные как ночь глаза Зульфии, Салават затянул:

Очи черные, очи страстные!
Очи жгучие и прекрасные!

Как люблю я вас, как боюсь я вас,
Знать увидел вас, я в недобрый час...

Взявшись за руки с Зульфией, он с чувством допел и обнял ее. Празднующие дружно зааплодировали:

— На бис! На бис!
— Пой еще!

Салават не заставил себя долго уговаривать, затащил любимую:

Клен ты мой опавший, клен заледенелый,
Что стоишь, нагнувшись, под метелью белой?
Или что увидел? Или что услышал?
Словно за деревню погулять ты вышел.

Знаменитый романс публике пришелся по душе, многие вдохновенно подпевали. Салават вновь взял слово:

— Мою младшую жену зовут Зульфия! Посвящаю ей башкирскую песню «Зульфия». — Не дожидаясь одобрения слушателей, запел:

То любовью своей, то холодностью
Не терзай мне душу, Зульфия.
Коль обижусь, больше не приду,
Будешь сожалеть, Зульфия.
Зульфия, Зульфия,
Сердце любит лишь тебя...

Салават пел с огромным воодушевлением. Увидев отзывчивость слушателей, продолжил:

Увяли сорванные мной цветы...

Под рукоплескания и одобрительные возгласы наконец вернулись к столу. Зульфие понравилось всеобщее внимание, она довольно улыбалась.

Поздней ночью поехали на квартиру, снятую Салаватом для любимой. Он продолжал заливаться и в такси:

Зульфия, Зульфия,
Сердце любит лишь тебя...

* * *

Отношения с Зульфией не всегда бывали безоблачными. То ли из-за скверного нрава, то ли с расчетом она частенько нагнетала напряженность между ними. Вот и сегодня, во время так прекрасно начавшегося очередного свидания, вдруг обронила:

— Я у Карима денег одолжила...

Салават тут же вскинулся:

— Что еще за Карим? Почему берешь займы у чужого мужчины?!

— Срочно понадобились деньги...

— Как ты можешь просить денег у какого-то постороннего мужика? А меня за кого считаешь?!

Зульфия обидчиво надула губки:

— Он хороший парень, шакирд¹, учится на муллу. Шоколадку мне принес, обещал научить намазу...

Салават чуть не лопнул от злости:

— Ах, мулла! Я ему покажу! Сейчас же проучу как следует!

Салават почти бегом добрался до машины искомандовал шоферу:

— В медресе возле мечети!

Вызвав шакирда через водителя, он втолкнул его на заднее сиденье и грозно заорал:

— К моей жене пристаешь, чмо?!

Парень сразу сник под тяжелым, полным ненависти взглядом Салавата. Запинаясь, пытался оправдаться:

— Вы что, абзый²? Я и не думал приставать к Зульфие. Вы меня неправильно по-оняли...

— А зачем шоколадку дал?!

— А-а, просто так, абзый, ничего греховного не замышлял. Я т-только хотел ее... научить намазу...

Эти слова еще пуще взбесили Салавата, он схватил парня за ворот и стал с остервенением трясти:

— Я тебя научу намазу! Так проучу, век не забудешь! Слушай внимательно: Зульфия — моя младшая жена, и я тебе категорически запрещаю приближаться к ней, понял?

Молодой человек растерянно молчал.

— Подойдешь к Зульфие ближе чем на десять метров — ноги переломаю!

В этот момент Салават выглядел настолько свирепо, что парень побагровел, затем побледнел и промывчал что-то невнятное.

— Я же... вы... э-э...

— Десять метров! Уяснил?

— Все, абзый, я понял...

— Дуй отсюда! И не попадайся мне на глаза!

Парня как ветром сдуло.

Зульфие дикая выходка Салавата, как ни странно, понравилась. А он день ото дня становился все безудержнее. Приноровился каждый вечер, под предлогом прогулки, наведываться на квартиру к возлюбленной для проверки.

¹ Шакирд — студент медресе или аналогичного мусульманского учебного заведения.

² Уважительное обращение к старшему мужчине.

Однажды почувал — Зульфия что-то замышляет. Решил: поздней ночью обязательно проконтролирует...

Да разве стерпит влюбленное сердце? Не дождавшись ночи, взял из набора большой нож, задумчиво повертел в руках и повесил на место. Замешкался, выбирая. Вскоре вышел из дома с огромной отверткой во внутреннем кармане пальто. Сел в машину. Водитель — надежный парень, прошедший Чечню, всем видом выказывал неодобрение действий начальника. Он почувствовал неладное, но молча погнался за автомобилем.

Доехали с ветерком. Салават вошел в подъезд, поднялся на четвертый этаж... Зульфия стояла на лестничной площадке с какой-то девушкой. Обе навеселе. Она тут же бросилась к возлюбленному и попыталась обнять.

— Хитришь? Пытаешься в квартиру не пустить? Уйди! — Грубо оттолкнув любимую, с разъяренным видом влетел в квартиру.

А там — два парня лет двадцати пяти. Не помня себя от ярости, Салават заорал:

— Зарежу, сволочи! — Вытащил из кармана отвертку и замахнулся на соперников. — Кто из вас с Зульфией, признавайтесь!

Парни оказались пугливыми, как зайцы. Вскочили с дивана и, ловко увернувшись от Салавата, ринулись к двери. Он успел пнуть одного под зад, но попал слабо. Ничего, подумал он, шофер — джигит не промах, поймает негодяев, он как раз там, внизу. Салават распахнул дверь и заорал на весь подъезд:

— Держи чмошников! Хватай! Не пускай!

Но водитель и не подумал следовать указанию начальника. Он молча посторонился, пропустил парней... А сам испытующе поглядел на Байгазина. Да, Салават в последнее время не только не замечал странностей своего поведения, но и не ведал, что творит...

Салават не стал возвращаться домой. Зульфия подарила ему восхитительную ночь. В эту волшебную ночь любви, впервые испытав всю полноту страсти кипчацкой девушки, он потрясенно прошептал:

— Зульфия, как ты можешь так услаждать меня?!

— Губы мои, все тело будто сами все знают... Простю я очень сильно люблю тебя и никому не отдам. Рано или поздно, будешь только моим... — Ласковые руки Зульфии продолжали поглаживать Салавата нежнейшими прикосновениями, горячие губы беспрестанно осыпали сладчайшими поцелуями.

Увы, коротка девичья память: той прекрасной ночью они не могли насытиться друг другом, а на следующее свидание Зульфия не пришла. Опаленный огнем страсти, Салават искал ее по всему городу: побывал в квартире, осмотрел парки, другие места. Почти выва-

ливаясь из окна машины, всматривался в прохожих девушек, и в каждой ему мерещилась Зульфия.

— Вот она! Зульфия! Подъезжай поближе! — командовал он шоферу, а остановившись подле изумленной девушки, бормотал: — Не она...

Через несколько минут снова вопит:

— Нашел! Зульфия! — И опять ошибался. Шофер удивленно посматривал на шефа.

Снова поехали на ее квартиру. Скорее всего, она уже дома. Но Зульфий не было. Салават, словно завороченный, нетвердой походкой подошел к шкафу, достал сорочку, бюстгальтер ненаглядной, прижал к лицу и с наслаждением стал вдыхать запах возлюбленной. Ни с чем не сравнимый и сладчайший аромат любимой он различил бы из тысяч... Перед глазами так явственно встала Зульфия, что голова закружилась. В это мгновение он напоминал Меджнуна, прижавшего к груди Лейлу...

А со следующего утра Зульфия сама начала преследовать Салавата: беспрерывно звонила по телефону. Всерьез оскорбившись за вчерашнее, он разговаривал с ней нарочито неохотно, даже грубо. Сославшись на занятость, раз за разом бросал трубку. Зульфия звонила вновь и требовала немедленной встречи. Салават опять швырял трубку. Зульфия не отступала:

— Дорогой мой, пожалуйста, дослушай! Я же люблю тебя! А вчера просто не могла с тобой встретиться, прости, причину объясню позже. Я так по тебе соскучилась! Приезжай обедать, жду тебя...

После некоторой паузы Салават проговорил:

— Посмотрим, если будет время...

— Я буду ждать тебя! — умоляла его Зульфия.

Салават промолчал. Положив трубку, крепко задумался. Кто может понять этих женщин? И родился ли еще на свет мужчина, способный разгадать их тайну? Хотя и сотворена из ребра Адамова прама-терь Ева, женщины — совсем другие существа... Отчего же они вначале заставляют мужчин гореть в огне страсти, а потом окатывают ледяным холодом? Затем снова бросают в самое пекло... С ними сложно, но и без них невозможно.

И почему он любит женщин так безоглядно? Они очаровали Салавата еще сизмальства. Помнит как вчера: стоял погожий летний день. С матерью шли по деревенской улице. И вдруг со скрипом отворилась калитка небольшого домика и появилась девушка невиданной красоты. Семилетнему Салавату показалось, будто само солнце сошло с небес. Голубое платье облегло ее стройный стан, волосы цвета лепестков подсолнуха ниспадали на округлые плечи, губы застыли в полуулыбке, глаза синие-синие, словно безоблачное небо, лучились волшебным светом, озаряя душу

Салавата. Тогда он остолбенел, впервые увидев столь ослепительную красавицу, наверное, дочь джиннов, каким-то чудом пришедшую из бабушкиных сказок и воплотившуюся в образе земной женщины. Салават во все глаза восторженно смотрел на девушку и ждал: сейчас содрогнутся величественные скалы за рекой и рухнут к ее ногам...

И действительно, послышался оглушительный грохот. То взрывали высокую гору Шахтау, крошили камни для завода. Салават даже не вздрогнул от грохотанья. Взрывали каждый день, и все уже привыкли. Как зачарованный он не хотел и не мог отвести взгляд от прекрасной девушки. Мать насилу увела его, и они продолжили путь...

И Купидон, тот еще шалун, пронзил золотой стрелой сердце Салавата слишком рано: уже во втором классе полюбил Земфиру — девушку с волосами цвета лепестков подсолнуха. Написал записку с признанием, но не отдал, а спрятав в коробочку из-под патефонных игл, зарыл в цветочный горшок.

В пятнадцать лет он всерьез начал ухаживать за Земфирой. Но счастье продлилось недолго — всего годик. Узрев, как он тоскует по светловолосой, мать попыталась объяснить, что нельзя любить девушек так сильно. Иначе они возгордятся и отвернутся от тебя. Увы, Салават не умел любить вполсилы. Если уж полюбил, то готов был вырвать собственное сердце из груди и отдать любимой.

Салават до сих пор бережно хранит в душе воспоминания о незабвенной первой любви. Изредка достает из укромного места и подолгу разглядывает дорогие сердцу реликвии: зеленую варежку Земфиры и ее пожелтевшие письма. А фотокарточек девушки с волосами цвета лепестков подсолнуха у него уже нет, их порвала жена.

Несмотря на вчерашнюю обиду, Салават как на крыльях помчался к любимой. Зулфия встретила его с расprostертыми объятьями и жаркими поцелуями. Ласково усадив за стол, стала настойчиво потчевать:

— Кушай, любимый мой, кушай! — Она не сводила с него нежного взгляда.

— Спасибо, шурпа очень вкусная!

От похвалы Зулфия просто засияла:

— Правда? Ты не преувеличиваешь?

— Нет, конечно! И бишбармак — язык проглотишь!

— Для тебя старалась.

— Спасибо, моя малышка...

— Я всегда буду так... Всю жизнь бы тебя так кормила... — Зулфия с обожанием уставилась на него. — Милый, когда же мы будем вместе?

Не желая нарушить установившуюся меж ними идиллию, Салават не стал повторять привычный ответ

на этот вопрос, звучащий с ее уст с каждым днем все настойчивее.

— Ты не поела, попей хотя бы чаю, — ушел он от щепетильной темы.

— Нет, мне не хочется, — отказалась Зулфия.

А Салават привычно нырнул в водоворот мыслей.

Эх, жизнь... Сколько раз Салават, лаская шершавыми ладонями нежные щеки Зулфии, задавал себе тот же вопрос? Но он вовсе не собирается бросать жену. И дело не только в детях. Лилию он тоже любил. Когда поженились, Салавату было двадцать два, Лилии — всего двадцать. Он до сих пор скучает по той поре. Только вот полыхавшая вначале красным огнем взаимная любовь через пару лет приняла цвет спелой вишни, затем — тона алого рассвета, позже — оттенки бледно-розового фламинго, а в последние годы стала напоминать увядшую и почерневшую розу.

Отчего любовь между мужчиной и женщиной не остается навсегда яркой, как пламя, или хотя бы нежной, как розовая заря? Меркнут и тускнеют со временем краски любви. Не по этой ли причине некогда обожавшие друг друга супруги начинают поглядывать на сторону?

Жизнь без любви — медленное тление. А связь с Зулфией — прелюбодеяние. Почему же Всевышний запретил безбрачную любовь так жестко, поставил в один ряд со смертными грехами и даже с убийством? Салават пока не может этого понять... Что же делать? Как избавиться от тяжкого греха? Может быть, им заключить никах? Для этого нужно согласие Лилии. Но она никогда не даст благословения. Провести обряд тайком? Тоже, говорят, непозволительно...

Совсем еще недавно, до встречи с Зулфией, Салават не слишком заморачивался по такому поводу. Выпадает случай — иногда пользовался возможностью. Ведь большинство мужчин привыкли относиться к подобным вещам проще, с точки зрения охотника. В любой мужской компании на трезвую голову говорят о политике, после двух-трех рюмок водочки — о рыбном улове и подстреленной дичи, а тяпнут еще — начинают напропалую хвастаться завоеванными женщинами.

Так уж сложилось: шалости мужчин на стороне воспринимались всегда обществом почти как удалство, а измены женщин считались низостью и позором. Но теперь как будто огненная колесница, запряженная двумя пристяжными кентаврами и коренником — черным козлом, с оглушительным грохотом во весь опор промчалась по сумрачному небу, и перевернулись с ног на голову и пали нравы людские.

Теперь уже женщины бахвалятся мужчинами, которых соблазнили.

Салават в молодости вовсе не был ловеласом. Хотя и с вождением относился к женщинам, совесть его всегда держала в узде похоть. В юности любил он Земфиру чисто платонически. В первые годы после женитьбы сохранял верность жене. Как же он умудрился под сороковник пуститься во все тяжкие?

— О чем задумался, дорогой мой? — отвлекла Салавата от тяжелых мыслей ластящаяся возлюбленная.

Сегодня Зульфия снова подарила Салавату ласки, сводящие с ума. И вновь настал тот сладкий миг, когда их слившиеся в одно целое тела преодолели силу земного притяжения и воспарили ввысь.

После свидания с желанной Салават неохотно вернулся домой. Главу семьи никто не встретил. Прежде, когда он возвращался с работы, дочери, радостно щебеча, как птички, подбегали и бросались в объятия. Беспрерывные скандалы родителей отдалили детей от отца. Недавно обе дочери, десяти и двенадцати лет, завыли:

— Папа, раньше мы больше любили не маму, а тебя. А сейчас мы тебя не любим, потому что ты путаешься с чужими женщинами.

Салават не знал, что и ответить. Слова девочек вонзились в сердце отравленной стрелой.

А пару дней назад семнадцатилетний сын Рустам сильно удивил его, вдруг выпалив:

— Пап, я все знаю. Не осуждаю, что ходишь на сторону. Я тебя понимаю... — Его лицо выражало полное согласие.

Удивляет его Рустам: совсем не ладит с матерью. Салават не может понять причину, да и не до этого ему в последнее время...

В прошлом году классный руководитель сына, оставив Салавата после родительского собрания, рассказала про неприятный случай. На классном часе рассуждали на тему отцов и детей. Рустам послушал-послушал, затем неожиданно встал и всех ошарашил: «А вот я ненавижу мать, а люблю только отца!»

За те слова сыну крепко досталось от отца. А Рустам лишь молча глядел на него исподлобья, изредка недобро ухмылялся и даже не думал оправдываться. Невоздержан он на язык, весь в маму. И горячностью похож на нее. Плохо относится к женщинам. Как-то вскользь обронил, мол, все они продажные...

Салават на кухне пил чай. Вдруг влетела Лилия и бросила на стол какие-то иголки.

— Полюбуйся, нашла у порога!

Муж удивленно уставился на нее.

— Не понял, что ты этим хочешь сказать?

— Конечно, не поймешь, где уж тебе... — Она резко повысила голос. — Не понимаешь, так разъясню:

околдовала нас твоя любовница! Нам четверым подбросила четыре иголки! Сделала на смерть!

— Нас же пятеро, — успел вставить Салават.

— Зачем ей тебя убирать? Этой змеюке пока ты нужен, а мы ей помеха! — Лилия металась по большой кухне, глаза ее зловеще поблескивали. В такие минуты она становится похожей на темпераментных мексиканок из телесериалов. — План ее совершенно ясен: сперва с помощью магии она убьет меня, затем займет мое место и изведет наших детей...

Салават поперхнулся чаем:

— Уймись, что за бред ты несешь?!

— Пойми, наконец, скоро и ты не будешь нужен этой шлюхе! Вот приберет к рукам нашу элитную квартиру, дачу, магазины, потом и тебя устранил колдовством! Неужели ты не можешь осознать, что только из-за приворота бегаешь за ней, как кобель за течной сукой...

— Чего ты городишь? Какое колдовство?! Глупыми сказками мне голову морочишь! — вышел из себя Салават.

Жена вынула из кармана халата бумажные обрывки:

— По-твоему, это тоже сказки? Вот, наклеили на двери всех подъездов нашего дома. Послушай, что пишут: сделаю приворот любимому, отворот постылому, недорогого... — Она бросила бумажку на стол и стала читать следующую: — Наведу порчу на ваших врагов, уберу насланную на вас. Предсказываю, результат гарантирован. Профессиональная колдунья в седьмом поколении. — Лилия ткнула дрожащим от злости пальцем в стопку газет. — Тут тоже полным-полно объявлений с предложениями таких услуг. Зайди в любой книжный магазин, загляни в газетный киоск — везде продаются брошюры о черной, красной и даже белой магии. Весь мир заполнили ворожеи и колдуны, а ты не замечаешь...

— Да это же старушечьи сказки!

— Приворотом тебе мозги отшибли, а ты все еще не веришь, дуралей?

— Сама ты дура! Приворот, колдовство... У тебя явно крыша съехала! — выкрикнул Салават и тут же схватился за живот: резко закололо с обоих боков. Спустя несколько минут боль обострилась.

— Где болит? — спросила Лилия, внимательно наблюдая за мужем.

— Ох-х, вот тут... — Салават приложил ладони к животу.

— Значит, почки! — заявила жена, злорадно улыбаясь. — Говори правду: где сегодня обедал?

— Ох-х, в кафе, — выдавил Салават сквозь зубы. — Домой уже и не тянет, каждый день сканда- лишь без причины, ох-х...

— Не ври, ты не в кафе был! Значит, эта подстилка напоила тебя каким-то зельем — вот и болят почки!

— Ох-х, нет... в кафе, ох-х, — стонал Салават.

— Раз не умеешь, не обманывай: любая твоя ложь и слепому видна...

— Сказал же, ох-х...

— Поклянись хлебом, что не обедал у любовницы! — Жена всучила ему сухарик и грозно уставилась в глаза.

— Уйди отсюда, ты доконаешь меня глупыми допросами, ых-х...

— Не я, а путанка твоя доведет тебя до ручки! — Лилия быстро достала откуда-то тоненькую брошюру, нашла нужное место. — Вот, слушай, что тут написано: передозировка приворотного зелья вызывает почечные колики. Понял теперь, из-за чего заболел?

— Уйди, не болтай, ох-х... — Салават со стоном метался по квартире.

— Выкладывай, с кем путаешься? Я эту суку все равно найду и глаза выцарапаю!

Не выдержав жуткой боли, Салават в сердцах закричал:

— Да ты палач! Настоящий палач! Видишь, в каком я состоянии, а продолжаешь мучить бредовыми допросами! Ох-х, не могу...

Будто того и ждала, Лилия завопила дурным голосом:

— А моих мучений ты не замечаешь? Я уже почернела от горя! Из-за этой напасти света белого не вижу! Когда нет согласия в доме, ничто не радует... — Лилия громко завывала, по обыкновению, без слез. — У-у, подлая душа! Бык племенной! Кобель ненасытный! Предатель! Проститут! Спишь и видишь, как меня добить и молодую взять! Вот умру — узнаешь мне цену! Будешь в ясный день со свечой искать — а меня не бу-у-удет!..

Боль стала нестерпимой: будто в почки непрерывно втыкали иглы. Да и скандал вконец вывел из себя. Салават взревел раненым зверем:

— Хватит! Достала уже! Мне обрыдли твои разборки! — Не умирать же, в самом деле.

Он схватил телефонную трубку, вызвал скорую помощь.

* * *

Салавата продержали в больнице несколько дней, однако причину колик так и не выяснили. И он всерьез задумался над тем, что говорила жена. Десятки раз прокрутив в голове слова жены о привороте, подумал: может быть, Лилия права? Попробовал отогнать нехорошую мысль: мол, откуда столь юной Зульфие вестать

про ворожбу... Но тут же вспомнил про навязчивые объявления, наклеенные всюду, рекламные листовки, брошюры, книги. Конечно же, Зульфия не могла не видеть так и лезущую в глаза рекламу. Вдруг и вправду могла позвонить по телефону и пойти к колдунье... Она же безбашенная.

Было дело, Салават нанял двух преподавателей, кандидатов наук, для подготовки Зульфий к поступлению в институт. Дескать, пусть времени зря не теряет, получает высшее образование. И что она выкинула на экзамене? Написала такое сочинение об Онегине и Татьяне... Мол, как Татьяна — Онегина, Зульфия безумно любит Салавата, и рано или поздно он будет принадлежать только ей...

Салават решил поговорить с Зульфией начистоту. Глядя прямо в глаза, спросил:

— Признайся честно: это ты напоила меня приворотным зельем?

Странно, но неожиданный и несколько чудной вопрос не вызвал никакой реакции. Зульфия не удивилась, не рассердилась, не обиделась, даже ухом не повела. Лишь ограничилась кратким «нет».

Салават продолжил:

— В больницу я попал после того, как пообедал у тебя. А почечные колики обычно бывают, если переборщить с приворотом. Скажи правду, ты подсыпала мне в пищу какое-то зелье?

— Нет.

Салават начал сердиться:

— Ты пойми, привораживание — колдовство и строго карается Аллахом. Пока не поздно, сознайся: ты сделала мне приворот, не зная, что это грех?

— Нет, — повторила Зульфия.

Скупость ее ответов возмутила Салавата:

— Точно нет?

— Нет.

Салават всерьез разозлился. Он совсем иначе представлял себе объяснение в столь серьезном вопросе: думал, Зульфия будет горько плакать и каяться. Мол, только из-за любви к нему она пошла на такой шаг. Салават прижмет ее к груди, утешит... А потом с помощью щедрой милостыни и благих деяний они избавятся от тяжкого греха. Если б хоть отвечала по-человечески. А то заладила как робот: «нет» да «нет».

— Ну если «нет», повторяй за мной: валлахи-билляхи, клянусь — не делала тебе никакого приворота! Ну же!

Зульфия сидела, будто воды в рот набрав.

— Почему молчишь? Язык проглотила? Давай же, повторяй за мной!

Как ни старался, Салават так и не смог заставить Зульфию побожиться.

Домой вернулся как в воду опущенный. Почему-то Лилия сегодня не встретила руганью и проклятьями. Посидела рядом с унылым видом, помолчала, потом тяжело вздохнув, тихо вымолвила:

— Умру я, наверное... Изведет меня твоя любовница. Когда помру, убереги детей от ее колдовства...

— Сколько можно тебе твердить: нет у меня никакой любовницы!

— Не обма-а-анывай... — протянула Лилия и жалобным голосом повторила: — Умру скоро...

Стиснув зубы, Салават смолчал. Как же эта баба ему надоела, допекла, осточертела, опротивела! Уже восемнадцать лет выносит ему мозги суеверием. То ей сруб приснится, то во сне в бане помоеется, то покойник за собой поведет. Расскажет дурной сон и талдычит одно и то же: умру, наверное. Всю душу ему измотала дурными предчувствиями. Прежде он, веря ее словам, даже сокрушался. А сейчас пообвык, особо не тревожится.

Хоть и часто хворала Лилия, но в поликлиники не ходила. Пожалуеться, что болит голова, живот или сердце, свернется калачиком и лежит.

Однажды мать Салавата Азнабика глядела-глядела на сноху и в сердцах выпалила:

— Эх, невестушка, болеешь без конца, что ж нам с тобой делать?

А он защитил:

— Мама, зачем же так? Лилия действительно болеет!

Мать усмехнулась и засыпала вопросами:

— И чем же? Воспалением хитрости? Если нет, то почему в больницу не идет?

— Не знаю. Разве не видишь, нездоровится ей!

— Вижу, очень хорошо вижу: здорова твоя женушка, просто хитрит, работать не хочет! — припечатала мать, известная прямолинейным, но незлопамятным нравом.

— Прекрати, мама, не обижай Лилию понапрасну!

— Эх, сынок, уж слишком ты наивный! Как же жить-поживать да добра наживать с такой хитровкой и лентяйкой? Ума не приложу. Сядет тебе на шею, свесит ноги и будет всю жизнь вокруг пальца водить.

Родной брат Лилии, Мансур, беспокоясь за сестренку, привез ей заговоренное ягодное варенье от знахаря. Велел принимать с чаем. Но Лилия не притрунулась, побрезговала.

Из-за слабого здоровья Лилия нигде толком не работала. Салават не настаивал, наоборот, заявил: сиди дома, готовь пищу и занимайся детьми. А готовит она вкусно. И в рукоделии мастерица. За детьми ухаживала хорошо, только в детские сады и кружки не водила. Если болели, и в больницу не обращалась. Лечила сама какими-то травами.

С самого начала бизнес Салават оформил на жену, чтоб шел ей стаж. Попробовал возложить на нее бухгалтерию. Не тут-то было: Лилия за магазинами приглядывала из рук вон плохо, предпочитая зорко следить за супругом.

Настоящая домашняя клуша Лилия, курица-наседка. После рождения детей потеряла передние зубы. Салават несколько лет не мог заставить ее сходить в стоматологию. Пытаясь скрыть беззубость, на людях она так криво улыбалась, что выглядела жалкой и нелепой. А Салават готов был провалиться под землю от стыда.

— Не слышишь разве, говорю же, помру скоро... — прервала невеселые мысли мужа Лилия.

— Опять дурной сон приснился?

— Нет, не во сне, а наяву смерть к себе зовет: вижу веревку — хочу повеситься, моюсь в ванной — тянет вены перерезать, выйду на улицу — так и хочется под машину броситься...

В душу Салавата закрались сомнения, он обеспокоенно вгляделся в вымотанную за последние дни жену:

— Измучилась?

— Да, худо мне, Салават. Твоя любовница меня на смерть заколдовала. Если ничего не предпримешь — жди моей кончины...

— Да сколько уже повторять: нет у меня любовницы!

— Не умеешь врать — лучше не ври.

Что делать? Слова Лилии всерьез встревожили Салавата. Если вдруг и впрямь возьмет да помрет, как один с тремя детьми управится? Нет, он не желает Лилии смерти. Пусть и жена, и любовница будут живы-здоровы. Только каждая должна знать свое место и уживаться с другой. Они обе нужны и дороги Салавату.

Поломав голову, он внезапно вспомнил: знакомый предприниматель хвастался, что приехала к нему из Узбекистана тетка-экстрасенс и так очистила энергетически, что семейный бизнес пошел как по маслу. Надо немедленно везти Лилию к этой знахарке. Если и вправду ее околдовали — во что бы то ни стало надо спасать женщину.

Салават решил разом поймать двух зайцев: показать экстрасенсу обеих женщин. Конечно же, взглянув на Зульфию, ворожея наверняка определит, заколдовала она Лилию или нет...

На следующий день он быстро отыскал экстрасенса — словоохотливую женщину лет пятидесяти по имени Фира, объяснил ситуацию, и они поехали на съемную квартиру.

— Ну, миленькая, вспомни-ка самые радостные мгновения своей жизни: расслабь руки-ноги и все тело, — сказала она Зульфие, многозначительно улыбаясь.

Зульфия ответила ей насмешливой ухмылкой.

Прищурившись, экстрасенс внимательно вгляделась в нее:

— Так-так, здоровье у тебя отменное, состояние души тоже нормальное. Ну да, мучает тебя одна задумка, сама знаешь... — Она повернулась к Салавату. — По правде говоря, тут и смотреть нечего.

Салават заплатил экстрасенсу и повез к себе домой. По пути попытался получить ответы на мучающие его вопросы, но женщина ничего вразумительного не сказала, ограничилась невнятными общими словами. Лишь в конце разговора обронила:

— Будьте с ней осторожнее, она опасна...

Салават напрягся:

— В каком смысле?

— Старайтесь не злить, проклясть может.

Слова ведуньи растревожили Салавата. Если две бабы начнут проклинать с двух сторон — не пропадет ли его головушка? Честно говоря, он уже давно понял, что оказался меж двух огней. Но сколько еще выдюжит сердце? Тяжкая, оказывается, доля — сгорать в пламени двух сердец...

Осмотрев Лилию, экстрасенс убежденно заявила:

— Ай-ай-ай, плохи твои дела, милая: на голове — черный-пречерный казан, руки твои связаны арканом в руку толщиной, на ногах — белые тапочки...

И Лилия, и Салават оторопели. Слова знахарки, особенно про белые тапочки, ударили как обухом по голове.

— Как это понять, апай! — с трудом выдавила из себя побледневшая жена.

— А очень просто: чтоб голова не работала, не получала энергию из космоса — надели на нее черный энергетический казан, чтоб ничего не могла предпринять — связали руки толстенным арканом. А смысл белых тапок и сама, небось, понимаешь... — Экстрасенс вдруг заорала истошным голосом: — А видал я тебя в гробу да в белых тапочках! Слышала небось такие слова? Эти белые тапочки... уже надели на тебя, милая.

На краткий миг установилась давящая тишина. Наконец Салават стянул с себя оцепенение и взмолился:

— Спасите, пожалуйста, мою жену, ничего не пожалею, хорошо заплачу...

¹ Обращение к старшей по возрасту женщине (башк.).

Немного помолчав, дама экстрасенс дала согласие.

— Придется тяжело потрудиться, но постараюсь. — Она зыркнула на Лилию. — Скажи спасибо мужу! Кабы он не привел меня, скоро бы уже с жизнью распрощалась. Недолго уже оставалось... — Женщина привычно сощурилась и смерила ее взглядом. — Всего с месяц пожила бы.

— Очень прошу, спасите ее, Фира-апай! — Салават с мольбой в голосе повторил просьбу.

— Сейчас... — Экстрасенс вперилась в Лилию прищуренными глазами. — Чуешь, как обжигают тебе спину своей энергией?

— Ка-кажется, да, то жарко, то холодно... — едва выговорила Лилия дрожащим голосом.

— Убрала аркан, чувствуешь легкость в руках?

— Вроде бы да...

— А сейчас скину с твоей головы черный казан, это потруднее будет... Ого-го, не снимается, зараза, крепко насадили! Ничего-ничего, много я повидала таких казанков! Я тебя хитростью возьму... — Ворожея то щурилась, то зло таращила глаза, беспрестанно размахивала руками. Наконец торжествующе заорала. — О-о-о-о-о! Оп-па! Сбросила-таки! Полегчало голове?

— Да-а...

— А теперь, милая, надо содрать с ног твоих белые тапки. Уф-ф, устала я только... Ничего-ничего, я вас все равно выдерну, белые тапочки! Давай-ка, начали, сядь поближе, вытяни ко мне ноги! Ы-ы-ы! Давай помогай, мысленно постарайся избавиться от проклятых белых тапочек! Давай, давай! Ну! Раз-два, сняли! Еще раз: раз-два, сняли! Оп-па! Получилось-таки, сняли белые тапочки! Я их в форточку выкинула. Уф-ф, аж вспотела вся! — Экстрасенс вытерла лицо носовым платком. — Все получилось, милая, теперь будешь жить...

Салават был озадачен. Даже не знал, верить всему этому или нет. Но страх потерять жену сделал свое: когда грозит смерть матери твоих детей, с которой прожил восемнадцать лет, на что угодно пойдешь...

Сердечно поблагодарив даму-экстрасенса, Салават вручил ей щедрую сумму и велел шоферу отвезти ее. Проводив знахарку, вздохнул с облегчением: слава Всевышнему, вызволил-таки жену из когтей смерти...

Продолжение следует.





Татьяна МЕДИЕВСКАЯ

Татьяна Медиевская — член Союза писателей России, москвичка в четвертом поколении. Окончила МХТИ имени Д. И. Менделеева, Патентный институт, Высшие литературные курсы Литературного института имени А. М. Горького. Работала тренером по фигурному катанию, инженером на строительстве Токтогульской ГЭС, патентоведом в научно-исследовательских институтах и на часовом заводе. Публикуется в журнале «Юность», альманахах и коллективных сборниках. Автор книг стихов, прозы и пьес. Дипломант международных литературных конкурсов.

ОТ РЕДАКЦИИ

Дать пеструю картину мира несколькими штрихами пытались многие. Иногда удачно, часто — не очень. Хотя есть в жанре этом и свои классики... Писатель Татьяна Медиевская вступает на трудный путь, а мы попробуем поддержать похвальные стремления, отдавая ее зарисовкам целую рубрику.



РЕКОНТРА¹

Давно не писала дневник, а сейчас выдалось время перед сном.

Встала, как всегда, в 6:30, заглянула к маме в комнату. Жалобы на бессонницу и боли в суставах. Все штатно в 90 лет. Слава богу, плечо зажило после падения. Зачем, спрашивается, надо было подниматься на второй этаж в комнату Марика? Оказывается, ей среди ночи потребовалась книга по истории древнего Египта: не могла вспомнить фараона из XII династии.

Позавтракали с мужем кофе с бутербродами. Упаковала обеды в контейнеры. Завезла мужа на работу. Он не может водить машину из-за непроизвольного подергивания головой — последствия перенесенного в детстве полиомиелита. Как удачно, что наши фирмы рядом.

На работе все штатно. В перерыве поговорила с сыном. У Марика все хорошо. На новой работе в американской фирме им довольны, и платят хорошо по сибирским меркам.

В конце смены я так устаю, что даже подумываю оставить работу. Пятьдесят шесть лет — но на пенсию не проживешь. Если я брошу работу, то мы не сможем

путешествовать. Собираемся в отпуск в Черногорию. Было бы тяжело, не выезжая, жить в лесу, во сне видеть море рядом с нашей дачей под Одессой и не ощущать его теплой ласки, приветливого шума волн.

Надеялась, что вечер проведу дома, но позвонила свекровь и прокричала, что свекор упал с дивана и не двигается. Поехала. Помогла поднять. Слава богу, он ничего не сломал, а только ушибся. Приложила лед. Свекрови 80 лет, а ничего не помнит — альцгеймер. Свекру 85 лет — бывший узник концлагеря, куда попал ребенком и откуда чудом спасся. Он в уме-разуме, но в остальном очень плох. Предлагаю им нанять сиделку с проживанием, благо квартира просторная. Так нет, наотрез отказываются. Говорят, что никого чужого в своей квартире не потерпят. Я не жалеюсь, но последние пятнадцать лет я к ним чуть ли не через день езжу: то вызвать врача, то — скорую, то надо класть их на обследование, то — на операцию. Мне и с мамой хлопот хватает.

Хочется в выходной и к сыну съездить в Новосибирск, и на внуку полюбоваться. Крошечке Вике завтра будет полтора годика. Бедняжка переболела воспалением легких. Мы все переболели гриппом, но сильнее всех мама с высокой температурой, а внучка вот с осложнением. Невестка почти не занимается малышкой.

¹ Карточный термин в бридже: реконтра — утверждение, что заявленный контракт все-таки будет выигран. Применяется только после контры противника.

Все — сын: в садик ее водит и забирает, кормит, спать укладывает. Души в ней не чаёт!

В 21:00 вернулась домой, зашла к маме, померила ей давление, закапала глаза, выслушала упреки и наставления. Ужинали под телетрансляцию баскетбольного матча. Приготовила обед на завтра.

И, наконец, в 22:30 занялась разбором бриджевых партий. Скоро турнир. Нельзя подвести партнера. Кубок Сениоров требует усиленных тренировок. Бридж — вот

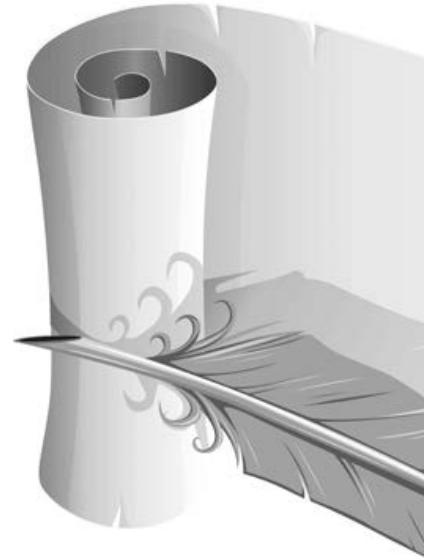
где я наслаждаюсь своим умением анализировать ситуацию и точно принимать решения. Бридж окрашивает мою серую жизнь и дает глоток свежего воздуха. Я часто задыхаюсь от морозов, снежных бурь и домашних забот. Бридж вносит в мою незаметную, небогатую жизнь «маленького человека» праздник азарта и борьбы. Вон на шкафу поблескивают четыре кубка победителя. Моя мечта — Большой шлем под реконтрой.

Вся наша жизнь — игра.





Яна АМИС



Яна Амис родилась и выросла в Москве, в настоящее время живет в Канаде. По профессии юрист, судебная переводчица. Автор многочисленных эссе, рассказов и повестей на русском и английском языках. Печаталась в сборнике «Крым, я люблю тебя» (2016), в журналах «Новый мир», «Русский век», «Новый свет», включена в «Антологию российских писателей Северной Америки». Писательнице присуждена премия Эрнеста Хемингуэя за серии «Слушать полночь» (2017).

ОБЕЩАНИЕ

Рисунки Настасьи Поповой

— Василий, просыпайтесь!

Василий Петрович Потапов открыл глаза. Перед ним стояла медсестра Катя с мензуркой в руке.

— С днем рождения. — Она улыбнулась и протянула лекарство.

Он с трудом приподнял голову, взял мензурку и опрокинул в себя желтую жидкость. Василий уже знал, что ему ампутировали ногу, и знал, что операция прошла успешно. Его оперировал военный хирург Сергей Яковлевич Маслюков, и это он возвышался рядом с Катей.

Выражение лица Василия не изменилось. Его руки были вытянуты вдоль исхудавшего тела, пальцами правой руки он без остановки перебирал кусок простыни, зажатой в кулаке.

Он ничего не сказал и даже не взглянул в сторону врача. Он опять закрыл глаза и начал проваливаться в сон. «Нога», которой уже не было, болела, но сегодня утром — терпимо. Про себя он по-прежнему называл забинтованную культю «ногой».

— Поздравляем, Василий, — приветливо пробасил Маслюков, — тебе сегодня стукнуло 19 лет.

— А зачем они мне? — почти неслышно спросил Потапов с закрытыми глазами.

Маслюков послал незаметный взгляд сестре, и они вышли из помещения, называемого послеоперационной палатой. Здесь, на соседних свежесколоченных столах, лежали другие раненые также с ампутированными конечностями.

Слышались стоны новых инвалидов, две другие медсестры как могли пытались уменьшить их страдания. У Маслюкова больше не было места для прибывающих нескончаемым потоком раненых, но он старался не думать о нехватке мест, медикаментов и персонала. Берег себя и людей для круглосуточной, непомерной работы. Многие раненые умирали, столы освобождались, на них клали новых, истекающих кровью солдат. Маслюков ненавидел смерть, слишком много перевидал в течение войны, и боролся за жизни молодых бойцов до их последнего вздоха. Потапова он также вырвал из рук смерти, стабилизировал после тяжелейшей и длительной операции, а самое главное,

им удалось как следует стерилизовать рану и избежать инфекции, что было очень непросто в условиях полевого госпиталя.

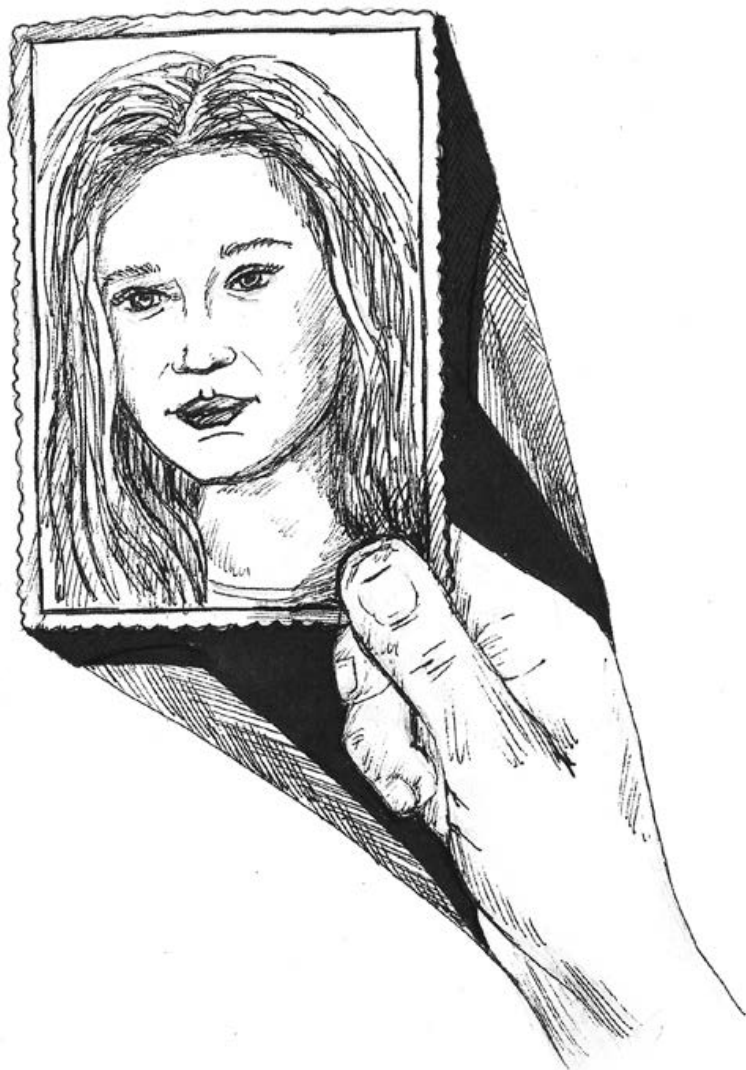
Но доктора беспокоило мрачное душевное состояние Потапова. Молодой лейтенант не хотел жить, бредил по ночам, всхлипывал во сне, просил кого-то простить и забыть его. Иногда на рассвете Потапов просыпался и лежал без движения, уставившись голубыми глазами в одну точку. Издалека его можно было принять за труп, хотя организм его был молодым и живучим, и его крепкое сердце билось жаростно и громко, радуясь жизни, как бы обещая скорое выздоровление.

Потапов был призван в действующую армию в начале августа 1944 года. В середине месяца находился в учебном арtpолке, по истечении срока был переведен в действующую армию, в дивизию пушечно-артиллерийской бригады.

В октябре 1944-го он уже был в Литве на подступах к Восточной Пруссии.

Вскоре их отправили на передовую, началась тяжелая битва за Кенигсберг.

Там они пролежали в окопах всю ночь, с утра их начали обстреливать из минометов. Потапова послали в переднюю цепь, к пехоте. Он выкопал окоп, влез в него, а винтовку оставил на бруствере. Несколько минут стояло затишье. В окопе из нагрудного кармана гимнастерки он достал фотографию Нины. Карие, глубокие глаза Нины сохранились лучше всего на истертой, замызганной от грязи и пота, фотографии. Он прижался губами к ее глазам.



— Такие дела, Нинок, — сказал Потапов, бережно убирая фото в карман гимнастерки. — Буду стараться вернуться, как обещал, хотя тут от меня мало чего зависит.

Он в который раз вспомнил их последнюю, перед отправкой на фронт, встречу. Они забрели в тихий перелесок и там на солнечной полянке, в дубовой рощице и состоялось их свидание.

— Ты меня, не забывай, Васенька, попросила Нина, — хоть там как что... а не забывай.

— Не забуду, с войны вернусь, из Бабешкиной Потаповой станешь, можешь себя так и называть — Нина Потапова.

Она обещала ждать, а он обещал вернуться. Воспоминания не покидали его ни на минуту, образ Нины стоял перед глазами, как будто она была рядом, здесь, на передовой: маленькая, похожая на школьницу, светловолосая, худенькая девушка. Ее карие глаза смотрят на него не отрываясь, в них он читает

ее и его первую, настоящую любовь.

Раздались оглушающие нещадные взрывы. Одна из мин разорвалась прямо на бруствере, на него обрушился вихрь осколков. Перед глазами померкло, он почувствовал, как что-то острое и адски горячее вонзилось в ногу, но мрак опустился на него быстрее, чем сокрушающая, все поглощающая боль.

Утром, обходя трупы, санитар-носильщик обнаружил окровавленное тело, в котором еще билось сердце. Умиравшего солдата без промедления доставили в госпиталь. Там он пробыл до конца войны, там же и научился ходить с костылем и ухаживать за медленно, но заживающей культей. Хотя война закончилось, в госпиталь все еще прибывали раненые, многие умирали, и благодаря смертям этих бойцов, их — поправляющих, не выписывали досрочно, а оставляли на продолжительное лечение.

В октябре 1945 года Кенигсберг был включен в состав СССР, Потапова комиссовали из армии, и он с заплечным мешком и костылями стоял на перроне кое-как восстановленной железной дороги, ожидая свой поезд. Перед выпиской ребята устроили ему проводы и даже угостили настоящим спиртом, но спирт не пошел.

На следующее утро Василий чувствовал себя еще хуже: трещала голова, безумно болела культя, на душе было омерзительно горько и от чего-то стыдно.

«Лучше б умер», — повторял он про себя, не радуясь ни голубому мирному небу, ни пожелтевшей травке, с трудом

пробившейся через обгоревшую землю.

Василий решил прекратить свое существование, сразу же как обнаружил вместо правой ноги что-то деформированное, постоянно ноющее от боли, огромное и странное и совсем не его: то, что называлось культей. Он не мог понять, какое он имел к ней, к этой самой культе, отношение. До него еще в госпитале стали доходить слухи о том, как местные послевоенные власти обращались с инвалидами войны, когда они возвращались домой: ни кола, ни двора, ни работы, диспансеры для инвалидов — за сотни километров от населенных пунктов.

Когда он начал терапию, учился ходить на костылях и перевязывать культю, решение покончить жизнь самоубийством еще более в нем укрепилось. И хотя с ним часто беседовал хирург и медсестра Катя, и хотя он кивком головы молча соглашался с их советами: радоваться жизни, строить планы на будущее, война-то закончилась, — в глубине души он принял твердое решение: жить одноногим инвалидом не будет. Он ждал подходящего момента, чтобы «выйти из боя победителем, а не побежденным», так он сам себе объяснял свое решение.

И еще: он решил съездить к себе, в родной поселок, навестить фабрику, где работала покойная мать, или то, что осталось от фабрики, и, если повезет, посмотреть на Нину, но так, чтоб она его, одноногого, не заметила. Возможно, она уже и не Бабешкина, а чья-то другая, а может, ее вообще нет в живых, или она снялась и куда-то перееха-

ла, а колесить по развороченной войной России без копейки денег, на одной ноге в поисках Нины не представлялось возможным. Он был готов к тому, что не найдет ее, свою любимую, и от этого ему становилось, как ни странно, легче: без Нины его навсегда изуродованная жизнь теряла смысл, облегчая исход.

В невеселых мыслях он продолжал путешествие, сидя у окна набитого битком вагона. Место ему уступила какая-то сумасшедшая бабка, которая беззвучно плакала, крестилась и не переставая причитала.

— Вот тебе-то как повезло, вишь, хоть с одной ногой, а живой, — бормотала она, подкладывая под его вытянутую культю грязный, повидавший виды мешок. — Снедь у меня там, в мешке-то, может, все-таки Степу найду, может, они там с похоронками-то перепутали, и Ваню найду, и Гришу, и Тимофея Ивановича моего, а чо ж не найти? Мы с ним жили да поживали, пока война не пришла, сыновей троих народили, а теперь вот они мне похоронки-то на всех и прислали.

Она достала тряпицу, и развернув ее, вытянула на свет четыре похоронки.

— Перепутали, черти, ясно дело. У них там дым коромыслом, людей не хватает, вот и напутали. Всех-то моих убить не могли! Хоть один, вот как ты, такой же молодой, младшенький, живой наверняка, где-то в госпитале там у них и отлеживается, вот как найду, так и покормлю его, я ему тут все и собрала. Собираю уж сколько месяцев. Даже мыла кусок выме-

няла на кольцо — Тимофей Иванович подарил. А может, и сам Тимофей Иванович там с ним... с ними. Ктой-то они такие мне писать, что всех моих поубивали? Разбежались... шустрые какие...

В паузах она крестилась, чмокала губами, вздыхала и снова начинала все с начала. Соседи, плотно сидевшие рядом, игнорировали ее бормотание, кто-то дремал, кто-то просто молча глядел в окно на проносившийся мимо кошмарный пейзаж военной разрухи, погрузившись в свои мысли, в свое горе. Залатанный поржавевшими листами железа поезд нещадно трясло, и по временам казалось, что их занесет, вагоны сойдут с рельс и они просто полетят под откос, хотя продвигались они довольно медленно, не то что до войны, с ветерком в открытых окнах, с толпами шумных пионеров в белых рубашках и красных галстуках.

«Широка страна моя родная...» — вспомнил Василий голоса пионерских дружин.

До войны Василий несколько раз ездил в город с матерью. Ездили на толкучку, за ботинками к школе, в гости к материным знакомым, а в последний раз в больницу, когда мать приболела. Та поездка оказалась последней: мать вскоре умерла.

Отца он к тому времени помнил слабо. Помнил только, как за ним приехали ночью, как выла Польша, их собака, помнил выстрел и утром мать в слезах.

Убитую Польшу с кровавой дыркой вместо глаза он зарыл на участке, позади избы. Через год пришли бумаги, и мать трясущимися руками читала

письмо. «Отца твоего не стало, Васенька...» Глаза ее оставались сухими, а ночью он проснулся от ее рыданий.

Потом они с матерью куда-то долго ехали, то поездами, то на подводах. Несколько месяцев жили в каком-то Доме культуры в комнате с табличкой на дверях «Драмкружок». Оттуда их переселили в подвальное помещение при фабрике, где мать получила разрешение работать за копейки. В крошечной комнатенке с одним оконцем, в которое едва попадал свет даже днем, было темно, а зимой холодно, как на улице, но они привыкли радоваться тому ничтожно малому, что у них было.

Весной к ним в школу пришла Нина. Ее отец тоже был сосланным. Василий не знал подробностей, да и не спрашивал, не хотел в душу лезть. Один раз он проводил ее домой. По дороге читали стихи Маяковского и играли в города. Нина знала географию на отлично, а он не очень.

Они подружились, и часто после школы Василий проводил ее домой. Иногда заходили к нему в подвалчик. Нина приносила какую-нибудь снедь, он кипятил чайник на старой керосинке. Про них стали шептаться в школе, но они не обращали внимания на сплетников и продолжали встречаться каждый день. Василий почувствовал себя счастливым в первый раз в жизни. Детство и юность были омрачены арестом и гибелью отца, а потом преждевременной смертью матери.

После смерти матери у него никого не осталось, кроме Нины, и ничего, кроме ее дружбы. Слухи об их отноше-

ниях докатились до Нининой родительницы, но, познакомившись с робким и красивым Потаповым, она перестала досаждать Нине и дружбу их приняла. В глубине души ей не хотелось обижать сироту, да и чувства Василия к ее дочери были искренними. В конце концов она сама была женой репрессированного, ей было известно, какую страшную травму перенес Василий, потеряв родителей в юном возрасте.

Василий по-прежнему жил в материном подвале, но про него просто забыли, и им с Ниной это было на руку. В стране происходили более важные события: состав фабричного руководства менялся каждый месяц, всех куда-то переводили, увольняли, замещали вновь прибывшими руководителями, а тем было не до подвального помещения.

Здесь они спокойно отсиживались после суеты школьного дня: слушали радио, собранное Василием из проводков и старых пластмассовых блоков, и делали уроки. Василий за это время быстро повзрослел, вытянулся и, как и многие дети репрессированных, стал самостоятельным молодым человеком. Все свободное время он уделял учебе и Нине, надеясь «выйти в люди», как желали бы ушедшие родители. Нина мечтала стать учительницей географии и уделяла этому предмету все внимание. Василий раздобыл несколько старых томов-атласов по географии, и они часам рассматривали проливы, пустыни и экзотические острова. Он тоже решил

стать учителем, но пока еще не знал, по какому предмету. Они даже договорились поступать в один пединститут и по окончании ехать вместе по распределению. Им, молодым, все казалось по плечу. По ночам Василий работал сторожем, куда его пристроила материна подруга. Зарплаты хватало на хлеб и книги. Все шло своим чередом, и они с Ниной считали себя настоящими счастливчиками, а потом началась война.

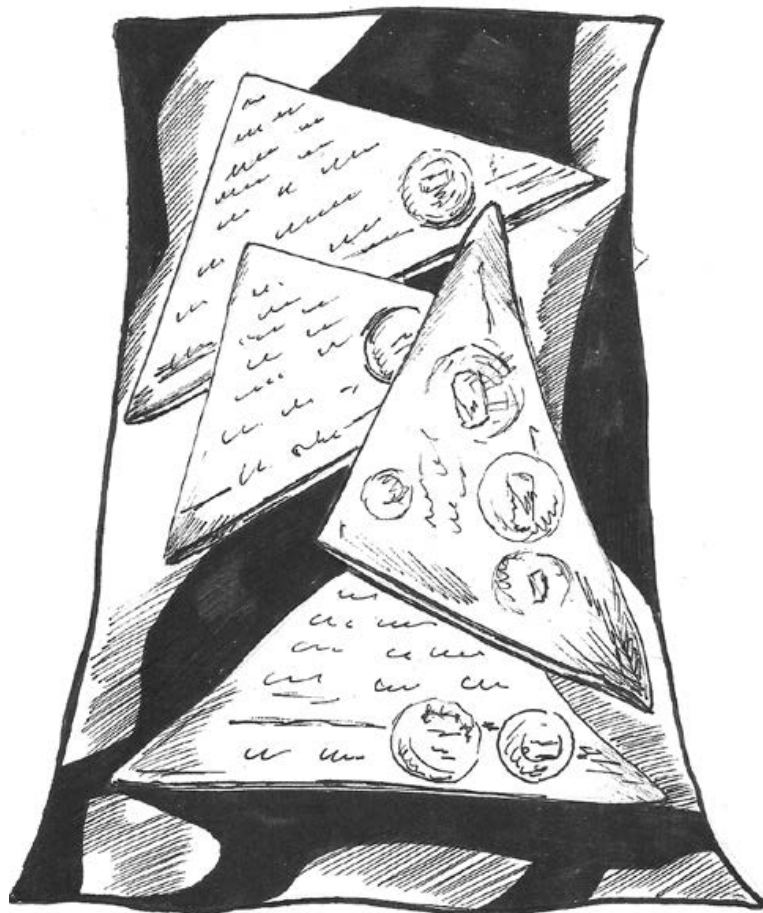
Заскрежетали колеса вагона и прервали его воспоминания. Но поезд не остановился, а просто снизил скорость. Они протащились мимо пустой платформы, где он сразу же заметил одноногого солдата-инвалида. Он стоял посреди перрона, как одинокое дерево, опираясь на костыли, держа в руке перевернутую вниз пилотку. Эта картина ввергла Василия в еще большую депрессию.

Бабка опять заговорила, но вдруг ясным и громким голосом. Пассажиры устали на нее с удивлением, но она не обращала внимания и продолжала свою печальную быль. Заорал ребенок, за ним другой, в толпе закашляли, и так и покатило по цепочке: плач детей с перемежающимся кашлем взрослых и стоны больных.

— Окно откройте! — раздался крик.

Молодая женщина в цветном платке поднялась, но потеряла равновесие и опустилась на колени своего спутника. Ребенок на ее руках заплакал еще громче.

— Сама открывай, если надо, — грубо рявкнул



мужик, растянувшийся на грязном полу под окном в коридоре.

— А тебе трудно? Дезертир, наверное, вон какой отъезый! Ты лучше расскажи, где так отъелся? — встрял спутник молодой женщины.

Мужик приподнялся со злобным выражением лица. В конце вагона возник солдат с винтовкой через плечо. Рядом с ним стоял кондуктор в старой, железнодорожной фуражке.

— Кончай базар, — негромко сказал он, заподозрив начинающуюся потасовку, но его услышали.

Василий больше не мог переносить бормотания старухи, сидящей к нему ближе всех. Он попробовал подняться и перейти на другое место, но, увидев переполненный людьми вагон и удаляющегося кондуктора, понял, что из этой затеи ничего не получится.

«И где я там на одной ноге стоять буду, костыли куда поставить, как селетки в бочке, да на полу вповалку», — подумал он. К горлу подступил комок, ему стало до невозможности себя жаль. Он закрыл глаза, притворившись спящим, в надежде, что

бабка скоро закончит нескончаемую тираду.

Поезд мчался мимо разоренных, опустошенных войной поселков и деревень.

На голых полях пестрели сорняки, лопух и крапивница, с перемежающимися кустами куриной слепоты и серого бурьяна, разросшегося по краям заброшенных колхозных полей. Стаи воронья испуганно взлетали от мимо проносящегося поезда и ныряли обратно в голые поля. Василий ничего не узнавал: все сместилось и как будто перешло в другое измерение. Война добралась и сюда, и кругом стелились развороченные дороги с огромными вулканками от вражеских бомбардировок. Их не удалось избежать даже здесь, вдали от индустриального центра.

Они ехали несколько часов, Василий совсем сбился со времени. Он не отрываясь смотрел в окно и вдруг начал припоминать знакомые очертания перелесков и дорог. В какой-то момент ему все-таки удалось выхватить взглядом фабричную трубу, маячившую на горизонте, — гротескный памятник тем, кто ее воздвигнул, и тем, кто хотел стереть ее с лица земли.

«Смотри-ка, выстояла, молодец», — с неожиданной теплотой подумал Василий как будто о живом человеке. Он приближался к родным местам.

«А вот после этого холмика должен дуб стоять», — припомнилось ему. И действительно, они пронеслись мимо рощицы, потрепанной налетами, но все-таки эта была та самая рощица на холме,

где они встречались с Ниной.

До поселка его подвезли на разбитом грузовике и даже усадили в кабину. Грузовик вела щуплая тетка, замотанная в платок, возраст ее было сложно установить, Василий перестал к ней присматриваться в надежде опознать кого-то из довоенных знакомых. Она рассказала, что в поселке местных мужиков не осталось, только женщины да пара ветхих стариков.

— Фабрику разбомбили, но школа уцелела, да детей мало. Прислали армейских, они здесь всем и командуют, — поделилась она, — а командовать-то нечем!

Она ехидно засмеялась, как бы протестуя против новых партийных авторитетов.

Потапов хотел спросить про Нину Бабешкину, но удержался. Вдруг его осенило.

— А в школе-то учительница есть?

— Да, есть тут одна Нина, — сразу же ответила женщина.

— Вы меня тогда к школе подвезите, — попросил Потапов.

— Тоже учитель? — спросила она, глядя на него с подозрением.

— Учитель, — соврал он.

— Так оно там, может, и закрыто, воскресенье все-таки, — напомнила женщина.

— Все равно, везите, — попросил Потапов.

«Интересно, — думал он, глядя на здание школы, — все в клочки, а школа стоит как ни в чем не бывало.

Труба фабричная торчит, школа стоит — жизнь продолжается».

Он бросил рюкзак на землю и облокотился на старую березу, которая росла напротив входа в низкое школьное здание. Ему стало приятно прикосновение к шершавой, прохладной коре дерева. Они частенько отдыхали здесь с Ниной, прячась под зелеными кронами от летней жары. Зажав костыль под мышкой, он с неожиданным для себя удовольствием втянул свежий запах дерева.

Вдруг в открытой двери школьного здания показался ползущий малыш, закутанный в неимоверный наряд: то ли в старый платок, то ли в кофту с завязанными за спиной рукавами. На голове малыша сидела ладная вязаная шапочка с красным помпоном, оттенявшим его огромные голубые глаза.

Малыш дополз до порога, встал на четвереньки и, не без труда, поднялся на ножки, но не удержался и плюхнулся на деревянный пол. Он не заплакал, на его розовом личике выразилось удивление, из открытого рта потекла слюнка. Посидев несколько секунд на полу, он настойчиво попытался встать, но опять не удержался и упал.

— Вася, Вася! Куда уполз! Непоседа какой! — раздался знакомый голос.

В глубине школы возник женский силуэт, и у Потапова больше не оставалось сомнений, что он вернулся домой. Он отстранился от дерева и, поправив костыли, направился к малышу.

— Давай, давай, Василий Васильевич, шагай к папе, шагай... будем вместе учиться ходить.

— Вася! — услышал он крик. — Вася, родной мой!

Навстречу к нему бежала Нина, из глаз ее брызнули слезы, она бросилась на него с поцелуями.

— Вернулся, как и обещал, — тихо сказал он.

Нина подхватила на руки сына и протянула его Потапову. Ошарашенный от счастья солдат, опираясь одной рукой

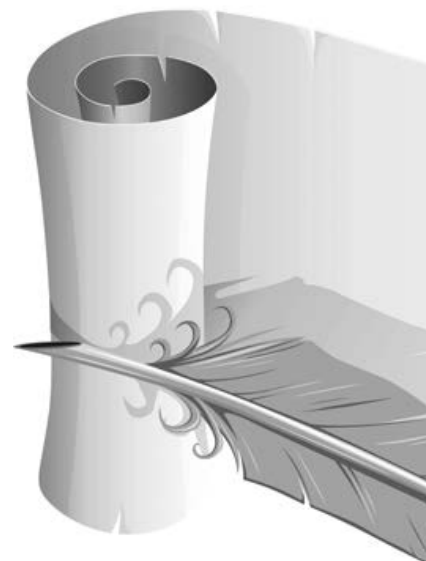
на костыль, другой заключил в объятия свою долгожданную семью.

Канада





София АГАЧЕР



София Агачер родилась в 1961 году в Белоруссии, в настоящее время живет и работает в США. По профессии врач.

В мае этого года на полках книжных магазинов появилась книга Софии Агачер «Рассказы про Ромку и его бабушку». В книгу вошли семь рассказов, напечатанных ранее в журналах «Юность» и «Дон», красочно оформленных уникальными фотоиллюстрациями. Рассказы объединены общими героями и написаны в почти забытом в наше время стиле — они предназначены для доброго семейного чтения.

ЗДРАВСТВУЙТЕ, ДОРОГОЙ ЧИТАТЕЛЬ!

В этом романе дороги повествование ведется от первого лица. Главной героиней является не только путешественница, рассказывающая о том, что она видит и слышит, но и дорога, которая ее ведет. О страннице специально не говорится практически ничего. Ни сколько ей точно лет, ни какая у нее внешность, ни что она пережила, ни за чем пустилась в этот путь. Понятно только, что действие происходит в наше время, когда страны под названием Советский Союз уже нет, и то, что родиться можно в одной стране, учиться в другой, жить в третьей, работать в четвертой, а может быть, даже и в пятой, никого не удивляет и не возмущает. Переезд за границу не считается уже предательством родины, насильственным угоном, репатриацией или безвозвратной и тоскливой эмиграцией. Мир стал общим и открытым, где каждый свое прошлое может встретить в самом неожиданном месте.

Главная героиня через много лет возвращается туда, где она родилась, и понимает, что мало что знает о своем родном городе, истории своего

народа, о своей семье, о том, кто она на самом деле и откуда. Кто ее предки, что они делали столетия тому назад? Оказалось, что образование, карьера, домоустройство и прочая суета, на которую уходит большая часть жизни, может сделать из человека этакое перекасти-поле, утратившее свои корни. Она пускается в путь, и дорога сама ее ведет через Москву, Гомель, Оршу, Санкт-Петербург, Ригу, Таллин, Копенгаген, Лондон, где она встречается с разными людьми, с их рассказами и воспоминаниями. Происшествия и знаки не только ведут ее от города к городу, от страны к стране, но и пробуждают ее родовую память, открывая тайны родной земли и семьи, помогая понять ей, кто она, и в чем ее возможное предназначение в жизни. Дорога побуждает главную героиню романа не только к иному восприятию окружающего мира, но и к путешествию внутри себя и самопознанию. Постепенно перед читателем открывается как внешний образ странницы, так и ее внутренний мир. Добро пожаловать, в путь!

София Агачер

ПУТЕШЕСТВИЕ ВНУТРИ СЕБЯ

Рисунок *Настасьи Поповой*

Это столь важное для меня путешествие, заставившее взяться за перо, началось и закончилось в Чикаго. Стрелка моего внутреннего компаса прокладывала маршрут от города к городу, от страны к стране. И даже если превратности дороги и обстоятельства вступали в противоречие с моими планами, то это подтверждало лишь старую истину о том, что повороты судьбы возможны и прямых путей не бывает. Маршрут моего путешествия пролегал от Америки и далее через Москву — Гомель — Ветку — Оршу — Санкт-Петербург — Ригу — Таллин — Копенгаген и Лондон. Почему и зачем судьба вела меня таким странным путем, что я искала и обрела на этой дороге, попробую разобраться в своих записках путешественницы, где хочется нарисовать картинки общего и самобытного, запомнившегося и удивившего.

КАРТИНКА 1. О ЧЕМ МОЖЕТ ПОВЕДАТЬ ГОРОДСКОЙ РЫНОК?

Маршрут: рынок из детства — московский рынок — трасса М1 — «страна жевунов» — родной дом — пропажа улыбок — гомельский рынок.

Одно из самых ярких и светлых воспоминаний моего детства — поход на рынок. Как сейчас помню, в воскресенье утром я с бабушкой, держа корзинку, закрытую ярким рушником, иду на рынок небольшого белорусского городка. У птичьих рядов, да-да, пятьдесят лет тому назад на рынке можно было купить живую птицу, стоит высокий худой человек в темном лапсердаке и шляпе. К нему подходят

женщины и протягивают только что купленных кур. Он ловко перерезает птицам горло и вешает их вниз головой. Это мозоль, специальный человек, что не только делал обрезание еврейским мальчикам, но и, по всем правилам талмуда, умел правильно резать кур. Такого наваристого янтарного бульона с темным петушиным мясом больше нигде не попробуешь, поскольку современный куриный суп — это, скорее, подкрашенная специями и солью водичка, сваренная из трупиков двухнедельных мутантов.

А какими яркими выглядели мясные ряды с молочными поросятами, которых потом готовили в русской печи, начинив гречневой кашей и блинами. Летом же, эдак за километр до рынка, начинал витать клубнично-земляничный дух, и дальше можно было идти уже исключительно на усиливающийся аромат ягод. Зимой же пахло антоновкой и квашеной капустой, что вызывало у покупателей такое слюноотделение, которое унять можно было, лишь напившись из кружки сладковато-кислого, пряного капустного рассола, причем абсолютно бесплатно. Разве можно сейчас купить настоящее моченое яблоко: большое, налитое и прозрачное, с черными семечками внутри, а потом, не удержавшись, здесь же, на рынке, впиться в него зубами и захрустеть, прикрывая глаза и подставляя ладонь под струю сока. А эта бочка с солеными помидорами: огромными, с напряженной кожей! Возьмешь такой, а он взрывается мякотью и семечками у тебя во рту, и ты захлебываешься от блаженства. И конечно, стоят перед глазами те кадушки с грибами

из детства: рыжиками, волнушками, груздями.

А какие были продавцы на рынке — труженики, с лицами загорелыми, изрезанными уникальным узором морщинок, и руками коричневыми, узловатыми и сильными, что корни, держащиеся за родную землю. Женщины повязывали головы цветными, яркими платками, а прилавки украшали рушниками с красно-белыми узорами. Рынок каждого городка отличался от другого. Даже грязь и пыль там были веселыми, искрились на солнце и пахли свежескошенной травой и смородиновыми листьями. И только немногочисленные узбеки, привезшие свои душистые дыни, или кавказцы, торгующие мандаринами и гвоздиками, одетые в кепки-аэродромы, стояли везде одинаковые, и товар у них был ужасно дорогой.

В советские времена по воскресеньям люди мало ходили в церковь, а стекались на колхозный рынок, не только для того, чтобы купить или продать что-то из продуктов, ягод или фруктов, но и чтобы увидеть своих знакомых, пообщаться, пошутить, узнать последние новости.

Поэтому сейчас, когда я приезжаю в другой город или страну, я обязательно иду на рынок, чтобы посмотреть на людей, как они одеты, послушать, о чем они говорят, посмотреть в их лица. Это помогает мне увидеть не только туристический облик города: музеи, дворцы, улицы исторического центра, театры, рестораны — все то, что так усиленно втирается туристам, но и вдохнуть атмосферу, в которой каждый день обитают жители города, а они ведь и есть его суть. Я ищу людей,

державшихся корнями за свою землю и хранящих традиции своих предков.

Конечно, рынки в Москве имперские. Кого и чего здесь только нет: азербайджанцы, армяне, узбеки, татары. Красиво разложенный, дорожный товар. Продавцы приветливые и много шутят. Если чего нет на прилавке у пожилого азербайджанца, то он тут же пошлет мальчишку — и тот принесет все, что ты просишь. С ними приятно шутить, торговаться, разговаривать. Они расскажут тебе о своей семье и выслушают твои проблемы, даже могут дать неплохой совет. Правда, покупатели здесь в основном состоятельные москвичи. Люди общаются, шутят, почти не ругаются. Однако эмоции вокруг царят какие-то приглаженные, как, впрочем, и товар: откалиброванный, один и тот же круглый год, без запаха и почти без вкуса, выращенный в промышленных парниках. Рынок, конечно, не восточный, как в Стамбуле или Бухаре, но многонациональный, цветастый, напоминающий большой павловопосадский платок — но не тот, что сделан руками мастерицы, а, скорее, фабричный, что можно купить в любой сувенирной лавке. Из местных продуктов продается немного мяса, творога да квашеной капусты. И рушников, совсем нет рушников, ни тканых, ни вышитых. Что же случилось с землей московской, тверской, тамбовской, с реками российскими, с крестьянами? Где продукты местные: настоящие, душистые, вкусные? Так, почти одно перекаати-поле осталось.

Московская вонь выхлопных газов, заполняющая чашу города и еще километров двадцать его пригородных дачных поселков и городков, наконец-то закончилась почти под Вязь-

мой. У Смоленска же перестал падать и противный, мокрый апрельский снег. Вдоль «олимпийки», дороги, построенной к Олимпийским играм от Москвы до Минска, тянулись веселенькие, зеленые поля, заросшие весенними цветами, с торчащими в небо остовами разрушенных ферм. Я глядела на это «торжество» земледелия и осознала, что моя надежда увидеть местные продукты на рынках тает безвозвратно.

Наконец, в районе Дубровно из московского царства Снежной Королевы я попала в иной мир, в синеокую Беларусь, через много-много лет я возвращалась в родной Гомель. Хотя, если четко, непонятно, почему в синеокую? Скорее, в зеленоглазую с золотистыми искорками цветов по лугам, да с конопушками снопов сжатой ржи по полям, да с белокрысыми мордашками местной детворы на улицах. После серой, раздетой Москвы, откуда практически исчезла красочная и креативная реклама, ларьки с чебуреками и блинами, красивые и манящие витрины магазинов, Белоруссия вначале показалась мне сказочной «страной жевунов». В районе Орши уже были аккуратно распаханые все поля. Хозяева на конях плугом обрабатывали землю и высаживали картофель, паслись коровы, в лесу цвели белые подснежники и фиолетовый чабрец, березы плакали соком, жужжали пчелы и шмели. Запахло свежеспаханной землей, пряными травами и далеким детством! На обочине шоссе можно было купить парное молоко, творог, картошку, мед, пироги.

Дорога привела меня в Гомель, в город, где со времен моего детства жил мой родной дом. И где бы океан судьбы ни

носил меня, его крепкий якорь держал меня и не давал сорваться в небытие. Мысль о том, что дома меня ждет мама, всегда придавала мне сил и уверенности в том, что даже самая грозная буря когда-либо заканчивается. Разве может случиться счастье большее, чем обнять после долгой разлуки свою маму. Долго-долго смотреть в ее глаза и держать в своих ладонях ее маленькие, ставшие уже почти невесомыми ручки.

Прошло несколько суток, и я начала бродить по улицам своего прошлого. Но какое-то странное чувство досады и потери стало преследовать меня. Тяжесть навалилась на грудь, заболели суставы, затрещал позвоночник, закружилась голова. «Ну конечно, это сказывается усталость после долгой дороги из Америки, да и перемена дня и ночи тоже бодрости не добавляет», — подумала я. Дни шли, а болезненные ощущения и тревога все не проходили. Ни яркие, аккуратные дома с резными наличниками, ни сады с цветущими вишнями и грушами, ни палисадники, залитые ландышами и тюльпанами, ни прекрасный парк, раскинувшийся над рекой Сож, не приносили мне облегчения. И вдруг я поняла, в чем дело и от чего мне, наполненной до краев счастьем встречи, стало здесь так неудобно. Даже в суетной Москве, сразу после тяжелого перелета через океан, я чувствовала себя более комфортно. А тут словно бы атмосфера вокруг уплотнилась, причем настолько, что становилось даже несколько затруднительно дышать и двигаться. Казалось, что огромный поршень сжал пространство, выдавив вольный воздух и оставив плотную, упорядоченную, почти кристаллическую структуру. На

улицах, в скверах и во дворах совсем не было бомжей, панков, хиппи и прочих чудиков. Люди были опрятно и аккуратно одеты, сосредоточенно занимались своими делами, но никто не улыбался. Даже дети, выделявшиеся яркими пятнами своих курточек, почти не шалили, не баловались, а главное — заливисто не смеялись.

Паническое чувство страха охватило меня от осознания того, что в этой строго упорядоченной стране исчез смех. «Этого не может быть, — подумала я. — Вот проснусь завтра утром и пойду на рынок, куплю меда, творога, зелени, огурчиков маленьких в пупырышках, яиц настоящих с янтарными желтками, перьев лука, сала копченого и, конечно, леща и плотвичек днепровских на уху. Позову одноклассниц, устрой пир, и мы начнем вспоминать и смеяться!»

Так я и сделала: взяла корзинку, положила на дно старый бабушкин рушник и рано утром пошла на базар. Центральную часть крытого рынка занимали все те же откалиброванные фрукты и овощи, сошедшие со стандартных конвейеров турецких и польских биофабрик, но все же кое-где белели ряды сала: свежего, подсолненного, с чесночком, и копченого. Я помню, лет сорок тому назад, как его заворачивали в холщовые тряпицы и коптили на ольховых, сосновых и можжевельновых опилках. У каждого хозяина был свой секрет приготовления копченого сала. Но сегодня мой нос привел меня к прилавку, за которым стояла румяная, пышногрудая молодуха и бойко стрекотала по телефону. Мечтательное настроение и потрясающий запах копченого сала заставили меня спокойно простоять у прилавка минут пять, терпеливо слушая телефонный разговор молодой женщины,

абсолютно не обращавшей на меня внимания. Потеряв надежду быть обнаруженной, я начала действовать — решительно взяла в руки кусок сала и понюхала его.

— Чаго лапаешь, не положено покупателям лапать товар, видишь, занятая я, щас поговорю. Все равно лепей маяго сала на рынке не знойдешь, а потом метнись, гроши разменяй, а то раницей сдачи у мяне зусим нету. Иди-иди к Дуське в ларек — она тебе разменяет, — не прекращая свой разговор по телефону, прогнала молодуха.

Ожидание чуда разбилось. Улыбка моя улетела в далекое детство.

— Что расстроилась, красавица, у меня сало не хуже, чем у Ядвиги, — услышала я приветливый голос. — Подходи, все сама посмотришь и выбе-решь, в обиде не будешь. Я здесь один шучу и смеюсь, поэтому и зовут Зубоскалом, а мамка кличет Ахмедом: мать — белоруска, отец — азербайджанец, — замахал мне рукой, улыбаясь от уха до уха, чернявый парень у прилавка напротив.

От сердца отлегло, появился свет маяка-улыбки на лице продавца.

— А помидоры настоящие, грунтовые у тебя есть, Ахмед? — спросила я его, с сомнением глядя на одинаковые, абсолютно без запаха помидоры.

— Конечно есть. Видишь, помидор воробей клонул — значит грунтовые. Разве строение с порванной пленкой, где выросли эти помидоры, можно назвать парником?! — продолжал балагурить парень. — А если честно, то иди, хозяйка, за ворота крытого рынка, там под небом, на воле, у местных жителей еще можно найти настоящие про-

дукты: и сало на можжевельнике копченое, и масло подсолнечное душистое, и яйца только что из-под счастливой курицы, у которой петух есть, и зелень-мельную разную, и редиску ядреную с огурчиками сладкими. Что захочешь, то и купишь. И ландыши там продаются с запахом весны! А помидор, этот клонутый, на удачу бери и не переживай из-за грубости людской, тяжело здесь люди живут, безрадостно, вот и не улыбаются вовсе.

И правда, вокруг рынка расплескалась пена стихийной торговли, где все, что я хотела, кроме свежей речной рыбы, то и купила. Обмелел Днепр с притоками, и рыба куда-то исчезла, как впрочем, и крепкие молодухи в цветастых платках, и прилавки, покрытые рушниками, остались все больше старушки и старики с серыми лицами, суетливо прячущие деньги, полученные за товар. Увы, улыбка Ахмеда так и осталась единственным маяком смеха на этом рынке-море.

КАРТИНКА 2. ВЕЧЕР ВОСПОМИНАНИЙ.
МАРШРУТ: РОДНОЙ ДОМ — КАРТОФЕЛЬНЫЙ ПИРОГ — ОДНОКЛАССНИЦЫ — ГАЗОНОКОСИЛЬЩИК — ЖАРЕННЫЕ ЕРШИ — БАБА ФИРА — ПОЛОЖЕНО И НЕ ПОЛОЖЕНО — ДЯДЯ РАФА И ЧЕМОДАН БЕЗ РУЧКИ — ПРИВОКЗАЛЬНАЯ СТАТУЯ

Притащив домой наполненную доверху корзину с продуктами, я обзвонила школьных подруг, еще откликающихся на старые городские телефоны, пригласила их на вечер воспоминаний и начала готовить обед.

Вначале натерла картошку и лук на мелкой терке, потом на черной, чугунной сковороде поджарила драники на густом, темном, деревенском растительном масле. Затем приготовила начинку из обжаренных кусочков копченого и свежего сала для картофельного пирога, состоящего из нескольких слоев драников. Далее залила все это своей сметаной и, за неимением настоящей деревенской печи, поставила в духовку. Сквозь открытое окно кухни распространился запах такой силы и вкусоности, что коты со всей округи собрались под окном и начали жалобно мяукать, выклянчивая еду. Пришлось спуститься во двор и накормить эту орду кусочками жареного сала и драниками.

В пять часов вечера начали приходить мои школьные подруги. Собралось нас из всего класса

только четверо. Люся — моя соседка и лучшая подруга детства: красивая, спортивная брюнетка, бабушка двух замечательных внуков и, по совместительству, заведующая конструкторским бюро. Наталья — яркая блондинка, раньше нас всех вышедшая замуж, вырастившая троих детей, не работавшая ни одного дня, потрясающая хозяйка, жена и мастерица. Галка — маленькая, толстенькая, озорная певунья, выдумщица и хохотушка.

Люся появилась первой, она испекла потрясающий луковый пирог и принесла огромную тарелку салата.

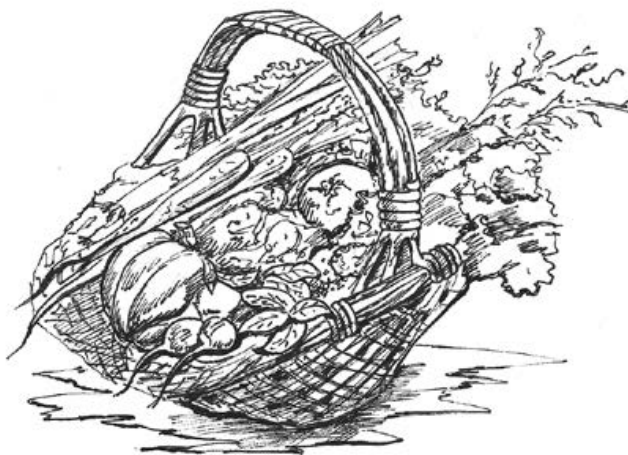
— Все овощи свои, с дачи, только вчера сорванные с грядки. Здесь редисочка первая, весенняя; огурчики пупырчатые, медовые; салатик нежнейший, ну и, конечно, трава-мурава: крапива молодая, мята, лучок зелененький,

петрушечка кучерявая и семечки тыквенные сверху. Да, все полито маслом подсолнечным, что сосед мой по даче, Василий Петрович, выжимает. Золотые у него руки, как из начальников цеха ушел, так и мастерит различные механизмы: маленькие трактора, косилки, хлебопечки, — бойко рассказывала Люся, по-хозяйски выставляя яства на стол.

— Косилки — это здорово, а то я сегодня чуть со страха на землю не упала, — попыталась пошутить я. — Возвращаюсь с рынка, смотрю — в нашем сквере идут цепочкой здоровые мужики, одетые в камуфляж и армейские высокие ботинки, на головах у них защитные шлемы, как у спецназовцев, а в руках длинные штуки, похожие то ли на миноискатели, то ли на инжекторы для дезактивации. Все, думаю, что-то случилось — военные в городе.

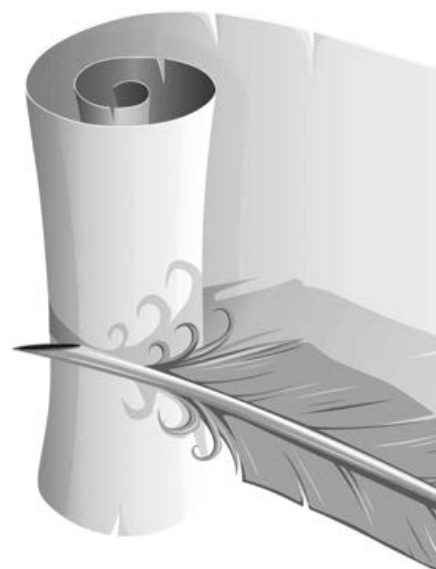
Продолжение следует.

США





Вита ЛИХТ



О себе

Я родилась в 1969 году в городе Петропавловске-Камчатском. В 1981 году переехала в Барнаул. Там окончила школу, работала в суде секретарем, затем судебным исполнителем. Потом вышла замуж, появились сыновья. В 2001 году мы с семьей переехали в Германию, живем во Франкфурте-на-Майне. Здесь работаю в фирме, которая занимается уходом за пожилыми и больными людьми на дому. Писать пробовала в школе, но тогда не имела еще жизненного опыта, а затем, пока опыт набирался, не было свободного времени. Теперь все сошлось.

УРОК ДЛЯ ГОРНИЧНОЙ

Серый четырехэтажный дом, построенный еще в сталинские времена, стоял в самом престижном районе города. Вероятно, лет пятьдесят назад он выглядел очень солидно и простым смертным и в голову не приходило претендовать на эту жилую площадь. Теперь же он был похож на старый трухлявый пень. Дом был окружен такими же пожилыми сгорбленными тополями, и было непонятно, то ли деревья, желая передохнуть, опираются на проржавевшую крышу, то ли дом укрывается огромными зелеными ветками от наступающих на него многоэтажных новостроек.

Шум машин и июльская жара остались на центральном проспекте. Тенистый двор был прохладен и тих. Птицы, заселившие старые гнезда на тополях, не щебетали, а лишь изредка лениво перечиркивались между собой. Петь им здесь было не для кого. На заброшенной детской площадке в центре развалившейся песочницы торчал облезлый деревянный грибок, а рядом — покосившиеся сломанные качели. Огромные, давно некрашенные скамейки, взгромоздившиеся возле подъездов, также были не заняты.

Среди всеобщего запустения выделялись массивные метал-

лические двери, годные больше для банковского хранилища, нежели для крайнего левого подъезда этой развалюхи. На дверях красовался новенький кодовый замок и домофон. Все это выглядело так же нелепо, как золотая пряжка на истоптанном валенке.

Назначено мне было к десяти часам. Без двух минут десять я нажала все необходимые кнопки домофона и затаила дыхание в ожидании. Довольно долго ничего не происходило. Затем в переговорном устройстве что-то зашербуршало, и недовольный мужской голос спросил: — Кто?

— Здравствуйте! Меня зовут Вера. Я от Лидии Яковлевны, — скороговоркой выпалила я.

— Ничего не слышно, — еще более недовольным тоном ответил мужской голос, и домофон отключился.

Я замерла, не зная, что делать дальше. Несколько месяцев почти полного безденежья заставили меня браться за любую работу, и это место было для меня просто спасением. А тут все оборвалось, еще не начавшись. Пока я раздумывала, стоит ли позвонить еще раз, домофон вновь зашуршал, и тот же голос раздраженно спросил меня:

— Кто там?

Я подвинулась вплотную к домофону и как можно громче и четче произнесла:

— Меня зовут Вера. Я от Лидии Яковлевны.

— Не слышно, — безапелляционно заявил мужской голос и отключился.

Все, все пропало! Моя нижняя губа начала предательски дрожать, а на глазах появились слезы, как вдруг электрический замок загудел и я, не веря своему счастью, очутилась в подъезде.

На верхний этаж, невзирая на крутые ступеньки, я просто взлетела. И тут лестничная площадка встретила меня очередным сюрпризом. Одна из трех дверей, не менее массивная, чем на входе, была открыта настежь. Тишина и отсутствие хозяев не позволили мне переступить порог. Нерешительно потоптавшись, я вытянула шею и сказала в пустоту темной прихожей:

— Здравствуйте!

— Здравовалась уже, — ответил уже знакомый мне мужской голос откуда-то сбоку. — Дверь закрывай! Сквозняки по дому гуляют!

— Да, да, конечно, — поспешно сказала я.

Ответом мне было полное молчание, лишь какое-то движение происходило слева от меня. Через несколько минут глаза мои привыкли к полумраку, и я обнаружила, что стою в двух метрах от хозяев, которые тщательно пережевывали содержимое своих тарелок.

— Меня зовут Вера. Я от Лидии Яковлевны, — сказала я в третий раз, все же пытаясь обратить на себя внимание.

— Завтракаем мы, обожди, — ответил мне старик, не отрывая глаз от еды.

Утренняя трапеза длилась минут двадцать. За это время, переминаясь с ноги на ногу, я успела рассмотреть старика, его вспотевшие седые пряди, аккуратно размазанные на лысине, его толстые губы, испачканные маслом, и волосатые пальцы рук с пожелтевшими ногтями. Его жена сидела ко мне спиной, сосредоточенно ссутулившись над своей тарелкой, время от времени тяжело, с присвистом вздыхая:

— О Хоссспади, Хоссспади, Хоссспади!..

Для молчаливого разглядывания в моем распоряжении была длинная широкая прихожая, из которой в разные стороны вели шесть дверных проемов. По этой прихожей можно было кататься на велосипеде, если бы каждый ее сантиметр не был заставлен всякой всячиной. Разномастные тумбочки и платяные шкафы перемежались полочками для обуви и ящиками с минеральной водой. На стенах висели картины в золоченых рамах. Между картинами прекрасно уживались ржавый велосипед, норковая шуба в полиэтиленовом чехле и старая пластмассовая ванночка с одной отколотой ручкой. Все это было облеплено целыми гирляндами

давно поблекших искусственных цветов.

Завтрак наконец был съеден. Еще раз внимательно исследовав оставшиеся объедки и более не найдя ничего привлекательного среди куриных костей и яичной скорлупы, хозяйка толкнула тарелку мужу:

— Додик, приberi это.

— Оставь. Она уберет, — ответил Додик и соизволил поднять на меня выцветшие глаза. — Ну, что тут нам Лида опять прислала?

Хозяйка тоже проявила интерес к новому предмету в своей квартире. По-видимому, шея ее давно уже утратила способность двигаться, и потому повернулась она ко мне всем своим коротким широким телом. Теперь уже две пары выцветших глаз пристально изучали меня: Додик — снизу вверх, а его супруга — сверху вниз. Кажется, оба они остались недовольны увиденным. Хозяйка сразу же потеряла ко мне всякий интерес и направилась по узкому проходу, протоптанному в середине прихожей между коробками, тумбочками и ящиками. Передвижение было медленным, тяжелым, сопровождалось шумным свистящим дыханием и восклицаниями:

— О Хоссспади, Хоссспади, Хоссспади!..

Левая рука ее висела, как плеть, и мелко подергивалась. Правой рукой она опиралась на попадающуюся мебель, в том числе и на меня. Додик еще некоторое время рассматривал новую прислугу, нисколько не заботясь о том, нравится это мне или нет. Затем он сложил свои полные губы в трубочку и брезгливо произнес:

— Иди руки вымой. Только хорошо вымой! — И толкнул меня в противоположную дверь, за которой оказалась ванная комната.

После столь радушного приема я действительно почувствовала себя грязной с головы до ног. Тщательно, как хирург перед операцией, я несколько раз намылила ладони, а затем смывала их напором горячей воды. Наконец, по моему мнению, руки стали почти стерильными. Я заставила себя улыбнуться и повернулась лицом к хозяину.

— Вымыла? — спросил он.

— Да, — ответила я.

— Я же сказал: хорошо вымой! — рявкнул он на меня и вернулся в кухню.

Молча, глотая слезы, я минут пять мыла свои руки. Вдвое дольше покорно ждала в темной прихожей, когда же меня допустят к мытью посуды. Если допустят, конечно. Из дальней комнаты, в которой, вероятно, расположилась хозяйка, был слышен звук включенного телевизора. Ведущий программы на все лады расхваливал преимущества нетрадиционной медицины и обещал скорое исцеление от всех существующих болезней.

Хозяин дома пересекал прихожую в разных направлениях из одной комнаты в другую. Вот он зашел во вторую дверь слева, а вышел из нее в одних трусах и направился в самую дальнюю дверь справа, откуда появился через некоторое время в добротном дорогом костюме и нежно-голубой рубашке.

— Давид! — позвала его жена. — Запиши телефон и закажи у них эти травки. Мне это нужно по диабету. До-одик! Ты слышишь?

— Ты лекарства не приняла, — ответил Додик.

— Запиши телефон, я сказала.

— Мне некогда — я одеваюсь. У тебя ручка и бумага на столе. Запиши сама, — ответил Додик, обувая начищенный ботинок.

— Ты что, оглох?! — гавкнула на него хозяйка. — Запиши телефон, я сказала!

— Да, Сонечка! Иду, иду, — испуганно пролепетал Додик и в одном ботинке поспешил исполнять приказание.

— Скажи этой, пусть воды принесет. Я лекарства запью. Она руки вымыла?

— Да, да, Сонечка, — услужливо лепетал Додик.

— Ты проверил? — продолжала рычать хозяйка.

— Да, да. Проверил.

— Ну так неси воды! Полный дом прислуги, а я лекарства не могу принять! О Хоссспади, Хоссспади, Хоссспади!.. — злобно засвистела Сонечка.

Додик уже летел по коридору в своем начищенном ботинке и, не сбавляя скорости, втолкнул меня в кухню.

— Вот Сонечкина кружка, воду нальешь из той бутылки, и бегом! Сонечка сердится!

— До-одик! Запишешь ты телефон, наконец!

Начищенный ботинок поспешил обратно.

Комната, в которой восседала Сонечка, была, так же как и прихожая, напичкана всевозможной разномастной мебелью. Все эти стулья, шкафы, кресла и пуфики не сочетались друг с другом ни цветом, ни стилем, ни формой. Единственное, что их объединяло, — это цена. Невооруженным взглядом было видно, что вещи, купленные в разные годы в составе разных гарнитуров, стояли приличные деньги. Я, да и Додик, несмотря на его хороший костюм, выглядели на общем фоне как две нестроганные табуретки.

Наконец Сонечка получила все, что желала, и благополучно забыла о нашем существовании. На кухне Додик стоял уже в двух ботинках и с вернувшимся к нему

высокомерием отдавал мне приказания:

— Вымоешь посуду, пропылесосишь, сделаешь влажную уборку и перегладишь белье. Если Сонечка захочет — оденешь ее и выведешь во двор гулять. Одну на улице не оставляй! Дождись меня! Если не поведешь ее гулять, все сделаешь и можешь идти. Вот тебе деньги за два часа работы. Придешь завтра в это же время.

Додик величественно удалился, а я с тоской посмотрела на часы. Было почти одиннадцать. Огромная квартира ждала уборки. Что-то найти в этом невероятном количестве комнат и шкафов было практически невозможно. Почему-то на цыпочках я направилась в комнату хозяйки.

— Извините! — робко обратилась я.

Сонечка не отрывалась от телевизора.

— Извините! — чуть громче сказала я. — Ваш муж ушел. Вы не могли бы мне подсказать, где у вас пылесос, ведро, тряпки?

— Что-о?! — Хозяйка развернула в мою сторону свое квадратное тело. — Деточка, — сказала она с нескрываемым ко мне отвращением, — запомни: я в этом доме знаю только две вещи — где лежит пульт от телевизора и где стоит холодильник. Запомнила? Теперь иди и делай то, что тебе велено.

В половине второго я наконец справилась с заданием и, изнемогая от усталости, присела на краешек стула. Очень хотелось пить, но спросить на это разрешения у хозяйки я не решалась. Она проходила мимо меня каждые полчаса, абсолютно не замечая, а вот к холодильнику обращалась как живому, любимому и равному себе существу.

— Ну что, мой хороший, ты для меня припас? Колбаску? А может, сметанку? Я съем и то и другое! Спасибо, родненький мой!

Мне почему-то казалось, что после каждого свидания с ним любимым Сонечка гладила его белые холодные бока и нежно целовала в никелированную ручку. Увидев, что я сижу на стуле, она наконец заметила меня:

— Немедленно встань! Это же антиквариат! Ты испачкаешь обшивку! — закричала она, срываясь на визг.

— Извините, — ответила я, подсказывая со стула, как с раскаленной сковороды. — Может, вы хотите выйти во двор погулять?

— Какие гулянки могут быть! На улице такая жара! Ты все сделала?

Я кивнула в ответ.

— Тогда иди домой.

— Я приду завтра к десяти, — сказала я.

— Мне без разницы, кто придет завтра и во сколько.

Вот так: ни спасибо, ни до свидания, но в кармане у меня лежали реальные деньги, и это уже было хорошо.

На следующее утро все в точности повторилось.

— Кто? — недовольно спросил меня Додик.

— Это Вера, — ответила я как можно громче.

— Не слышно, — ответил Додик и отключился. Через минуту он повторил: — Ничего не слышно, — и открыл дверь...

Одна неделя сменяла другую. Постепенно я привела квартиру в порядок и научилась, как хотели того хозяева, быть незаметной и в то же время всегда быть под рукой. Сонечка вообще перестала меня замечать. Все свои пожелания она сообщала мужу, а уже он отдавал приказания мне:

— Не стой столбом! Неси Сонечка бульон! Ей это надо по диабету!

— Постель надо всю вытрясать! Сонечка задыхается в этой пылюке! У нее же астма! Развела тут срач! Толку от тебя никакого! Никто ничего делать не хочет! Всем только деньги подавай! — брюзжал Додик.

— С мебелью аккуратней! Это же антиквариат! Такие деньжищи плочены! Сидеть можешь только на этом стуле! А вообще-то нечего расслаживаться, работай давай!

— Руки мыла? Мыла? Иди мой, как положено!

Всевозможных требований и обвинений было столько, что вскоре я перестала на них обращать внимание. Пока я занималась хозяйством, Сонечка смотрела программы о здоровом образе жизни, кулинарные шоу и светские новости. Все это бесконечно чем-то заедалось и запивалось. Додик метался по квартире, выполняя Сонечкины поручения, или затаился на обшарпанном беспородном стуле в те минуты, когда из огромного, похожего на трон обитого бордовым плюшем кресла доносились похрапывания и посапывания.

Иногда Додику удавалось уговорить жену выйти во двор. Из кресла перед телевизором Сонечка перемещалась на огромную кровать в спальне. Как новгородский купец, Додик раскладывал перед ней юбки, блузки, трусы и бюстгалтеры, коробки с обувью. Сонечка к этому вороху одежды была абсолютно равнодушна и в итоге всегда выбирала трикотажные брюки с вытянутыми коленками и длинный серый свитер. Непременно надевались янтарные бусы и широкополая шляпа с огромным бантом.

Далее Додик осыпал проклятиями тех идиотов, которые

спроектировали и построили этот дом. И тут я была с ним полностью согласна, потому как лифт в подъезде располагался между этажами, и для того чтобы войти в него, необходимо было либо спуститься на шесть ступенек вниз либо подняться на шесть ступенек вверх. Для Сонечки, которая еле передвигала ноги, это было суровым испытанием. Добравшись наконец до скамейки во дворе, Сонечка произносила неизменное:

— О Хоссспади, Хоссспади, Хоссспади!.. — и благополучно засыпала.

Вскоре, измученный сборами, одеванием и ступеньками, засыпал и Додик.

Дважды в неделю вместе с Додиком мы шли за покупками. По вторникам в огромном продуктовом магазине обычно бывали скидки. Пропустить это мероприятие было просто невыносимо. Каждый раз собирались мы как на войну. Сумка должна быть самой большой, трость самой крепкой, а обувь самой удобной. Надевая перед зеркалом шляпу, Додик был полон решимости одержать очередную славную победу над представителями сетевой торговли.

Магазин обходился по часовой стрелке не меньше трех раз. Товар надо брать или с самого дна коробки или же ближе к задней стенке стеллажа, потому как ближе к покупателям выставляют дерьмо собачье, которое никому не нужно. Додик, как заправский сыщик, выискивал изъяны, старался немного надорвать упаковку, мял, нюхал.

— Думают, я не понимаю, почему все это уценили! Проквасили у себя на складе, а теперь норовят втюхать людям эту гадость! Не на тех напали! Вот и жрите это сами! — говорил Додик, заканчи-

вая свои исследования, и брезгливо кидал товар обратно.

Продавцы не вмешивались в это действо, так как знали, что почти все, что было перемято и перенюхано Додиком, на третьем заходе все же окажется в нашей корзине и в итоге будет оплачено.

Черным вторник становился, если магазин не делал скидок. Возмущению Додика не было предела, и месть его была страшна. В этом случае надрывалась упаковка на самых дорогих продуктах, в торговый зал вызывалась заведующая, и при большом количестве покупателей товар все же уценялся и отправлялся в наши сумки. Продавцы облегченно вздыхали, когда мы отправлялись на выход, и следующий вторник уж точно не был черным.

По субботам рано утром мы отправлялись с Додиком на рынок. Торговцы, давно его знавшие, натягивали на свои лица приветливые улыбки, справлялись о его и Сонечкином здоровье, на что следовал ожидаемый и много раз слышанный ответ:

— Какое, ну какое может быть здоровье! Врачи сволочи! Дерут такие деньжищи, а помочь ничем не могут! Неучи! Все твердят: нужно правильно питаться, нужно двигаться, а сахар сбить Сонечке не могут, давление тоже! У меня вот в боку уже которую неделю болит, и всем все до лампочки. Терапевт наш мог бы заглянуть после работы, поинтересоваться, мол, как вы себя чувствуете-

те, Давид Самуилович? А вот хрен-то вам на постном масле. Сидят в своих кабинетах, задницами к стульям приросли, и дела им нет до людей!

Мы двигались вдоль мясных рядов под непрекращающееся ворчание Додика.

— Ну какая тут диета может быть?! Приличного куска мяса купить невозможно! А где вилка? Как я могу здесь что-то вы-брать? — говорил Додик, и при этом его указательный палец безжалостно вонзался в нежнейшую парную телятину.

Но поскольку клиент он был постоянный и покупал всегда много, то продавцы молча терпеливо выслушивали Додика и согласно кивали головами.

В овощных рядах Додика сегодня ожидала большая удача — целый ящик подгнивших баклажан и болгарского перца. Все это можно было просто забрать. Додик, складывая дармовое добро в наши необъятные сумки, прочел молоденькой узбечке, стоящей за прилавком, целую лекцию о правильной организации хранения товаров и о том, что следовало бы еще и приплачивать тем добрым людям, которые помогают избавиться от испорченных овощей. Узбечка, родившаяся уже в независимом Узбекистане, по-русски говорила плохо. Чем был недоволен этот прилично одетый дедушка и почему нужно платить ему деньги, узбечка не понимала, но на всякий случай услужливо кланялась и повторя-

ла: «Спасибо большой! Спасибо большой!»

В общем, очередная битва за хлеб насущный была выиграна. Додик, весьма довольный проделанной работой, в приподнятом настроении, с добычей, победно возвращался домой. Впрочем, Сонечку это совсем не воодушевляло. Глядя, как мы разбираем покупки, она сказала:

— Опять гнилья натащил!

— Ну что ты, Сонечка! Только посмотри, какие синенькие! Сейчас мы все переберем, обрежем, и завтра Лида закрутит икру в банки.

— Давешнюю еще не съели, — буркнула Сонечка.

— Ну как было не взять! Целый ящик, и задарма! Теперь вот надо все это извести. Давай-ка вон ту мыску, — сказал Додик, обращаясь ко мне. — Лушпайки в поганое ведро, а синенькие ложи в мыску.

— Не ложи, а клади! Сколько можно тебе это говорить! — хлопнула по столу ладошкой Сонечка.

— Да, конечно, клади, — засуетился Додик. — Я же так и говорю.

— А, делайте что хотите, — махнула рукой Сонечка и понесла свое грузное тело вон из кухни, приговаривая: — О Хоссспади, Хоссспади, Хоссспади!..

— И я что говорю — клади, а ты все ложишь и ложишь! Ложишь и ложишь! — уже на мне сорвал свою досаду Додик.

Продолжение следует.

Петропавловск-Камчатский — Франкфурт-на-Майне





Владимир КЛЮЧНИКОВ



Продолжение. Начало в № 2, 3, 4, 5 за 2018 год

ПРЕСТУПЛЕНИЕ С ТОГО СВЕТА

Везде в комнате были навалены кучи домашнего хлама. Пока Вэрд залип в очередной переписке у монитора и пытался охмурить невербальным общением глупую провинциалку, Вольдемар решил покопаться в кучах мусора. Покопаться в том, что в принципе потеряло всякую практическую ценность, но по причине излишней мнительности хозяина квартиры почему-то не оказалось на ближайшей помойке. Иногда, правда, такое бывало крайне редко, Вольдемару удавалось находить во всей этой груде мусора настоящие сокровища. Например, однажды он нашел дореволюционное собрание сочинений Жюль Верна, первое издание «Герой нашего времени» Лермонтова, а также подлинник медицинской справки, которая констатировала истинную смерть Высоцкого. Разгребая завалы, Вольдемар обнаружил свой старый ежедневник: потрепанная книжица, исписанная вдоль и поперек, напомнила ему о былых годах юности. Студенчество, прогуланные лекции, несданные зачеты... Открыв ежедневник на случайной странице, он обнаружил цитаты, которые сам выписывал и даже пытался заучить наизусть, чтобы бравировать умными мыслями перед первокурсницами. Как выяснилось позднее, красивых девушек в жизни привлекают вовсе не яркие цитаты, а совсем другие ценностные ориентиры. Цитат было немного, но они по-прежнему изобиловали актуальностью, находясь на интеллектуальном кончике острия.

- 1) Если искусство не ведет к Богу, стало быть, это не искусство.
- 2) Прислушивайся к журчанию ручьев, они научат тебя любить.
- 3) Где Господь не догадается, там чиновник сам домыслит.
- 4) Легкие ветры доставят тебе удовольствие.
- 5) Жениться — это вам не лаптем щи ковырять.
- 6) Днем тень от тела принадлежит тебе, а ночью не беспокой ее.

7) Эффективность процессов самосовершенствования, самовоспитания, влияния личности на самого себя определяется уровнем осознания целей и возможностей своего развития. В традиционной жизни эти процессы идут в психике самопроизвольно, спонтанно, человек не осознает их и поэтому не может на них влиять.

8) Умеренно употребляй пищу, если не желаешь утратить память.

9) Студентка литературного института плавает в долгах, как дельфинчик в океане.

10) Обходи паутины, если не хочешь увидеть слезы.

11) Человек, никогда не изменяющий своего мнения, подобен стоячей воде, и в его сознании поселяются гады. Человек должен меняться, в этом и есть мудрость.

12) Американцы никогда не успокоятся, пока не ополчат весь мир (Чарльз Диккенс).

13) Девушка в жизни выглядит красивее, чем на фото. Да, иногда и такое бывает. Но редко.

На этом пункте список цитат обрывался. Низ этой страницы был оборван таким образом, будто бы срочно понадобилась бумага для самокрутки. Интересно, почему? Ведь Вольдемар никогда не употреблял наркотики, даже в студенческие годы. Ни капли этого бесовского зелья не побывало в его крови! Из ежедневника случайно выпал тот самый оборванный лист. На пожелтевшем листке неровным почерком красовалось нацарапанное шариковой ручкой стихотворение, созданное Вольдемаром на спор, случайно, в юношеские годы, по приколу, невзначай...

Скривив губы в улыбке и больше не найдя ничего ценного, Бархоткин попрощался с Вэрдом, вышел из злополучной квартиры и направился в заведение под названием «Бар сук». Данный питейный притон пользовался неплохой репутацией в городе. Если

оценивать его по неподкупному рейтингу. Точнее, если взять за основу шкалу ценностей, даже самого захудалого ресторанного критика, в конечном счете, кабаку, чье название состоит из двух слов — «Бар сук», можно честно поставить три звезды из пяти, что немало для заведения подобной алкогольной направленности.

Выбор места встречи никак не зависел от Вольдемара, в «Баре сук» ему предложил пересечься старый приятель Роберт Элдфорт, сотрудник местного отделения полиции. Они играли бок о бок в студенческие годы в КВН, в одной команде «Гаргантюа и Пантагрюэль» и учились в одном институте. Но жизнь развела старых закадычных приятелей по разные стороны баррикад, хотя в начале своего карьерного пути они совершенно друг на друга не походили и являли собой кардинально противоположные жизненные ориентиры. По происхождению Роберт графских кровей. А Вольдемар из семьи, где мама повар, а папа не пойми кто, алкоголик, подзаборный пьяница, забудыга, черт ногу сломит над биографией папашки! Но увлечения у двух бывших кавээнщиков были не под стать социальному происхождению. Вольдемар больше любил классику и произведения, проверенные временем. Роберт обожал кроссворды, русский шансон и мог часами петь в караоке щемящий душу мотив: «Только рюмка водки на столе! Рюмка водки!», а затем, выпавшись до обеда в свой выходной, спокойно шел на тренировку позаниматься кикбоксингом. Если честно, Роберт иногда терпеть не мог Вольдемара за тягу к приключениям и расследованиям. И с трудом выносил бархоткинские придумки и предложения поймать того или иного преступника. Вот и сейчас он специально назначил встречу именно в «Баре сук». На входе в кабак висела огромных размеров вывеска, изображение черного барсука. Зверек дружелюбно улыбался и показывал всем большой палец, поднятый вверх, как бы намекая на то, что следует непременно зайти в эту дверь и окунуться с головой в омут пьяного угара.

Вольдемар долго кружился вокруг вешалки в надежде хоть куда-нибудь пристроить верхнюю одежду. Найдя небольшой крючок, он повесил пальто и прошел в зал. В мерцающем пространстве на него сразу навалились звуки давящей музыки, оглушающие грохочущие басы... Народу в зале находилось немного. Окинув взглядом сидящий за столиками контингент, Вольдемар увидел одну знакомую физиономию. Небритая рожа Веревкина склонилась над граненым стаканом в руке и думала о прозрачном содержимом. Судя по стоящей рядом бутылке, в стакане находилась водка.

Веревкин пил горькую, пил по-русски, в один глоток, не морщась, занюхивая рукавом. Вольдемар решил подсесть к бывшему однокласснику.

— Здорово, Семен! — отодвинул стул Вольдемар и уселся за столик.

Веревкин с опаской покосился на неожиданного собеседника.

— Семен, Семен! Силен?! — кривляясь, сказал Веревкин.

— Что празднуешь, Сеня?

— Творчество продал, — сердито ответил Веревкин.

— Творчество — это дело такое... Это же почти как дьяволу душу продать, не меньше.

Веревкин кивнул.

— А тут, Сеня, не забалуешь!

Веревкин кивнул опять, но при этом задиристо икнул на собеседника.

— Творчество оно творчеством, суэта... А искусство вечно. — Вольдемар взглянул на потолок, с которого все время капала желтая жидкость. — Так о чем это я?

— Про искусство.

— Ах да. Искусство... Страшная сила! С искусством тут как? О, брат! Искусство... Ну и темка! Искусство — это эксперимент. Право на ошибку. Жизнь ради идеи.

— Ладно, это я понял. А с культурой тогда как быть?

— Фу! Окаменевшее говно. — Вольдемар махнул рукой на Веревкина, отмахиваясь от его перегара, словно от назойливой мухи. — Деятели культуры, приспособленцы! Конъюнктурщики! Лакировщики! Говноуки, одним словом.

— Это еще почему? — удивился Веревкин.

— Смотри сам, Сеня! Такая ситуация: человек разогнал автомобиль до скорости двести километров в час! Эксперимент?! Эксперимент.

— А потом что?

— Ха! Врезается он на этом самом автомобиле в кирпичную стену. На полном ходу... Стена вдребезги! Машина в лепешку! Водитель живой, ни царапины, все в восторге! Как так?! Гений, фигений! Почет, слава, уважение! Новатор! — Вольдемар поднял указательный палец вверх. — Тут же! Подлетели, как пчелы на мед, деятели культуры. И давай расфасовывать по пакетикам кирпичики, вылетевшие из стены. Расфасуют они кирпичики по пакетикам и начнут продавать без зазрения совести, обозвав эксперимент культурой. Музейщики, архиваторы, старьевщики, критики... Тьфу!

— Выходит, культура отличается от настоящего искусства так же, как жевательная резинка — от настоящей пищи?

— Жуешь, жуешь... А насыщения не наступает! Такие синтетические консервы.

— Хрен с ними, с консервами! Как тогда с идеологией быть?

— Хм, идеология... Идеология — это как надо. А культура — это как есть.

— Лихо загнул! — проникся Веревкин. — А я тут песню продал.

— Какую песню?

— Про обувь...

Веревкин, как фокусник, достал из-под стола планшет, оперативно подключился к вай-фай, залез на сайт Ютуб и протянул планшет Вольдемару, сам подождал рукой официанта и громко крикнул ему в ухо:

— Гарсон! Еще водки! Мне и этому сверхчеловеку!

Взяв в руки планшет, Вольдемар увидел профессионально снятый видеоклип. По сюжету в ролике прыгала непонятного вида размазанная девка с расческой в руках вместо микрофона.

— О! Еще и сутки не прошли, а восемь миллионов просмотров! Любит наш народ всякое дерьмо. Действительно любит...

«Дамы и господа, дамы и господа! Минуточку внимания! Леди и джентльмены», — мужской голос со стороны маленькой сцены вещал торжественно, с интонациями свадебного тамады. Вольдемар обернулся, на сцене стоял нарядный плотный мужчина средних лет в расшитом блестками пиджаке и активно зазывал публику обратить на него внимание.

— Дамы и господа, дамы и господа! — продолжил мужчина. — Мы начинаем нашу поэтическую дуэль! Ваши аплодисменты! Правила просты: каждому участнику предоставляется право прочитать всего одно стихотворение, тот, кто соберет больше аплодисментов, тот чемпион! Наш будущий чемпион получит денежное вознаграждение, о-ля-ля! А также специальный алкогольный приз от нашего бармена, но об этом позже. А теперь приглашаю на сцену первых участников под ваши аплодисменты.

Из зала раздались жидкие хлопки, Вольдемар повернулся обратно к Веревкину, но того и след простыл. Оглядевшись по сторонам — публики за столиками стало значительно больше, — он не увидел Семена Веревкина. Слегка обидевшись на такое фамильярное прощание по-английски, Вольдемар собрался покинуть значный кабак «Бар сук», но к столику подошел заспанного вида официант и бросил на стол потрепанную прямоугольную книжицу.

Раскрыв книжицу, сделанную из дешевого кожзаменителя, он увидел внутри счет. Из общей суммы чека можно было сделать вывод, что Вольдемар, помимо заказанного одного бокала пива, должен еще оплатить заказы, сделанные Веревкиным. Хотя на столе и стояла всего одна допитая бутылка водки, но, ви-

димо, Семен сидел здесь достаточно давно, поэтому счет в себя включал еще чебурек (1 шт.), салат оливье (2 порции), селедку с луком (1 порция), телячью котлету с вермишелью (1 порция).

Вольдемар поднял высоко руку, привлекая к себе внимание официанта. Другой рукой он достал мобильник и пытался дозвониться до Роберта Элдфорта, но тот как обычно опаздывал и как назло не отвечал на звонки. Спустя достаточно долгое время к нему все-таки подошел все тот же заспаннный официант, с неохотой произнес:

— Возникли какие-то вопросы? Или желаете сделать новый заказ?

— Нет, больше ничего не надо, — ответил Вольдемар, с ужасом прикидывая в уме, как он будет расплачиваться. Сумма выходила немаленькая, а денег у него было в обрез — только заплатить за свое пиво. — Понимаете в чем дело... — пытался выкрутиться из сложившейся ситуации Вольдемар. Официант смотрел на него с равнодушием. — Получилась какая-то ошибка, я заказал всего одно пиво и готов за него заплатить. — Бархоткин тут же полез во внутренний карман в надежде как можно быстрее расплатиться и уйти.

Но официант, словно матерый ковбой, ловким взглядом, как ударом хлыста, пресек попытку Вольдемара выйти сухим из воды. Убрав руку из внутреннего кармана и так и не достав кошелек, Вольдемар стыдливо посмотрел на официанта.

— Счет предоставлен согласно заказанному... Ошибка исключена, — сухо изрек официант. — Если вы отказываетесь платить, я буду вынужден сообщить об этом инциденте администрации клуба. — Официант показал взглядом на огромного бугая, стоявшего рядом с барной стойкой.

— Да я не отказываюсь платить, — дипломатично пытаясь сгладить конфликт, начал оправдываться Вольдемар. — Поймите меня правильно, я всего этого не заказывал, это один знакомый...

— Я в курсе, что заказ делали не вы. Но ваш приятель подошел ко мне и сказал, что вы полностью оплатите заказ, за себя и за него.

— Я, заплачу?! Не может этого быть, я такого не говорил!

— Уж не знаю, какие у вас отношения с этим олдскульным алкоголиком. Но за столиком сидите вы, с вас и будет спрос! Будем оплачивать счет или как?

— Дружище, ну у меня правда с собой сейчас нету. Честно.

— Как обычно, — вздохнул официант. — Опять двадцать пять, старая история. Будем звать охрану с администрацией, пускай они тебе кости переломают! Авось в следующий раз умнее будешь!

— Не надо никого звать! Можно я еще здесь посижу? Я жду одного человека, он сможет дать мне денег в долг, я тогда расплачусь.

— Не надо здесь заливать. Два часа тут сидите, все чего-то ждете. Последний раз спрашиваю, будете платить, да или нет? Или звать охрану?

Обшарив несколько раз свои карманы и вывалив на стол всю наличность, помешкав секунду-другую, Вольдемар наглядно продемонстрировал:

— Серьезно, больше нет ни копейки. — И подвинул кучку с железной наличностью в сторону официанта, будто бы азартный игрок, вдрызг проигравшийся на рулетке.

— Этого мало будет... — грубо произнес официант.

— Неужели нельзя больше ничего сделать, чтобы уладить недоразумение?

— Разве что... Попробуйте принять участие в нашем поэтическом батле. Если победите, в принципе этих денег хватит, чтобы расплатиться.

Столь необычная идея Вольдемару явно понравилась.

— А что нужно для этого сделать?

— Ничего особенного. Прочитать свое стихотворение.

— Всего-то?! Это ерунда! Это пара пустяков!

— Не вздумайте улизнуть! Видите того человека за барной стойкой? — Официант опять указал на здорового бугая.

Вольдемар молча кивнул.

— Так вот, он предупрежден. Он в курсе. Так что если задумайте скрыться, окажетесь в лучшем случае в реанимации.

— Даю слово чести, я не убегу.

— Пустые, никчемные слова, — отмахнулся официант.

— Я могу пройти на сцену? Ваш бугай не переломает мне кости?

— Идите, но не дальше. — Официант пружинистым шагом отправился обслуживать другие столики.

Идя к сцене, Вольдемар покрылся небольшой испариной. Что он будет читать, он не знал. Он сильно перенервничал, даже не из-за того, что будут сильно бить, и, возможно, даже ногами... Огорчало и угнетало предательство Веревкина. Понятно, сейчас, в двадцать первом веке, никому нельзя верить и надо держать ухо востро. Но внутри теплилась маленькая надежда, что все люди — братья, и если ты оставил на вокзале кошелек, тебе вернут его такие же добрые люди, как ты.

В сентиментальных раздумьях Вольдемар ждал своей очереди. Перед ним выступала прожженная поэтесса бальзаковского возраста, но с внешностью уг-

нетенного и обиженного подростка из неблагополучной семьи, к тому же еще и с плоской грудью. Бывает же такое, подумал Вольдемар. Поэтесса закончила читать авангардную балладу о мозгах в сахаре, сорвала порцию аплодисментов. Ведущий громко объявил в микрофон:

— А теперь приглашаем на сцену нашего следующего участника! Ваши аплодисменты, господа!

На сцену, как на голгофу, взмошел Вольдемар.

— Как вас зовут? — спросил неугомонный ведущий.

— Вольдемар Бархоткин.

— Оу! Вольдемар! Итак, представляю вам нашего последнего участника поэтического батла, Вольдемар Бархоткин! Поддержим аплодисментами, друзья! Пожалуйста, Вольдемар, вот вам микрофон. Прожгите нам глаголы души!

Всучив в липкие руки Вольдемара холодный металлический микрофон, ведущий удалился. Оставшись один на сцене, Вольдемар разволновался еще больше, робко посмотрев в зал, он не увидел ни одного свободного столика. Видимо, ближе к вечеру в кабачке «Бар сук» собирается аншлаг, яблоку негде упасть. Увидев бездействие на сцене, толпа стала громко кричать и свистеть.

— Раз-раз... Раз, два... — сказал в микрофон Вольдемар, отчего раздался противный раздражающий гул: микрофон ужасно фонил.

— Один раз не пидарас! — выкрикнул чертовски пьяный голос из зала.

Нужно начинать читать стихотворение или уходить со сцены с позором. Толпа людей неистовствовала. Ничего не приходило в голову, знакомые рифмованные строчки перепутались между собой и превратились в бесформенную кашу. Предварительные поэтические заготовки вышибло из памяти. Засунув руку в карман, Вольдемар обнаружил скомканный листок, находку из квартиры Вэрда. О, спасение! На листке находилось стихотворение. Разгладив аккуратно выцветшую бумагу, Вольдемар с дикторской педантичностью озвучил название шедевра:

— Стихотворение называется «Поэтессы трахаются ямбом».

В зале раздался прерывистый смех, а Вольдемар невозмутимо продолжил:

Поэтессы трахаются ямбом,
Трахаются ямбом поэтессы.
Кто-то скажет: как же это пошло!
Но они не думают о детях...

Пригласишь ее ты на свиданье
И закажешь ей двойной мартини,

А она посмотрит алчным глазом...
И пойдет в клозет поправить лифчик.

Ты за столик быстро расплатился,
Заказал такси к себе, до дому.
Из клозета вышла поэтесса,
А водитель ждал уже у входа.

Сели вы на заднее сиденье,
Тут же стали пылко целоваться.
Городской проспект сверкал огнями,
В магнитоле завывал Михайлов.

Дверь в квартиру распахнулась быстро,
Ты срывал с нее одежду в коридоре!
А потом как будто оглушили...
В памяти провал и длинный прочерк.

И, очнувшись утром на диване,
Голой, грязный, потный и небритый,
Ты поперся в ванну умыться,
Вспоминая поэтессы имя.

Выдавлив на щетку мятной пасты,
Ты узрел на зеркале слова.
Написала их помадой красной
Поэтесса на прощанье — для тебя.

Ты не обессудь меня, мой милый,
Просто мы друг другу не подходим.
Поэтессы трахаются ямбом,
А хорей давным-давно не в моде.

* * *

Когда Вольдемар закончил читать стихотворение, в зале наступило гробовое молчание. Затем послышались одинокие хлопки, после чего тот же чертовски пьяный голос вновь выкрикнул:

— Браво!

Зрительный зал взорвался овациями, аплодисменты не смолкали в течение нескольких минут. Вольдемар закрыл глаза и не понимал, что происходит. «Казнить нельзя помиловать», где поставить запятую? От этой маленькой закорючки и будет зависеть, как у него завершится сегодняшний вечер. Будет ли он лежать избитый в больничке или, наоборот, окажется здоровенький дома и заснет в тепленькой кроватке. Раздумья прервал шепотливый голос ведущего:

— Комментарии излишни, господа! Вы сами все слышите и видите! Поздравляем нашего победителя! Вольдемар Бархоткин! Ура!

Под несмолкающий шум аплодисментов ведущий взял руку Вольдемара и поднял ее вверх. Победивший

всех поэт напоминал боксера, который нокаутировал в смертельном бою несколько десятков человек. Тяжесть русского слова набила кулаки об беспечные головы вольнодумцев и завсегдатаев кабака «Бар сук». Но момент тщеславия был недолог, заказанное и выпитое нефilterованное пиво дало о себе знать, Вольдемару очень сильно захотелось в туалет по малой нужде. Не в силах больше терпеть, с грациозностью оголтелой лани он прыгнул со сцены и сквозь хмельную толпу, принимая поздравительные похлопывания по плечу, резво устремился в туалет. Сбившись несколько раз с намеченного пути, он все-таки отыскал нужное помещение. И лишь голос ведущего с недоумением вопрошал ему вслед:

— Товарищ Бархоткин! Вольдемар! Куда же вы?!

Влетев, как ошпаренный, в общий туалет, Вольдемар увидел всего одну кабинку, больше ничего в помещении с табличкой WC не было. Судя по голосам, что доходили из-за незакрытой на щеколду двери, Вольдемар присутствовал здесь не один. Внимательно прислушавшись, Вольдемар сделал вывод, за дверью находятся два человека, мужчина и женщина. Где-то он слышал эти голоса, но вот где? Вольдемар никак не мог вспомнить. От провалов в памяти желание справиться малую нужду усилилось еще больше.

— Давай, расстегни мне ширинку, детка, — скомандовал мужской голос.

— Сейчас, подожди секундочку, — ответил женский голос.

В кабинке послышались звуки, напоминающие хаотичное чмокание и чавканье.

— Так хорошо, милый? — спросил женский голос.

Вольдемар напрягся, мочевого пузыря гудел и трещал по швам.

— Что ты со мной делаешь... Карина, что ты делаешь! — стонал мужской голос.

Вольдемар, будучи не в силах сдерживать мочеиспускательные позывы, резко дернул за ручку. И что же предстало его взору? Унитаз с закрытой крышкой, а сверху на бачке лежал планшет Веревкина, сортирный фэн-шуй! Изображение на видео представило двух старых знакомых — Карину Градусникову и Романа Блюрова. Именно от них исходили эротические стоны.

— Тьфу! — сказал вслух Вольдемар. — Срамота!

Откуда и почему на планшете у Веревкина находится такое видео? Вольдемару даже не хотелось об этом думать, ему опротивел цинизм Блюрова. «Больше руки ему не пожму, — решил по-мужски Бархоткин. — Веревкину тоже не пожму. Козлы они оба, все!»

Выйдя из туалета, Бархоткин услышал звонок. Это был Роберт Элдфорт.

— Старик, тут такой обвал на работе! Давай в другой раз. Сегодня ну никак не получится.

— Ладно, давай в другой раз, — согласился от безысходности Вольдемар.

Убрав в задний карман мобильник, он сел за барную стойку и заскучал.

— Это вам спецприз от заведения, виски «Ржавый гвоздь». — Бармен пододвинул к Вольдемару пустой выпуклый стакан и непечатую бутылку дешевого вискаря.

— Спасибо, тронут. А у вас нет случайно ручки или карандаша?

— Фломастер зеленый подойдет?

— Вполне.

Развернув треугольную салфетку таким образом, чтобы из нее получился квадрат, Вольдемар начертил план-схему квартиры Анны Шевельковой. Кухня, туалет, ванная, коридор, большая и маленькая комната, злополучный балкон. Он сидел и рисовал стрелки возможного перемещения по квартире. Если так называемое привидение проникло к Аньке в квартиру через балкон, значит, здесь замешан сосед, а если через обычную входную дверь — значит, муж. Хотя и сосед мог воспользоваться входной дверью. Третий этаж пятиэтажного дома... Какие там существуют подходы сверху? Что эта за проклятая квартира, которую купил сосед, владелец оккультного салона? Много вопросов, больше, чем ответов. «Муж этот Максим не нравится мне! Но он же не денежная купюра, чтобы всем нравиться, тем более лично мне. Нет, здесь дело в другом. Здесь замешан сосед, это точно, я знаю! Аферы с квартирами, девушка на ресепшене... Ох, Аристарх Владленович! Ох и заварили вы кашу. Ну ничего. Я вас выведу на чистую воду, вы еще у меня попляшете голыми пятками на раскаленной сковородке».

— Молодой человек, дайте даме прикурить! — потребовала симпатичная брюнетка с короткой стрижкой.

Вольдемар машинально скомкал изрисованную вдоль и поперек салфетку, закрыл колпачком фломастер.

— Да, слушаю вас. Что вы сказали?

— Ничего... — Прекрасная дама сломала сигарету пополам и выкинула в сторону. — Проехали...

— Могу вас вискариком угостить.

Вольдемар протянул прекрасной даме так и не раскрытую бутылку виски. Она живо, как натренированный зверек, откупорила ее и, зажмурив один глаз, сделала несколько больших глотков прямо из горлышка. Утирая ладошкой ненакрашенные губы, она сказала:

— Вот спасибо, добрый человек. Хорошо-то как, господа!

— Да не за что. Можете вообще себе забрать всю бутылку.

— Спасибо, спасибо! — Пьяная прекрасная дама по-детски захлопала в ладоши. — А вы почему совсем не пьете?

— Не могу пить крепкий алкоголь. Я от спиртного шалею. То же самое было с моим отцом. Он говорил, что именно поэтому я стал дегенератом. — Вольдемар привстал со стула. — Я, пожалуй, пойду.

— Молодой человек, подождите! Куда же вы так сразу намылились?

— Куда, куда... Домой пойду.

— Ой, ну вот так сразу и домой. А проводить одинокую девушку до дому?! Ночь темна, улицы безлюдны, того и глядишь кто-нибудь возьмет меня и изнасилует! Такую нежную и хрупкую... Возьмет и воспользуется мной.

Вольдемар не мог отказать прекрасной даме.

— Хорошо, я провожу. Где вы живете?

— Тут недалеко.

— Ну, пойдемте тогда.

— Не спеши, мой кролик. Мне нужно зайти в «мандельштамп», погладить носик...

— При чем здесь Мандельштам?

— В туалет мне надо, балда! Неужели не ясно?!

— Да ясно, ясно... Идите уже, куда вам надо. Я вас здесь подожду.

— Жди меня, — сексуально шепнула прекрасная дама. — Только очень жди...

Устав ждать, Вольдемар вышел на улицу. Дыша свежим воздухом, он судорожно думал, а может, к черту эту вежливость?! Какой с этого прок? Дойдет она до своего дома, ничего с ней не случится, не развалится! Кому она нужна такая? «Прекрасная» на всю голову...

— А вот и я! Ты скучал, мой рыцарь?

— Очень...

— Правда? Я тоже! Ух, заживем! — Прекрасная дама подхватила Вольдемара под руку и повела в темную глубину мрачных дворов.

Зайдя в неотреставрированный подъезд, где пахло кошачьей мочой, они поднялись вверх по лестнице и зашли в узкий коридор.

— Это общага, что ли? — спросил Вольдемар.

— Типа того. Не задавай лишних вопросов, — недовольно прошипела прекрасная дама.

— Ну, я, пожалуй, пойду, раз мы пришли. Думаю, вы уж тут сами без меня доберетесь.

— Я не могу тебя так отпустить! Я обязана тебя напоить хотя бы чаем.

— Спасибо, но мне не очень хочется чаю. Да и вставать завтра рано...

— Не капризничай, пойдем и все, я сказала!

Пройдя практически до конца коридора, они завернули влево и оказались на небольшой кухне, где сидел бородатый старик преклонных лет. Старик на поминал Хоттабыча из старой советской сказки, курил папиросы «Беломор» и слушал музыку реггей, которая звучала из стоящего на подоконнике радиоприемника.

— Это ко мне, — обратилась прекрасная дама к старику.

Старик молча кивнул, закрыв при этом глаза, а затем сделав большую затяжку беломориной, громко рассмеялся, магически выкрикивая:

— Трах-тиби-дох-тиби-дох! До хрена пустоты... Трах-тиби-дох-тиби-дох!

Прекрасная дама и Вольдемар зашли в пустую комнату. Полосатый матрас одиноко лежал на полу. Подойдя к окну, прекрасная дама сняла с себя платье и, оставшись в одном нижнем белье, обратилась к Вольдемару:

— Я хочу вас! Возьмите меня!

Вольдемар побагровел, сделал пару шагов назад и, почесав рукой шею, стыдливо сказал дрожащим голосом:

— Как-то душно у вас тут. Вы не находите?

— Ты что? Обалдел! Вторую неделю батареи не топят! Трубы прорвало. В ЖЭКе суки, никак починить не могут! Мерзнем здесь какой день...

— И тем не менее мне душно. Можно, я пальтецо сброшу?

— Валяй...

Сняв с себя пальто, Вольдемар положил его на матрас.

— Понимаете, в чем дело... Признаюсь вам честно, я не готов вступить с вами в интимную близость. Мы мало знаем друг друга, да и вообще.

Прекрасная дама, как кошка, ходила вокруг него, словно выжидая момент для прыжка, чтобы завладеть жертвой.

— Вы меня простите, но не могу. — Вольдемар вытер пот ладонью со лба. — Правда, не могу. Уверен, с такою внешностью вы без труда найдете себе еще много ухажеров.

— Ты со мной заигрываешь? Какой же ты чудак! Ах-ах!

Прекрасная дама накинулась на беззащитного Вольдемара, заключила его в свои объятия, осыпая поцелуями и нежно лаская тело. Красные поцелуи оставляли следы на щеках, губах, шее и одежде вертлявого Вольдемара.

— Ой! Что вы делаете?! Прекрасная дама, остановитесь, прошу вас!

— Я хочу тебя, Вольдемар! Непорочная интеллигентность будет вздрючена нашей с тобой любовью. Слышишь?!

Она повалила Вольдемара на матрас и принялась расстегивать на нем одежду. Вольдемар визжал и сопротивлялся:

— Щекотно, перестаньте, пожалуйста! Ну правда, щекотно!

— Это еще цветочки. — Прекрасная дама снимала с Вольдемара одежду, как кожуру с неспелого зеленого банана.

— Вы великая грешница! Прекрасная развратница! Вы моя... Вы...

Не успев произнести еще раз слово «развратница», Вольдемар отключился, язык стал ватным и не ворочался ни в какую сторону. Распластавшись во весь рост на полосатом матрасе, он захрапел с интонациями тракторного двигателя.

* * *

Входная дверь в комнату, где спал Вольдемар, естественно затрещала и заходила ходуном. Бархоткин очнулся, проржавевшие петли по-смертельному закрипели, предвещая будущую расплату за грех.

«Кто это?! Кто?!» Вольдемар с ужасом перебирал в голове варианты. По двери вновь нанесли несколько ударов. Похоже, били ногами. Наступила мертвая тишина. «Уф-ф-ф... Может ушли», — с надеждой подумал Вольдемар.

— И не мечтай! — раздался жесткий бас из-за двери.

По двери нанесли еще несколько ударов. Деревянная преграда, поддавшись массивному натиску, вылетела с корнем, лишив сонного Вольдемара всякой защиты. Первым в комнату влетел дед с выцветшей седой бородой, которая свисала у него практически до пола. Встав посередине комнаты, дед указал пальцем на Вольдемара, затем на прекрасную даму и с интонацией противного мальчишки предательски прогундосил:

— Вот он! Вот! Я же говорил!

Сказав это, старик вырвал у себя из бороды волосок и самоликвидировался. Вслед за ябедой-дедом в комнату вошел чокнутый мужик в шляпе.

Чокнутый шляпник вошел не один, с ним было еще трое мужчин. Брутальные парни агрессивного вида обступили Вольдемара кольцом. Троица люто смотрела на опешившего Бархоткина. Чокнутый шляпник эгоистически смотрел Вольдемару прямо в глаза, пытаясь вызвать у него дополнительное чувство страха. Мужское трио напоминало матрешку. Первый, по всей видимости главарь, имел длинный рост, пример-

но такой же, как у Вольдемара, около двух метров, правда, в отличие от Бархоткина, он был чрезвычайно худ, словно сбегавший узник концлагеря. Второй же, наоборот, рост метр с кепкой, но в ширину расплылся подобно воздушному шару. Третий был среднего роста, среднего телосложения, но рот выглядел ужасающе, губы располагались не горизонтально, а вертикально. Руки всех троих украшали синие наколки, изображающие элементы блатной романтики. Вольдемар заметил, что на левой руке у главаря набита наколка в виде перстня на пальце, знак «молния». Отпетый контингент, с такими о погоде не говоришь. Все хищно смотрели друг на друга, ожидая одной пружинистой фразы, которая послужила бы детонатором конфликта, но ничего вразумительно-го не произошло. И вот появилась та самая искра для запала... Ситуация начинала пахнуть керосином, обстановку накалил чокнутый шляпник, обратившийся к Вольдемару:

— Ты чего здесь делаешь?!

— Прошу тебя не разговаривать со мной в подобной тоне! Слышал! — включил учителя Вольдемар.

— Ах, значит, не разговаривать! Ну-ну... У всякой Машки свои замашки.

Шляпник ударил Вольдемара кулаком по лицу. Бархоткин пропустил тяжелый удар, который пришелся ему прямо между глазами, и в беспомощности с грохотом упал на матрас. Заработав синяк, Вольдемар пополз в сторону батареи в надежде выпрыгнуть в окно, но почувствовал возле своей шеи жуткий холод от лезвия стального ножа.

— Только рыпнись! И я тебе башку отрежу! — предупредил высокий главарь, схватив его за волосы.

Вольдемар застыл на месте, ощущая около своего горла острую неизбежность происходящего... Самый маленький и толстый участник банды потирал ручки и сверкал своими сальными глазенками. Человек с перевернутым ртом уставился в окно. Худощавый главарь с выпученными глазами одной рукой держал Вольдемара за волосы, а другой приставил к шее на вытянутой руке нож.

— Ну что будем с этим мудачком делать? — спросил главарь.

— Мочить его надо, — безжалостно сказал шляпник.

— Как мочить?! — удивился тот, который с перевернутым ртом.

— Чик-чик по горлышку — и в добрый путь, земля прощай.

— Жестко ты.

— Зато за дело.

— Ладно, хватит трепаться! Давай кончай его, и дело с концом. Не до утра же нам тут с ним сидеть.

Все, кроме Вольдемара, дружно рассмеялись.

— Подождите! Пожалуйста, подождите! — закричал Вольдемар. — Позвольте слово молвить, дайте право на последнее желание. Люди вы или нет, в конце концов?

— Никаких последних желаний, — обрубил надежду на спасение шляпник. — Мы здесь не графья.

— Братцы! Дайте хотя бы сигарету напоследок выкурить, — взмолился Вольдемар.

— Сигарету... Хм, это можно.

— Достаньте, пожалуйста, у меня в пальто лежит пачка во внутреннем кармане, — попросил своих будущих убийц Вольдемар.

Он всегда использовал страсть к никотиновой зависимости и относился к пагубной привычке как к оригинальному способу завязать диалог, выстроить контакт с нужным ему курящим человеком. Тем самым выработав вредную для здоровья формулу «Курение — способ коммуникации между людьми».

Маленький толстяк достал из внутреннего кармана пачку сигарет, протянул главарю и принялся обшаривать остальные карманы пальто. Главарь, исполняя последнюю просьбу, угостил жертву сигаретой и даже дал прикурить. Чиркнув зажигалкой, Вольдемар закурил последнюю сигарету, медитативно выпуская изо рта серое облако дыма, медленно затягиваясь, оттягивая как можно дальше предстоящую кончину.

— Ты посмотри, что я нашел! — сказал маленький толстяк.

— Чего там у тебя? — спросил главарь.

Толстяк, нервно шелестя целлофановым пакетиком, протянул главарю раскрытое удостоверение со словами:

— Здравствуйте! Сотрудник полиции.

— Чего?

— Шеф, серьезно тебе говорю, сотрудник полиции.

— А ну-ка, дай сюда! — затребовал главарь. — Что за?!

— На... Сам посмотри.

Главарь взял в руки раскрытое удостоверение, внимательно изучив написанное, повертел в руках красную корочку и гневно обратился к шляпнику:

— Ты что творишь, козел?! Мне тебя самого на куски порезать?

— Да ты чего? — испугался растерянный шляпник.

— На зону меня упечь хочешь? Падла.

— Я?! Да что ты такое говоришь...

— Ты посмотри на него! Это же мент! — Главарь убрал нож от горла Вольдемара. — Старший лейтенант, написано.

— Мент?! Ах ты, шельма!

— Значит так, ментяра, — обратился главарь к Вольдемару. — Сейчас собираешь свои вещи. И чтобы духу твоего здесь не было! Считай, что отделался легким испугом.

Вольдемар покорно собрал вещи и быстрым шагом покинул место, лишь слегка вздрогнув, когда встретил на выходе из квартиры все того же скверного старика, столь подло сдавшего его в лапы бандитов. Старик улыбался во весь беззубый рот, по-прежнему курил всю ту же беломорину и напоследок погрозил Вольдемару пальцем.

Когда Бархоткин вышел из дома, практически светало. Вольдемар потерялся в пространстве, равно как и в своих мыслях. Как же он мог забыть про поддельную ксиву, которую сделал ему Вэрд?! Ведь он специально сегодня заходил к Костику, чтобы расплатиться с ним и забрать поддельное удостоверение сотрудника полиции. Как у него это вылетело из головы?! Видимо, слишком много событий на сегодня, нужно отправиться домой и хорошенько выспаться. Легко сказать, отправиться домой... На чем? Общественный транспорт не работает... Если только вызывать такси? Вольдемар посмотрел на потухший дисплей своего мобильного. «Отлично! С такси я тоже в пролете, буду пробовать поймать тачку с руки...»

Бредя по безлюдной улице и анализируя все произошедшее сегодня, Вольдемар случайно увидел, что через дорогу из торгового комплекса вышел Максим — муж Анны Шевельковой, рядом с мужем шла совершенно другая женщина, лица не разглядеть, так как голову прикрывал капюшон пуховика, но, судя по стройной фигуре, можно смело сделать вывод, супругой здесь и не пахнет. Максим держал женщину за руку и, казалось, не замечал ничего. Влюбленная парочка, воркуя, дошла до парковки, затем Максим и неизвестная женщина сели в машину и куда-то уехали. Стоя словно вкопанный, Вольдемар не знал, как ему следует поступить в данной ситуации? Сообщить обо всем увиденном Ане? Или оставить все так, как есть? Как быть? Решение принято.

ГЛАВА 5. ОБНАРУЖЕН ПРЕСТУПНИК

По обочине пустынной трассы бежал человек, бежал быстро, задыхаясь, будто от него зависела судьба всего живого на планете Земля. Мелькнули фары дальнего света, по противоположной полосе навстречу бегущему ехала машина с черно-желтыми шашечками на крыше. Махая руками и привлекая к себе внимание, Вольдемар заставил таксиста остановиться. Открыв переднюю дверь и просунув голову в салон автомобиля, Бархоткин спросил у водителя:

— Свободен, друг?

Водитель, смуглый парень в кепке, спокойно кивнул. Всю дорогу Вольдемар нервничал, ерзал на сиденье, подгонял таксиста. В салоне он нашел портативную зарядку. Заряжая телефон, Вольдемар пытался дозвониться до Ани, но механический голос в трубке безжизненно сообщал: «Абонент временно недоступен». Машина подъехала к подъезду. Бархоткин достал из кармана всю мелочь, а стало быть, всю имеющуюся на данный момент наличность, и расплатился с водителем. Водителю такая сумма явно не понравилась.

— Э-э-э! Братан! Ты чо?! Давай плати! — сказал водитель с кавказским акцентом.

— Извини, дружище. Честно, больше нету ни копейки.

— Э-э-э! А я сдесь прэчом, што у тебе нэту! Гани бабло, а то сыйщас пыстолэт дастану!

Вольдемар с невинным видом полез в карман и предъявил липовое удостоверение старшего лейтенанта полиции:

— Документики, пожалуйста, на регистрацию и прописку в городе предъявите.

— Э-э-э! Да што мне, жалько, што ли, харошыго чилавэка падвезти! Што я, барыга, што ли, какой?! Ничего минэ ни нада. Спасибо вам, што воспользовались услугами маего такси. — Водитель фальшиво улыбался.

— Очень приятно, что у нас в стране есть такие отзывчивые люди, как вы, — издевательски сказал Вольдемар и вышел из машины.

Поднявшись на третий этаж, он нажал на кнопку звонка. Но сколько Вольдемар ни звонил и ни стучал, никто не открывал. Когда Бархоткин спустился на первый этаж, у него у зазвонил телефон, определитель на дисплее показал: Анечка.

— Але! Ань, ты где? Я тебя обыскался! Даже приехал домой, а тебя...

— Это не Аня, — сказал холодный мужской голос.

— Кто это говорит?! С кем имено честь? — взволнованно спросил Вольдемар.

— Это врач морга.

— Что с Аней?! Она мертва?! О боже! Какой кошмар! Анька!

* * *

— Скажите мне честно, от чего умерла Аня?

— Да не паникуйте раньше времени! Меня сегодня просто попросили в реанимации подежурить, подменить... А так я вообще в морге работаю.

— О господи! Час от часу не легче.

— Да не переживайте так, в реанимации трупов нет, точнее, пока нет. — Голос в трубке рассмеялся, но,

не найдя отклика у собеседника, оправдываясь добавил: — Врачебный юмор, не обращайтесь внимания.

— Аня в реанимации? Что с ней?!

— Во-первых, не кричите на меня, а во-вторых, вы кто ей будете? Муж?

Возникла пауза.

— Муж, — соврал Вольдемар. — Где она? Я сейчас подъеду.

— Подъезжайте в центральную районную больницу. Адрес знаете?

— Знаю.

Шагая по мрачному коридору приемного покоя и громко шаркая целлофановыми бахилами, Вольдемар подошел к небольшому деревянному столику, за которым сидела медсестра.

— Скажите, пожалуйста, Анна Шевелькова в какой палате? Мне сказали в регистратуре, она где-то здесь, на этом этаже.

Дремавшая медсестра равнодушно посмотрела на Вольдемара и лениво переспросила:

— Кто? Щавелева?

— Нет, Ше-вель-ко-ва, — произнес по слогам Вольдемар.

— А зовут как? — Медсестра раскрыла потрепанный журнал учета больных и, тщательно прищурившись, полезла искать нужного пациента.

Прошло около десяти минут.

— Ну что, нашли?

— Обождите, молодой человек. Не мешайте. Знаете, сколько у нас здесь больных? Все так любят болеть, хлебом не корми, дай поболеть... Отлежаться на бюллетене.

— Просто уж очень долго ищите.

— Долго, долго... Мы здесь не справочная служба по оказанию экспресс-услуг! Не нравится — обращайтесь в регистратуру, что на первом этаже. У них там компьютер есть, может, они быстрее найдут. А мы здесь по старинке работаем. А вот, кстати, врач идет. У него и спросите, где ваша Щавелева лежит, он должен знать.

— Аркадий Аполлонович, — крикнула медсестра, — тут молодой человек интересуется, в какой палате лежит Щавелькова какая-то, что ли?

— Сейчас подойду, — сказал холодный мужской голос. — Ожидайте.

Вольдемар стоял у окна в конце коридора, зимнее утро потрескивало скрипучим морозцем, сыпал мелкий снежок. «Если не рухну прямо здесь от усталости — считайте меня коммунистом! — подумал Вольдемар. — А вот интересно, падаю я в обморок, прямо сейчас, прямо в эту секунду, прямо здесь, в больнице! Обнаружат меня довольно-таки быстро,

примерно через часа два. Конечно, повезут сначала в реанимацию, там поймут, что пациент скорее жив, чем мертв. И поеду я вперед ногами в соседнее здание, где находится морг. Пока додумаются, кто я такой, и сообщат моей маме, пройдет еще дней пять. Оркестр, похоронный марш, приятные слова в честь покойника, слезы, грустная песенка: “А на кладбище — ветер свищет... Здесь меня никто не ищет”. Эх... Гости дорогие, у нас в одиннадцать вынос, а в два компот!»

— Шевельковой муж вы?!

— Да-да, — встрепенул Вольдемар.

Перед ним стоял доктор в белом халате. Усталое лицо покрывала сетка скупых мужественных морщин. Невыспавшийся взгляд дополняли темно-синие мешки под глазами. Вольдемар протянул руку, но доктор руки не подал.

— Ох, муж... Объялся груш, — вздыхая, начал разъяснять ситуацию врач. — Что ж вы так жену свою бьете? Что мы потом ее всем отделением в реанимации откачиваем. Да уж, натворили вы дел. — Врач окинул взглядом физиономию Вольдемара, увидев разбитую переносицу, улыбнулся. — Вижу, это у вас семейное... Морды друг дружке бить.

— Доктор! И что же теперь будет?

— А ничего. Радуйтесь! Любит она, наверное, вас, отказалась писать заявление в полицию по факту избиения. Говорит, сама случайно с лестницы упала. Ну и бабы у нас пошли... Мужик лупит, а ей хоть бы хны! Броня!

— Избиения?!

— А то как же... Как грушу боксерскую отлупцевал! А у нее выкидыш случился. Беременная она была.

— Беременная?! От кого?! От Максима?!

— У-у-у... Как все запущено. Любовный треугольник, да? Ну дела. Она налево ходила? Теперь мы не узнаем, от кого. От Максима, а может, от Вадима... Сочувствую, но все равно, это не дело, так мукохать жену, что она чуть на том свете не очутилась.

— Я могу ее видеть?

— Можете, но сейчас она спит, это раз. И часы приема больных у нас сегодня вечером, это два. Расписание посмотрите внизу. У гардероба висит.

— Спасибо. — Вольдемар почувствовал такое угрызение в душе, будто это он сам избил Анну.

Хотя при чем здесь он? Это все Максим — мерзкий тип, изменяющий супруге. Бога ты не боишься, злодей подлый! Все закружилось вокруг, ноги подкосились, но Бархоткин устоял, дошел вдоль по стеночке до регистратуры и вызвал такси до дому.

* * *

Вольдемар очнулся от того, что в квартиру кто-то настырно ломился. Он поднял голову с подушки и почесал вспотевший лоб. В дверь позвонили еще раз, а затем ударили кулаком. Нехотя встав с дивана и дошмыгав до дверного глазка, он прислонился раскрытым глазом к круглой точке и увидел, что за дверью стоит Роберт Элдфорт. Улыбнувшись, Вольдемар открыл дверь.

— Здорово! Ну ты чего? Куда пропал? — начал с порога Роберт.

— Сплю, — честно признался Вольдемар.

— Вечер уже, а ты дрыхнешь! Договорились же вчера, что сегодня созвонимся и пересечемся. А ты телефон отключил и дрыхнешь. Не дозвониться до тебя, не достучаться.

— Вчера случился тяжелый день, точнее вечер, точнее ночь.

— Пойдем на кухню, ставь чайник! Надеюсь, у тебя кофе есть?

— Вроде должен быть. Сейчас посмотрим. — Чиркнув спичкой, Вольдемар зажег на плите синий цветок.

Разливая чай по чашкам — кофе, слава богу, не оказалось, — Вольдемар сообщил Роберту имеющиеся у него сведения. Внимательно выслушав, Роберт поковырял пальцем в ухе и раздраженно сказал:

— Ты хоть понимаешь, о чем ты просишь? Чтобы я достал тебе пропуск! Чтобы ты смог попасть в колонию строго режима. И еще чтобы я организовал тебе свиданку с заключенным.

— Да, хочу, — спокойно ответил Вольдемар.

— Ты не понимаешь! Он же маньяк, псих! Чокнутый! Экспертиза признала его невменяемым. Насколько я знаю, кое-кому пришлось подделать заключение медицинской экспертизы, чтобы сослать его на зону. Нечего таким ублюдкам в психушке париться... Лечить его и потом отпустить по амнистии. В этом, по-твоему, высшая сила правосудия?

— Друг мой Роберт. Опять двадцать пять. Как мы ни встретимся, опять один и тот же разговор. Из пустого в порожнее.

— А ты не юли! Ты объясни! Я ж понять хочу!

— Почитай Достоевского.

— Да ну... Слишком сложно!

— А ты почитай. У Федора Михайловича есть ответы на все вопросы.

— Да ну ладно тебе... Тоже...

— «Преступление и наказание».

— Да читал я в школе.

— А ты еще раз перечитай. Лучшее произведение о доказательстве бытия Божьего.

— Да! Доказательство, говоришь! — завелся Роберт. — А ты кино «Брат» видел, режиссер Балабанов?

— Видел, конечно. И что?

— А то, что герой фильма Данила Багров мочит всех подряд, убивает! И не терзают его муки совести, в отличие от Раскольникова. Он вполне прекрасно себя чувствует в этом мире. Герой нашего времени, мать его!

— Роберт, ты не сравнивай кино и книгу, видео и текст. Помнишь, как в Библии сказано: в начале было слово и слово это было Бог. Уловил суть?

Роберт отрицательно покачал головой.

— В начале было слово! А теперь что? Теперь совершенно другая эпоха. Книга не несет в себе ту функцию, которую несли, скажем, сто, двести лет назад. Появились аудиоформы хранения информации. Куча видео. И, конечно же, в этой круговерти шлама утеряна духовность. Отсюда и кино, как образец массового искусства, живет совершенно по другим законам и правилам.

— Вольдемар, ты мне зубы не заговаривай!

— Я не заговариваю. Ты устроишь мне встречу с этим убийцей?

Роберт демонстративно замолчал, вкладывая в обрзовавшуюся тишину отрицательный ответ.

— Роберт, ты хоть понимаешь! — завелся Вольдемар. — У Аньки был выкидыш! Она была беременна... Ей грозит опасность. Пока мы здесь чаи с тобой гоняем.

— Ой, я тебя умоляю... Какая опасность? Муж приревновал? У нас полотдела завалено такими заявлениями. Мы такие заявки между собой называем «кастрюльные вопросы». Ты лучше бы не совался в это дело! Это семейные разборки. Живи себе спокойно, концов все равно не найти, кто там кого пугал. А гемморой на свою задницу заработать всегда успеешь. Поверь уж мне. Во всей этой истории нет состава преступления, а стало быть, и никакой уголовщины.

— Последний раз спрашиваю, ты поможешь мне? Иначе мы больше не друзья. — Лицо Вольдемара стало предельно серьезным. — Ты меня знаешь, я человек слова.

Роберт встал из-за стола, закурил сигарету и вышел из кухни.

Продолжение следует.



Василий БАБУШКИН-СИБИРЯК



О себе

Зовут меня Василий Бабушкин-Сибиряк (Василий Кузьмич Гусев).

Родился в 1948 году в Красноярском крае, потомственный сибиряк в четвертом поколении, из староверов.

Работал в тайге на реке Ангаре егерем, лесником, сейчас пенсионер. Образование высшее. Пишу о Сибири, тайге, экологии, сибиряках — простых людях.

Публикуюсь в российских и зарубежных изданиях — как бумажных, так и электронных.

Член Ассоциации независимых писателей России.

ИЗ ПИСЬМА

Отправляю в ваш журнал три рассказа из серии «Черный юмор».

С уважением, Василий Бабушкин-Сибиряк

ТРИ ЗЕМЛЕКОПА

В наши времена исчезла эта достойная, хорошо описанная в задачниках по арифметике профессия землекопа.

Да и задачники, и сама арифметика исчезли. Появились новые совершенно немислимые вопросы для детей в школах, от которых тупеют даже те, кто вырос на добрых милых землекопах.

Землекопов заменили машины, особенно известная всем «Беларусь» с навесным ковшом. Последние задачки ставили такой вопрос. Сколько нужно землекопов, чтобы выкопать траншею в десять метров, которую трактор «Беларусь» выкапывает за десять минут.

Исчезли землекопы, на смену им, как говорил товарищ Бендер, пришла железная лошадка.

Но в глубинках, в некоторых местах, но не в нашем районе, еще встречаются люди с лопатами, которые за бутылку водки берутся выкопать яму для нужника, траншею для дождевой воды и даже могилку на кладбище для усопшей старушки.

Вот о трех таких землекопах и пойдет мой рассказ. Предупреждаю читателя, хотя я и не Минздрав, что рассказ — из серии «Черный юмор» или «ужастики», рассказываемые на ночь капризным женам.

Представьте себе такую обычную для каждой семьи картину. Муж и жена уже в постели, и жена просит мужа рассказать ей на ночь сказочку про козлика. Муж начинает рассказывать.

В некотором царстве, в некотором государстве, моя козочка, жили три землекопа. Однажды они копали могилочку на кладбище и по этой причине сильно перебрали. Вылезти из ямочки они уже были не в состоянии и потому заснули прямо в ней.

Ночью похолодало, один из них проснулся. Представляешь, моя козочка, смотрит он вверх, из почти готовой могилочки, как в окошечко. На темном, черном небе яркие звездочки мигают, сама вечность подмигивает ему. Бесконечность вселенной, бесконечность

бытия человеческого проникла к нему в продрогшую душу. Растворилась в ней ледяным холодом, сковала его всего страхом и страшным голосом прозвучала в его быстро трезвеющем мозгу.

— Кто ты в субстанции времени? Зачем пришел в мир этот? Почему не знаешь ответа на главную задачу человечества?

Бедный землекоп растолкал, разбудил своих товарищей, прижались они друг к другу, стучат зубами от страха, холода, а главное, с похмелья.

Можно было бы им самим выбраться из ямочки, моя козочка, но они как представляют, что там, наверху, везде крестики, и еще луна всходит, а на ее свет из гробиков покойнички вылезут погреться, и становится им совсем неуютно на этом свете.

Вот сидят они так и начинают друг другу сказочки рассказывать, чтобы не страшно было. Слушай дальше, правильно делаешь, что закрылась одеялом до самых глаз, так теплее будет.

ПИСЬМА ДЛЯ ПОКОЙНИКА (ИСТОРИЯ, РАССКАЗАННАЯ ПЕРВЫМ ЗЕМЛЕКОПОМ)

Жила в одной деревне женщина. С давних пор она работала почтальоном, разносила письма, газеты, телеграммы и все прочее по домам.

Однажды приснился ей сон. И видит она в нем свою почту, комнату, в которой она разбирает корреспонденцию, перед тем как ее разносить по адресатам.

Видит она облупившуюся штукатурку под окном, уже лет десять не ремонтировалась комнатка, а за этой штукатуркой уголок какого-то конверта.

И голос такой загробный, как у переводчика Гоблина, слова произносит:

— Возьмешь этот конверт и завтра принесешь его мне на кладбище, моя могила справа от могилы председателя колхоза, что пьяный в свином навозе захлебнулся три года назад.

Проснулась наша почтальонша и сделала, как ей голос велел. Принесла письмо по адресу к могиле, там какой-то солдат похоронен был. Хотела положить на могилку и уйти, а в голове слова прозвучали: «Прочти мне, что там написано, сам я, понимаешь, не могу».

Прочитала она ему письмо от девушки-бурятки, которую муж убил за измену с солдатом. Очень жалостливое письмо то было, даже всплакнула письмоносица.

А голос ей снова чудится.

— Ты напиши ответ на это письмо, укажи, что я здесь похоронен и что люблю ее даже после смерти, потому что все умирает, кроме любви. И отправь письмо по такому-то адресу. На расходы тебе деньги понадобятся, так ты возьми там же, где конверт лежал, колечко с бриллиантом, продай его, но себе не вздумай оставить его. А когда мне ответ от любимой придет, принесешь сюда и прочитаешь.

Так та женщина и сделала. Письмо написала и отправила, колечко нашла, и так оно ей приглянулось, что решила ни за что с ним не расставаться, на палец надела, а оно словно для нее сготовлено было.

С тех пор так и пошло, стала она носить письма и на кладбище. Однажды она читала письмо солдату, а рядом какая-то бабка находилась, старая-старая, а услышала все и рассказала в деревне. Слухи пошли, мол, почтальонша почту покойникам носит.

А у той своя беда приключилась. Кольцо стало в палец вращать и силу из нее высасывать. Решила она отрубить палец с кольцом. Отрубила и померла сразу. Вот такая история.

— А как же письма? Кто после их солдату приносил? — спросила жена мужа.

— Так про то землекоп забыл рассказать, ты засыпай, засыпай, чего в мою руку-то вцепилась, моя козочка. Слушай вот следующую историю.

ЧИНАРИК (ИСТОРИЯ, РАССКАЗАННАЯ ВТОРЫМ ЗЕМЛЕКОПОМ)

Есть у меня знакомая бомжиха, очень даже интересная женщина, пока не переберет сверх своего статуса. После она впадает в состояние буйства. Низкое содержание гликогена в печени приводит к гипогликемии, а гипогликемия может стать причиной неадекватного поведения. Вот с ней и произошла эта история.

Родительский день — самый распространенный праздник в России после Нового года — это обильная выпивка на могилах предков, когда выпитая водка изливается из глаз слезами по умершей маме. Обычай требует оставлять на могилах водку и закуску.

Вот этим обычаем и пользуются любители выпить на дармовщинку. Ленка, та самая бомжиха, ходила от мо-

гилы к могиле и вливала в себя стакан за стаканом, пока не свалилась где-то между могилами.

Проспала она, мертвецки пьяная, на кладбище всю ночь. Видимо, ее мертveckое состояние ввело в заблуждение какого-то «жмурика», вылезшего выпить оставленную для них водку. Разумеется, после выпивки «жмурика» потянуло на женщин, и он Ленку принял за своих дам, чем и воспользовался.

Проснувшись утром и похмелившись найденной выпивкой, Ленка ушла домой продолжать свою беспутную жизнь.

Через девять месяцев у нее приключились родовые схватки. Она родила человечка ростом со стакан, уже волосатого и с зубками. Рассказывают, что где-то на Урале уже находили такого.

Понятно, Ленка не могла понять, что она беременная, — такая кроха. Назвала она человечка Чинарик.

Есть он ничего не ел, какого пола — не понять, прятался от людей и показывался только маме, когда та бывала трезвой.

А тут как раз год прошел, и снова родительский день. Ленка, разумеется, снова на кладбище, и снова вдрызг.

Но в эту ночь ее разбудил кто-то и стал требовать отдать ему его ребенка. И тогда Ленка впала в буйство. Она требовала от жмурика алименты.

Тот ей сказал: неси ребенка — осыплю деньгами. Ленка мигом обернулась, принесла Чинарика папе.

Пила она на эти деньги целый месяц со своими дружками, но однажды тихо стало в квартире, пришел участковый, а они все мертвые. Составил тот протокол: сгорели от паленой водки.

МЕРТВАЯ ТЕЩА (ИСТОРИЯ, РАССКАЗАННАЯ ТРЕТЬИМ ЗЕМЛЕКОПОМ)

А у меня сосед был, недавно похоронили. Молодой парень, жить бы да жить, а ведь не судьба. Никто его историю не знает, кроме меня, мне он ее рассказал, когда невмоготу стало.

Все дело в теще. Теща, говорят, тоже мама, но только жены, так любил мой сосед говорить, царство ему небесное.

Шутник был, веселый парень. Столько анекдотов про тещу знал и все их любил своей теще рассказывать. Теща с ними жила, вернее, они у нее жили, но, правда, забыли про это.

Так вот Виктор, так соседа звали, к теще зла особого не имел. Она его не донимала, сидела в своей комнатке и не выглядывала, пока он дома. Виктор свою родную мать мамашей звал, но тещу всегда мамой.

Подойдет иной раз к ней, задерет рубаху на пояснице и ласково попросит:

— Мама, плюньте мне на поясницу, а то у нас в аптечке змеиный яд кончился.

А то, бывало, проснется и зовет тещу, сон ей свой рассказывает.

— Видел вас, мама, во сне, нырнул в воду и вижу, акула на меня плавает, еле я смог увернуться от нее.

— Так ведь, сынок, там акула была.

— А я вас в ней по глазам узнал.

Так вот они и жили дружно. Но что-то теща стала прихварывать и вдруг разом померла.

Похоронили, я тоже на поминках был. Виктор речь держал.

— Мама, как я теперь без вас жить буду, очень мне будет недоставать вашей улыбки и ваших ласковых глаз.

Сказал и вдруг челюсть у него отвалилась, смотрит на меня, а в глазах страх и смятение. «Вот ведь как перестраивает», — подумал я.

Прошло сколько-то времени, и замечаю я, что Виктора как подменили. Хмурый, шутки свои и анекдоты про тещу не рассказывает, с друзьями общаться совсем перестал.

Спрашиваю его, что с ним, — отмалчивается. Но однажды пришел, лица на нем нет, и такое мне рассказал.

— Ты не поверишь, но меня преследует теща с самых своих похорон. Помнишь, на поминках я сказал, что не смогу без нее жить? Смотрю, а она за столом сидит, как в гробу лежала, глаза закрытые и мне говорит:

— Раз ты, сынок, без меня жить не сможешь, то буду я с тобой рядом, видеть ты меня будешь при каждом воспоминании своем или как только анекдот про меня рассказывать начнешь.

И начался мой кошмар. Сначала я бросил анекдоты про тещу рассказывать, представь: рассказываешь, а она сидит и слушает со всеми, ее никто не видит, кроме меня. А вижу я ее такой, какой она сейчас есть в гробу, лицо уже разлагается, и, кажется, даже запах тления чувствую.

И самое страшное, чем я больше стараюсь ее не вспоминать, тем сильнее она мне видится. Во сне ночью и днем от нее нет мне покою, скоро с ума сойду.

Вот так и сгинул парень.

Ты что, моя козочка, так разволновалась? Спать давай, вот так прижмись ко мне и засыпай. Что? Страшно, говоришь. Ничего, я сейчас захраплю, и у тебя весь страх как рукой снимет, ведь твой козлик рядом с тобой, дорогая.



День добрый!

Сегодня, в день великого праздника, когда весь мир отмечает четырехсотвосемьдесятидвухлетний юбилей взятия бернцами Шильонского замка, я считаю орфографические ошибки, допущенные в новостных лентах многих интернет-порталов, и требую прощения для нашего поколения у господина Даля и господина Ожегова. А заодно ищу работу...

Предлагаю написание текстов любого объема, содержания, тематики и уникальности для вашего издания.

Мой средний дневной набор — 200 строк стихотворного текста или 40 т/з прозой.

Могу проверять и исправлять ошибки за неграмотными бестолочами, которых жалко уволить.

Я даже умею расставлять знаки препинания согласно правилам пунктуации.

Работаю только удаленно, так как не люблю людей. Весьма вероятно, это взаимно...

Прошу скромную оплату скромных услуг. Откровенно говоря, меня устроят любые деньги... Очень хочется кушать.

Александр

Р. S. Дабы вы не сильно расстраивались из-за потери эдакого ценного специалиста, как я, отвечая мне отказом, уведомляю, что вы не единственный представитель СМИ, к которому я обратился, ища себяприменение, следовательно, муки совести, вызванные моей голодной смертью, распределятся на всех равными долями.

Галка ГАЛКИНА:

Александр, дабы наша доля вины в Вашей безвременной кончине была пропорциональна всем людям и организациям, куда Вы отсылали свое резюме, спешим сообщить, что двухлетний юбилей взятия бернцами Шильонского замка болью откликнулся в наших сердцах. Негодуем наравне со всеми теми, кто не позволяет себе глумиться над Далем и Ожеговым и соблюдает правила орфографии, а также пунктуации.

Теперь о наболевшем: 200 строк стихотворного текста или 40 т/з прозой — почти стахановский

результат. Вопрос, что дальше: 300 строк, 400, миллион?!

Принципиально не говорим о содержимом Ваших экзерсисов. Как говаривали философы прошлого, материя вторична. Она — сосуд, в котором пустота, или огонь, мерцающий в сосуде? Нам не дано предугадать.

Писательство — самоцель. Человек пишущий уже нашел себяприменение. И не важно, куда и зачем он пишет. Пишет — значит, надо. Значит, не может иначе!

Так что пишите, Шура, пишите!

ПРОКАЗНИК ГЕО, ЧЕЛОВЕК-КРИТИК



В ПОИСКЕ
ОТКРОВЕНИЙ

ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ

Проказник Гео уже пытался влезть в литературу под именем Рутко (он же Рудко) — Рутковский (возможно, Рудковский). Совмещает в себе черты, выявленные в литературной традиции советской критикой, а именно Солженицына, Бродского и некоторых безвестных литераторов, одновременно являясь литературным власовцем, литературным трутнем и литературным пигмеем. Пастернака он по-прежнему не читал, но по-прежнему осуждает. Иные признаки биографии практически отсутствуют или слишком туманны. Ясно лишь одно: до берегов Туманного Альбиона Гео уже не доехал, а до Колымского края не доехал пока. На этом пока и остановимся.



Роман Сенчин. «Дождь в Париже»



Пацанов тревожило это, они пытались найти объяснение, почему девчонки время от времени не прыгают и не играют в баскетбол, а сидят на лавке и обмениваются с физруком многозначительными взглядами. И однажды кто-то в раздевалке ляпнул:

«Да у них течка».

«Какая течка? — сразу заинтересовались остальные. — Че это?»

«Ну, когда внутри все готово, чтоб ребенок стал развиваться. И им нельзя в эти дни на физру ходить».

«А потом? Почему детей нет?»

«Ну, их трудно сделать».

Теперь Топкин улыбался такому объяснению, а тогда, помнится, стал пристальнее приглядываться к одноклассникам. Каждая была теперь не просто девчонкой, симпатичной или страшенькой, а главное — существом, в котором в любой момент может появиться ребенок...

Странно, что, слыша в то время, да и раньше — чуть ли не с детского сада, — матерные и ругательные слова или те, что играли роль ругатель-

ных, вроде «педофил» с ударением на второй слог, Топкин и его сверстники довольно поздно узнали о менструации. Где-то в выпускных классах. Матери скрывали от родных свои критические дни, прятали кровавые ватки и тряпки, подруги не говорили об этих днях. Никому не могло прийти в голову громко объявить: «У меня менструация!» Не то, что теперь, когда по телику в одной только рекламе прокладок об «этих днях» можно услышать сто раз на день...



Проказник Гео, человек-критик:



Роман написал очередной роман, который тут же напечатали. Напрасно, любители российской словесности будут бороздить просторы 416 страниц в поисках изысков и каких-то откровений. Их там нет, как и не было.

Размышления главного героя, оказавшегося волею случая в Париже, скорее напоминают правила поведения при астеническом синдроме или склерозе. Вспышкам оно и посвящена книга. Автор хаотично вспоминает свое прошлое, чтобы забыть настоящее.

Будь Роман Сенчин не в Париже, а в Кызыле, результат был бы ненамного лучше. Упоминание Парижа в заглавии необходимо, как «в бане пассатижи».

Париж не спасает роман «лауреата Большой книги и Ясной Поляны» от патологического самолюбования. Но все же наводит на некоторые размышления физиологического свойства. Если Роман Сенчин — писатель, то каков его читатель? Хочется посмотреть в честные глаза этому человеку. А еще спросить: что он читал до Романа Сенчина и что будет читать после, если вообще будет еще читать?

Синдром Сенчина — это буквы, соединенные в слова, лишённые всякого смысла. Болезнь не опасная, но довольно заразная, как свинка. Побороть ее нельзя, можно только переболеть. Поболеем за Романа. Ему-то каково, бедному?!

Лицом к миру



Светлана ШЕТРАКОВА
Читайте на стр. 15

Никас Сафронов

Утро



**Читайте в следующем номере беседу
с Никасом САФРОНОВЫМ**